

Цена свободная

Индекс 70250

«ДН» — 2015-2016

Романы, повести:

Мария АНУФРИЕВА. Существо. Роман

Заир АСИМ. Книга дней. Повесть

Наталья БИРЧАКОВА. Мысль изреченная. Фантастические заметки
о Гоголе, или Всеобщая теория всего

Валерий БОЧКОВ. Время воды. Роман

Резо ГАБРИАДЗЕ. Доктор и больной. Повесть

Хамид ИСМАЙЛОВ. Пляска бесов, или Большая игра. Роман

Елена КЛЕПИКОВА. Из жизни Марты. Повесть в рассказах

Виктория ЛЕБЕДЕВА. Без труб и барабанов. Роман

Афанасий МАМЕДОВ. Перегрузка в Тунисе. Короткий роман

Марина МОСКВИНА. КРИО. Роман. Книга вторая

Гурам ОДИШАРИЯ. Очкастая бомба. Повесть. С грузинского

Юрий ОСИПОВ. Краткий курс мальтийской жизни с красивой женщиной

Юрий ПЕТКЕВИЧ. Голубь в Кезейках. Повесть

Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Новая повесть

Дмитрий СТАХОВ. Свет ночи. Роман

Алексей УСТИМЕНКО. Хмарь стеклянной Бухары. Повесть

Сергей УТКИН. История болезни. Повесть в рассказах

Левон ХЕЧОЯН. Чёрная книга, тяжёлый жук. Роман. С армянского

Рассказы: Евгения АЛЁХИНА, Олега БОНДАРЕНКО, Андрея ВОЛОСА,
Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА,
Ильи КОЧЕРГИНА, Мариам ПЕТРОСЯН, Сергея РЯЗАНЦЕВА, Владимира ТОРЧИЛИНА,
Арслана ХАСАВОВА, Евгения ШКЛОВСКОГО и других авторов

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля,
фестиваля «Литературный ковчег» и наши собственные открытия

Новые сочинения: Дмитрия ВЕРЕЩАГИНА, Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ
(с азербайджанского), Ицхока МЕРАСА (с литовского), Дмитрия НОВИКОВА,
Светланы ПЕТРОВОЙ, Владимира ХОЛОДОВА, Александра ХУРГИНА,
Дмитрия ШЕВАРОВА

Новые стихи и переводы: Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ,
Ефима БЕРШИНА, Сергея ВАСИЛЬЕВА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА,
Ольги ИВАНОВОЙ, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА,
Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Светланы КЕКОВОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ,
Станислава ЛИВИНСКОГО, Ларисы МИЛЛЕР, Олеси НИКОЛАЕВОЙ,
Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ,
Владимира САЛИМОНА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА
и других авторов

ISSN 0012-6756. Дружба народов, 2015, № 7, 1—256



ДРУЖБА НАРОДОВ

ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ 7/2015



7'2015

- **Глеб Шульпяков**
Красная планета
Новеллы из романа
- **Илья Фаликов**
Потерянное дитя
Стихи
- **Анатолий Ким**
Гений
Повесть о Смоктуновском
- **Василий Голованов**
Дочки-матери
- **Марк Амосин**
Под знаком памяти
К 90-летию Юрия Трифонова

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.05.2015.
Подписано в печать 25.06.2015.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 7165. Цена свободная.

Дружба народов 7'2015

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Зам. главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Зам. главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Резо
ГАБРИАДЗЕ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Илья ФАЛИКОВ. Потерянное дитя. Стихи	3
Глеб ШУЛЬПЯКОВ. Красная планета. Новеллы из романа	9
Сергей ВАСИЛЬЕВ. Летние каникулы. Стихи	78
Анатолий КИМ. Гений. Повесть о Смоктуновском	81
Михаил КАГАНОВИЧ. В святую землю, в край земной. Стихи	127
Игорь КУЗНЕЦОВ. Треугольник имени Достоевского. Рассказ	130
Ефим ГАММЕР. Туннель. Повесть скоротечных минут жизни	144
Анна САЕД-ШАХ. Непостижимое небо. Стихи	161
Микаел АБАДЖЯНЦ. Вероятность полёта. Рассказ	164

Публицистика

Андрей СТОЛЯРОВ. Ярче тысячи солнц	173
ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ	
Василий ГОЛОВАНОВ. Дочки-матери	193

Нация и мир

ГЛАЗАМИ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ	
Лиана АЛАВЕРДОВА. Типично по-американски	200

Критика

К 90-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ТРИФОНОВА	
Марк АМУСИН. Под знаком памяти	214
Леонид БАХНОВ. Ворованный воздух	224

Литературное пограничье

НЕРУССКИЕ РУССКИЕ	
Илья ПЕРЕЛЬМУТЕР. Русская поэзия поверх барьеров.	
Разговор ведет Ольга Балла	233

Книжный развал

Александр КОТЮСОВ. Селфи. Антигерой нашего времени	240
Любовь ТУРБИНА. Параллельные срезы	244
Юрий ЛОМОВЦЕВ. «Театр жестокости» Клим Шергина	248

Эхо

Продолжаем жить? Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	251
Summary	256

Илья Фаликов

Потерянное дитя

Дума

Опанасе, выдь на волю, к ласковой Одарке,
а на воле в чистом поле ой да не подарки.
Ой, Одарка молодая, белая Одарка,
в сизых тучах, громоухая, бьёт электросварка.
Выдь на волю, Опанасе, из глухой темницы,
где сидят на волчьем мясе пахари и жницы.
Ой, растут в темнице звери, ярые волчата,
сбросят цепи, выбьют двери пяткой автомата.
Выбьют двери, сбросят цепи, лягут не в кровати —
посреди широкой степи хлопца похороните.
Ой, ходил герой в атаку, никогда не плакал,
москаляку на гиляку, жиловина на кол.
Ой вы турки, ой татары, гой вы финноугры,
ай, буй-тур, разбойник старый, доблестные укры.
Гей, вперёд, коляски Трои, грозные тачанки,
блещут фосфором, герои, ваши вышиванки.

...Беглый Игорь, белый гоголь, да на том Донце ли
крашен кровью бурый уголь, в киевской купели
освещения не хватило, ибо многократно
затмевается светило, смоляные пятна,
антрацитные осадки, каменная флора,
не звезда во лбу лошадки — лампочка шахтёра,
а в подвале — капля света, и на перевале
тень Бояна, тень поэта пушки оплевали.
Ивы рваные провисли в пересохшем русле,
праздный бред, слепые мысли, старческие гусли:
— Думай, друже, о Пегасе, не о хлебе-квасе,
Опанасе, Опанасе, любый Опанасе.
Об Одарке, о Парнасе, не о смертном часе,
Опанасе, Опанасе, думай, Опанасе. —
А в горе высокой самой, синей, а не белой,
белокаменного храма вырублено тело.

Фаликов Илья Зиновьевич — поэт, прозаик, эссеист. Постоянный автор «ДН». Родился в 1942 г. во Владивостоке. Печатается с 1964-го. Автор 10 книг стихов, 4 романов, книг эссе «Проза про стихи» (2000), «Фактор фонаря» (2013). Лауреат нескольких литературных премий. Постоянный автор журнала. Живет в Москве.

* * *

Всё блажь и фикция, и общая неправда,
такого не было, и призрачно парят
стрижи и соколы воздушного парада,
и выливается на улицу парад.
Переполняются кадушки, бочки, банки,
и носит по ветру цыганские шатры,
покуда лопаются пузыри и банки,
глазные яблоки, воздушные шары,
сверкают молнии, стекольные осколки
ночного пиршества на лунном берегу,
из одиночества выскакивают волки
легко, но временно, у времени в долгу,
играет музыка, и медные тарелки
гремят по-прежнему значительней смычков,
и отвлекаются от факта перестрелки
правопреемники известных мужичков, —
упоминания подобного порядка
не столь существенны и явно неверны,
как наши рейтинги и наше место в краткой
энциклопедии проигранной весны.

* * *

Что-то там горело, мимо пронеслось,
в озеро упало, озеро зажглось.
Это не бомбежка и не звездопад.
Частные руины, мелкий Сталинград.
Странно, уцелели старые дома,
и никто не умер, не сошёл с ума.
Правда, лес окрестный выкошен до пней
и прибавил в блеске местный сад камней.
Это возвратился — больше не горит —
блудный сын Урала, тот метеорит.

* * *

Дикой стужей в сумеречном блеске
выжжен камень вдоль и поперёк.
Станислав Стефанович Лесневский
нас держал, себя не уберёг.
На Тверском не стало места встречи,
где, упав в наполненный стакан,
слово «пан», осколок звёздной речи,
блазнилось потомкам каторжан.

Нам столица платит чёрным налом
особливо щедро — за стихи.
А за Камнем, то бишь за Уралом,
кажется, затих буран в степи.
Спит созвездье Пса, тайгу облаив,
где неясно теплится свеча, —
ах ты, ух ты, Салават Юлаев,
фу-ты ну-ты, шайка Пугача.

Потускнули старые стаканы,
опустел редакционный стол.
Без оглядки Станислав Стефаныч
по Тверскому запросто ушёл.
Вслед ему, окутан облаками,
кто-то смотрит — тополь или Блок.
— Неподъёмный шахматовский камень
на горбу пожизненно волок.

Где-то там, возможно, отоспится,
сбросит лямку с острого плеча.
На крещенской стуже мёрзнет птица,
падает, по наледи стуча.
Кто мы тут? Огрызки и довески,
примечания к чужим стихам.
Мы ещё подыдем, пан Лесневский,
освещённый золотом стакан.

Межсезонье

Между стёкол оконных, попав не туда,
вроде весточки с воли
бьётся белое облачко. Бабочка? Да.
Эволюция моли.

Моль уснула в шкафу, как в берлоге медведь,
в гардеробе не пусто,
ибо густо, и вредности не одолеть
при содействии дуста.

Межсезонье, и шуба покуда в ходу
вперемежку с косухой,
и коровой на льду в Патриаршем пруду
пляшет муза под мухой.

На ветру москворецком качается лес
из стекла и бетона,
где отель «Украина» стоит до небес
наподобие стона.

Образуется странная величина
в мире меры нетвёрдой:
не Большая Медведица — Галичина
с окровавленной мордой.

Бьётся бабочка в стеклах, и стёкла трещат.
Ах, весна, не иначе.
А с Карпат уклонисты текут на Арбат.
Или слюни щенячьи.

Пахнет лесом у нас накануне весны,
и, в сибирских берлогах
не бывая, ломают хребты шатуны
на днепровских порогах.

* * *

Подсолнуховое поле,
пылающее из тьмы,
нечистое и слепое,
усеянное костями.

У чёрных пакетов, полных
частями небесных тел,
свидетельствующий подсолнух
от ужаса поседел.

Из детских игрушек, спящих
в рассеянном дыму,
востребован чёрный ящик.
Не верится и ему.

Никто никому теперь уж.
Во тьме потерялся свет.
Ты веришь себе? Не веришь.
Тебя на поверку нет.

Не аист в чаду позорных
времен, с малышом летя,
не цапля в пруду — подсолнух,
не белый журавль — подсолнух,
не ангел в аду — подсолнух
горит на земле — подсолнух,
свеча на ветру, подсолнух,
потерянное дитя.

Латынь

Не случилось, однако, на теме постельной
задержаться с поличным —
не пришлось повалиться на койке отдельной
в коридоре больничном.
Отыскалась возможность пристроиться как-то
в пятиместной палате,
где стонали о вечности жертвы инфаркта,
о грехах и расплате.

Никому не хотелось убраться до срока
с женских глаз, несмотря на
пребывание в обществе сбоку припёка,
а за край — ещё рано.
А отсюда туда ещё рано, сестрица,
и за что, если честно?
Будет время — наскучит мелькать и светиться,
а сейчас — интересно.

Никому, никому не хотелось нисколько
ни memento, ни mori,
и пускай поскучает отдельная койка
в ледяном коридоре.
Никому не хотелось, родная сестрица,
кукованья на льдине,
но пришлось причаститься при помощи шприца
к полнокровной латыни.

* * *

Одежда покойного пахнет покойным,
не огненной розой, не табором хвойным.
Но то и другое, душисто живое,
вдову не оставит в унылом покое.
Остолбеневая в дверях гардероба,
минувшую жизнь вынимает из гроба
и, роясь в рассохшемся старом комоде,
находит элегию, близкую к оде.
Уже не краснеют ни веки, ни щеки,
не капает жемчуг на вырез глубокий,
и стан, восхищенной цевницей воспетый,
трясиной затянут, болотом и Летой.
Старуха, утратив бесполое тело,
в туманность перевоплотилась всецело.
Но в мужниной траченной молью пижаме,
бродя по квартире, зимует ночами.
В разношенных валенках запах супруга
проносит его боевая подруга.

Букет мироздания в сукне и болонье —
фетор, фимиам, перегар, благовонье.
Наследство ушедшего пахнет ушедшим,
и садом увядшим, и сном сумасшедшим,
и спазмом альковным, и спамом альбомным,
и творческим потом, и потом любовным.

На полях книги (I)

Е.Е.

Смехотворен карликовый шопинг,
если ты верста и каланча.
Мал жирафу нобелевский смокинг
или шуба с царского плеча.
В облаке, где жарко до озноба,
предложи собрату свой пиджак,
ибо обескожены вы оба.
Носороги сделаны не так.

Но тебе подобий нету, кроме
лома, тоже бывшего тобой.
От тебя остался в Оклахоме
след, во льду прорубленный стопой.
Загнан в угол, где стоят два друга —
старые ботфорты Сирано,
финиш марафона, род недуга.
Стыд неоперабелен давно.

Там, где ты по шарикку шатался,
именем твоим горит звезда,
и на звёздной карте город Талса
от тебя остался навсегда.
Кончен приступ жалобы какой-то
и пожизненная беготня.
Лупит нефтяной фонтан из кольта,
выкрасив ковбойского коня.

Ноги в руки, будь собой, не мешкай,
волка кормят ноги, а не лес, —
вновь разбудишь утренней пробежкой
каменные тени Пер-Лашез.
Это из неволи половецкой
в полых кедах вырвался бегун
там, где хрипло дышит соловецкий
камень или блоковский валун.

На полях книги (II)

Б.Р.

Южный берег в середине октября.
Мы допрыгались, нечестно говоря.

Тычет пальцем в живу душу кипарис:
а не стыдно ли селений райских близ?

Ты перечишь элитарному хлыщу.
Я о мальчике измученном грущу.

Это море, это камень, это блеск
спора камня с морем, грохот или плеск.

Это камень, это Камень, тот Урал,
а на море он по сути не бывал.

Он размахивал отцовским топором
в чёрной арке между миром и двором.

У меня в подъезде около пивной
он на корточках сидит передо мной.

— Нет базара, что ты впариваешь мне?
— Только то, что недосмотрено во сне.

Плохо ботаю по фене и с огнём
отыграю — заработаю на нём.

Ибо сам — из подзаборного ворья.
Мы достукались, короче говоря.

Город Ё.

Кто бы знал, что из города этого
сокрушительный выйдет боец
и боксёра, давно разогретого,
тренер выпустит лишь под конец,
и такая пойдёт зарубаловка,
хоть последних святых выноси,
а Бутырки или Петропавловка
нарисуются на небеси.

Позабудем об участии Авеля,
ибо выигрыш выпадет тем,
кто на крупного зверя поставили.
Ну а нам-то чего между тем?
Мы не помним спортивного голода,
мы ушли в благовонный интим,
даже имени этого города
знать не знаем и знать не хотим.

В город Ё., скажем так, тем не менее
по делам занесёт москвича.
Население там откровеннее,
любит правду и рубит сплеча.
Там старухи поют у завалинок,
и среди золотой детворы
там сибирский отыщется валенок,
и народ позовёт в топоры.

Уноси же из города оного
свои ноги собачьи, стилист.
Перед рыком бойца разъярённого
трепещи, как осиновый лист.
Ибо кончится наша апатия,
звероящер придёт из хвоща,
на спортивные мероприятия
уклоняйся ходить, трепеща.

Стих девяносто первого года

Повязана порукой белокостной,
она в сердцах поёт большевика —
хвала Петру, против отчизны косной
бунтующему, царской ВЧК.
Лом самодержца, кровь из-под бахилы,
болотный развороченный уют.
В сердцах оплатят красные могилы,
в которых кости белые гниют.

Нет, не пивать меда её устами,
не на неё ушло моё ребро.
Её герой во лебедином стане
оставил напрочь белое перо.
Плачь, Муза, плачь! Гуляет истерия,
история творит свои черты.
Тебе отстроит нищая Россия
дворец, в котором бедствовала ты.

Глеб Шульпяков

Красная планета

Новеллы из романа

От автора

Эта вещь складывается довольно неожиданным образом. Мне бы хотелось сказать, что она пишется течением событий, которые происходят во мне и вокруг, или временем — хотя это и звучит возвышенно. Во всяком случае, от первоначального замысла, который возник, когда мы с друзьями придумывали истории, чтобы скоротать время в переполненной электричке, — почти ничего не осталось. Наше время переиграло и перетасовало все в ней, и продолжает перетасовывать (к моему изумлению). Я знаю только, что мне хотелось бы уловить черты рисунка, который складывается во времени из разных судеб людей моего поколения. Это материал, на котором можно попытаться понять, есть ли в судьбе «замысел упрямый» или каждый из нас имеет дело со сказкой, рассказанной идиотом. Все герои этой неоконченной книги движутся в будущее спиной, вглядываясь в прошлое, далекое или недавнее, свое или чужое. И тут я с ними согласен, поскольку, по моему убеждению, никакого будущего нет, а есть только прошлое, которое его лишь отчасти моделирует.

Элизий и Фарсида

«Мало кто теперь помнит историю первой экспедиции на Красную планету. Между тем среди колонистов были и мои родители. Они были ученые. Сам я родился и провел в экспедиции первые три года, но мало что запомнил, только розоватый блеск купола и гудение инжекторов. А потом колонию эвакуировали. После возвращения родители почти не вспоминали о той жизни, а мне спрашивать не приходило в голову, я был ребенок. Эта история так и осталась бы на дне памяти, если бы не случай, а именно старые наручные часы, которые недавно попались мне на барахолке в Сан-Лоренцо. Такие часы носил мой отец, и я сразу заметил их на прилавке. А когда взял в руки, обмер. «Слава первопроходцам Красной планеты» — было выгравировано на крышке.

Глеб Шульпяков — поэт, прозаик. Родился в Москве в 1971 году. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор нескольких книг стихотворений, прозы и путевых очерков. Живет в Москве.

Эту фотографию сделали перед самой эвакуацией. Вот мама — в шубе и пуховом платке, нога в сапожке чуть отставлена. Видно, что свет рефлектора слепит глаза и она прикрывает лицо рукой в варежке. Рядом отец: пальто, клетчатый шарф, малахай. Улыбается, взгляд мимо камеры. Что-то показывает девочке-подростку. Эта девчонка с недовольной миной, в шерстяных рейтузах и кроличьей шапке — моя сестра Фарсида. А карапуз в ушанке и валенках это я. На карточке виднеются желтые корпуса общежития, а дальше сосновый бор. Если бы не мрачный октаэдр Станции, и не скажешь, где сделан снимок. Какие безмятежные, молодые лица! Но когда я смотрю на них, внутри все сжимается. Ведь даже о том, что через месяц Станцию закроют, родители не догадываются.

Я завел часы и комната наполнилась неуловимым шелестом. Забытый звук, кузнечик времени; как непривычно слышать его в сумерках чужой квартиры чужого города; как трудно поверить, что розовая точка на небе — это место, где мы жили.

Уже стемнело и отзвонили у Паломников-иезуитов. С грохотом опускались решетки на ювелирных лавках. Пожелтели от фонарей стены, а на набережной раскричались птицы. Розовая точка исчезла за куполом, как будто ее и не было. Наступил душный влажный вечер.

Я ждал Карлуша. Чтобы убить кузнечика, я смотрел в окно, откуда было видно соседнюю крышу и как подрагивают на ней от ветра сухие стебли. Вот железные кольца, а вот кирпичные гнезда, куда упираются концы балок. Матовые от пыли стекла и барабан купола. Сколько раз подмывало меня встать на подоконник да и перепрыгнуть через улицу! Но что особенного на крыше, каких в нашем городе тысячи? Кроме того, что я видел ее каждое утро? Высвеченную солнцем или в серых дождевых пятнах? С чайками, которые брезгливо прохаживаются? Словно там, за куполом, куда вечерами исчезала розовая точка, находилась отгадка всем тайнам мира.

Дверь была открыта, и Карлуш неслышно вошел в комнату. Поставил футляр с гитарой. Привычно опустился в кресло и медленно, словно через силу, положил ногу на ногу. Поднял тяжелые веки.

— Жарко, — сказал он.

Я открыл бутылку и разлил вино. Кубики льда светились голубоватым светом и позвякивали. Под истошный птичий скрежет мы выпили.

— «В темноте вино меняет вкус», — заметил я.

Не поворачивая головы, Карлуш кивнул.

Это была старая португальская пословица.

Мы познакомились в год, когда у берегов Святого Андрея затонул паром «Коринтия» — самый дорогой, самый большой и самый надежный круизный лайнер Европы. В крушении обвинили капитана, якобы тот подошел слишком близко к берегу, чтобы покрасоваться перед жителями Шио. Он был оттуда родом. Затонувшее судно из-за штормов долго не могли отбуксировать и целый месяц оно лежало на камнях, собирая толпы зевак и туристов со всей округи.

Погрузив камеру и штатив, я тоже решил посмотреть на диковинное зрелище.

Я просвистал по тоннелям сквозь горы, перемахнул по виадукам ущелья и

к вечеру оказался в Шио. Местные указатели без труда вывели меня к месту. Чтобы «Коринтию» было удобно рассматривать, жители оборудовали смотровую площадку и даже установили лавки. Но вечером, когда я приехал, она пустовала и даже продавец лимонов закрывал свой фургончик.

Зрелище, которое открылось с обрыва, было величественным и горьким. Сверкающие на закате волны с далеким грохотом перекатывались через лайнер и бились о скалы. Опрокинутые палубы напоминали гигантские жабры, а кнехты — пустые глазницы. Поверженным левиафаном, вот кем оно выглядело, это судно.

Я расставил штатив и приготовился к съемке, как вдруг услышал мужской голос.

— Есть еще океан, — сказал кто-то.

— Вы из России! — живо обернулся я

Но человек только нахмурился и крепче сжал веревочные поручни.

Я снова занялся камерой.

«Никогда не разговаривай с русскими...».

— Нет, — ответил он, словно читая мои мысли.

Карлуш был русским только наполовину, по матери, а по отцу португальцем. За ужином в дормиторию, названного, как и все в этих краях, в честь лимонного дерева, выяснилось, что Карлуш дипломат, а в Москве провел детство, что учились мы чуть ли не в соседних школах, даже с уроков бегали в один и тот же кафетерий — и много другой чепухи, выуживать которую из небытия памяти было так ошеломительно печально.

После огромного, в желтых присосках, полипа мы перешли к ликеру. Я рассказал, как оказался в Европе, а он спросил о моем имени. Так назывался вулкан на планете, которую изучали мои родители, ответил я. Они были ученые.

Эта новость чрезвычайно взволновала Карлуша и он разоткровенничался. Оказывается, его мать тоже была ученым, курчатовским физиком. Карлуш родился вскоре после возвращения родителей из длительной экспедиции, а потом отец внезапно бросил их и уехал к себе на родину.

— Посмотри, — Карлуш достал карточку.

С фотографии улыбалась молодая женщина в длинной вязаной кофте. Руки она держала в карманах, отчего кофта красиво облегла грудь. Взгляд смеющийся, беззаботный. А на заднем плане, где сосны — черный октаэдр Станции.

С этого баснословного совпадения началась наша дружба. Вечерами, пока Карлуш не женился на Эсре, мы встречались почти каждый вечер и проводили время за разговорами. Я узнал, что Карлуш очутился в Португалии только студентом, чтобы вступить в наследство. Почему отец не хотел видеть его раньше, почему бросил семью? Все это были болезненные вопросы, которые Карлуш как истинный дипломат привык держать глубоко в сердце. Только со мной он позволял себе откровенность. Что до меня, то после того, что открылось, я относился к нему как к брату.

Карлуш хотел узнать об экспедиции как можно больше, словно там остались ответы на главные вопросы его жизни. И я, хотя и привык считать эту историю законченным прошлым, решил помочь ему. Состав и цели, что это были за люди? Почему колонию прикрыли? Можно ли отыскать тех, кто (как я) родился на Красной планете или — как мой новый друг — имел к ней

косвенное отношение? Размечтавшись, Карлуш даже придумал учредить некий Фонд, чтобы изучить наследие экспедиции и даже, чем черт не шутит, отправиться на ее поиски.

В конце XX века кое-что из истории колонии вышло из архивов и попало в печать. Гипотезы тогда обсуждались самые невероятные. Говорили, что виной провала экспедиции был просчет в системе кислородного синтеза. Что подкачал идеологический отдел и среди поселенцев уже на второй год возникла религиозная община. Было предположение, что Политбюро отказалось от идеи размещать там ракеты, нашлись места и поближе. По другой версии, которую выдвинули знаменитые сестры-писательницы, колонию эвакуировали из-за контактов с пришельцами.

«Хотя кого в данном случае считать пришельцами?» — иронизировал Илья Одеялов.

Все гипотезы собрал в статье именно этот человек — с денщицкой фамилией. Сам Одеялов делал скромное, хотя наиболее правдоподобное предположение, что колония занималась разведкой и разработкой месторождений осмия, оксид которого был необходим для ракет нового поколения, и что этого осмия на Красной планете оказалось значительно меньше, чем предполагали ученые.

Дело оставалось за малым — узнать о судьбах колонистов и отыскать их. Но уже в следующем году Дума приняла поправки к закону о секретности и доступ к архивам снова закрыли. Началась война на Кавказе, потом в Украине — и история с поселенцами, и без того темная, забылась. В неразберихе нового времени многие из ученых-колонистов разъехались по миру и доживали дни в далеких и тихих университетах. По немецкой программе собиралась уехать и моя семья, но пока тянулась бумажная волокита, пока снимали секретность — отец умер, а без него мать ехать отказывалась.

Мы решили, что сестра поедет одна.

— Пора, — Карлуш посмотрел на часы и взял гитару.

Я вышел в спальню за скрипкой.

Мы спустились на улицу и горячий воздух тут же облепил лицо и руки. Подобно гигантской машине, город остывал. От мостовой поднимался жар, а в густом воздухе дрожали огни. Отполированные миллионами подошв, блестящие камни. Распаренная и подвыпившая толпа шла навстречу. Мы ждали Эсру.

Родители Эсры были из последних стамбульских европейцев. Они отправили ее учиться в наш город игре на арфе — и та, чтобы сэкономить, играла по вечерам на улице. Я хорошо помню, как смешно и нелепо, обхватив короткими ногами похожий на оконную раму инструмент, она играла в нашем переулке. Она играла мелодии популярных шлягеров, но одна вещица заставила Карлуша вскочить и выбежать на улицу. Это была его любимая португальская мелодия, так они и познакомились. Сначала мы проводили вечера у меня, потом у них завязался роман и Эсра переехала к Карлушу. А еще через полгода они поженились и на свет появилась Анна.

— А где Леон? — спросила Эсра.

Она часто ворчала как настоящая турецкая старуха.

— Почему он всегда опаздывает?

Леон работал в книжной лавке «451 по Фаренгейту», куда я часто заходил полистать книги. То, что он виртуозно владеет электрогитарой, я узнал во время одной из своих бесцельных прогулок. Какой-то чудик на мосту, сомнамбулически покачиваясь, играл заунывные гитарные партии, и я заслушался. А когда парень поднял голову, с удивлением узнал нашего книжника.

Ну и Катя, или по-здешнему *Катья*. Она стояла за барной стойкой кафе «Фарензина» на площади Двух Купален. Кафе она держала вместе с мужем Франко, оперным певцом. Когда того вытурили по сокращению, он стал барменом, про театр вспоминать не любил, хотя почти все коктейли в баре назывались по-оперному. Кроме традиционных *Россини*, *Беллини* и *Пуччини*, в репертуар попали его собственные изобретения: коктейли *Манон*, *Альцина* и *Борис Годунов* (молоко плюс виски).

Почему именно Мусоргский, какая связь между виски и композитором?

— Ты русский, — ответил он. — Моя жена объяснит лучше. Катья!

Так я узнал, что женщина с печальными цыганскими глазами, которая каждый вечер наполняла мой бокал вином — русская. Катья была внучка последнего губернатора Новороссийска и прекрасно пела оперные партии. Просидев полжизни на спектаклях мужа, она наизусть их знала. Все это были первые партии, которых ее «бедный, бедный Франко» так и не дождался от этого «иль монстро диретторе». Так в нашем оркестрике появилась вокалистка. Она пела оперные партии печальным хриловатым голосом, как поют блюз или джаз. Иногда она вспоминала русские песенки, и тут вступал я на своей скрипке: «Купите бублики, горячи бублики...», «Мой костер в тумане светит...» и в особенности «Лихорадушка» Даргомыжского. Потом шли электроимитации Леона или еврейские мелодии, которые я выучил, снимая свадьбы в Синагоге. А Эсра и Карлуш играли меланхолическое попури из фадос и Сен-Санса.

Первое время нас теснили собачники, у них на мосту была своя кормушка, но потом Леон как-то договорился — и с ними, и с ганцами, и с парнем-полукровкой из Марокко, который торговал наркотиками. Кажется, это он однажды спросил меня, как называется наша группа.

— «Красная планета», — не задумываясь, ответил я.

— Что?

Я посмотрел на Карлуша.

— Гид по борделям Европы, — пошутил тот.

— А мне нравится, — поставила точку Эсра.

Так у нас появилось название.

Через год Эсра и Карлуш взяли на мост дочку. Одета в белое платьице, в турецких бусах и браслетах, крошечная Анна обходила зрителей со своей шляпкой — и мало кто мог отказать этому сероглазому ангелочку.

Моя сестра была врачом и быстро нашла в Германии работу. В госпитале она встретила будущего мужа. Поженившись, они купили дом и ждали потомство, а квартира, которую он оставил у себя в городе, перешла в мое распоряжение. Жил я на то, что присылала сестра, кое-что зарабатывал съемками для туристических компаний, на свадьбах. А еще несколько моих картинок висело в баре у

Франко и Катю, и одну из них, с мраморным бедром Паскино, даже купила японская пара. В общем, жить было можно, если живешь одним днем — без будущего и прошлого; если тебя окружает город, который принимаешь всем сердцем. Как и десять лет назад, я был влюблен в его фонтаны и набережные; в мрамор площадей и папертей. Мне нравилась жара, от которой в августе оплывают камни, и смуглые болтливые люди, чьего языка я так и не выучил. Мне было достаточно, что стены и воздух этого города пропитаны Временем, которого мне не хватало, ведь свое время я давно утратил.

Первые годы я фотографировал фасады и фонтаны, колоннады и портики. Потом появилась первая серия портретов: маленький индус за прилавком с флагами; студентка, которая обернулась за секунду до того, чтобы умчаться на мотоллерере; невидящие глаза старухи за чашкой кофе, который она годами цедит на площади Книжников. А потом меня стал преследовать свет. Отраженный от мраморных стен, он рассеивался так мягко, окутывал предметы такими теплыми и глубокими тенями, что я стал охотиться за этим светом. За этими тенями. Теперь стены в моей квартире покрывали снимки мраморных волн и складок, выпуклостей и впадин. Конечно, плоские и бесцветные, эти картинки мало передавали то, что я видел, но даже они давали мне силы жить в чужом городе.

Я закрыл книгу и взял трубку.

Это был Карлуш.

— Мне необходимо с тобой встретиться, — заговорил он. — Да, на нашем месте. Да, в десять.

Наше место находилось на мосту, точнее в мосту — там, где мы каждый вечер играли. Это круглое отверстие, похожее на жерло огромной пушки, пробитое в опоре моста во времена Сикста, оно так и называлось: «око Сикста». Дыра облегчала нагрузку во время паводка, но потом на реке поставили дамбу и наводнения прекратились. А «око» осталось. В нашем городе таких диковин было множество, и Карлушу нравилось отыскивать их. Катакомбы и клетки под старым цирком; заброшенные колодцы; бункеры времен войны и тайные гроты в садах и виллах — он был настоящим городским собирателем.

Когда я спустился, Карлуш был уже на месте. Я привалился к стене, мы закурили. Он достал из рюкзака термос со льдом и протянул стаканы.

Бутылка на изогнутом полу покачивалась.

— Ты знаешь, Анне в этом году исполняется четыре, — начал он.

Я кивнул, хотя и забыл об этом.

— Мой срок заканчивается, — продолжал Карлуш.

Пауза.

— Надо выбирать другую страну.

Он снова замолчал.

— Я подал документы в Россию, — наконец сказал он.

...Река, образуя иероглифы-водовороты, скользила под мост. Над головой текла беспечная толпа и долетал стук барабанов, а меня охватила паника. Я чувствовал спиной круглую стену, а сам словно повис в воздухе.

Уезжает? А что будет с оркестром? Что будет со мной?

Пауза.

— Мы можем поехать вместе, — сказал он.

Я покачал головой.

— Что «нет»? А Красная планета?

Наверху кто-то заплодировал, послышался смех.

— Мне надо подумать, — только и смог ответить я.

На правом берегу бурлила ночная жизнь, светились кафе и бары — а левый пустовал. Невидимый, я шел по дробленной тенью набережной, и речная вода, приближаясь к дамбе, все быстрее обгоняла меня. Глядя, как она завихряется и кружит, я думал о времени и что совсем, наверное, выпал из него. Да и существует ли время?

«Ехать или не ехать?»

Со времени нашего отъезда я возвращался только однажды, когда умерла мама и пришлось улаживать дела с наследством. В те дни сестра рожала и мне пришлось отправиться в это горькое путешествие одному. Те несколько дней запомнились яркими, но болезненными картинками. В моей памяти я до сих пор еду по слякотной весенней дороге. Низкое небо над аэродромом и темные сырые перелески, сквозь которые просвечивала земля в полосках снега. Тяжесть, которая словно удваивалась этим небом и этим снегом. Я вижу дорогие, облепленные грязью машины, и то, как по-летнему беззаботно улыбается с рекламы полуголая девушка. Наш неузнаваемый, спрятавшийся за нелепыми вывесками и пристройками, двор на Ленинском проспекте. Наша дверь, которую открывает незнакомая женщина с одутловатым белым лицом. Ее выкрашенные в рыжий цвет волосы. Как она отводила взгляд, опускала лицо в бумаги. Шелест этих бумаг, которые она мне подсовывала, а я подписывал, и шум и суeta в квартире, где еще утром лежал покойник, а теперь по коридору сновали дети, грохоча роликами, и какой-то человек в зеленом плаще смеялся по телефону. Темная ткань на зеркале, мамина шаль. Это была не скорбь, но удушье и суeta, разлитые и растворенные в воздухе и даже спрятанные в вещах, ставших в одночасье незнакомыми и чужими, словно испачканными чужими взглядами. Автобус на кладбище, скользкая от дождя глина. Деньги, которые я рассовывал могильщикам. Горе, которое то наваливалось и душило слезами, то отступало, и на его место приходили пустота и отчаяние. А потом хождение по одинаково унылым конторам, где под ногами хлупает одинаково вспученный линолеум. Окошечки с усталыми усатыми женщинами, запах мокрой одежды и освежителей. Текущие туалеты. Милиция и снова какие-то конторы с непроизносимыми названиями. И все только затем, чтобы выяснить, что никакой квартиры давно нет, что мама каким-то образом отписала все сиделке и что теперь эта немолодая женщина с красными волосами, встретившая меня в дверях, владеет нашей квартирой, и с этим уже ничего нельзя сделать.

— Оставь все и возвращайся, — голос сестры в трубке был изможденным. — У тебя родилась племянница.

Так, ни с чем, кроме горя, я и вернулся.

Подсвеченные, за обломками колонн висели арки старого Цирка. В ночном рыжеватом небе чернели шапки пиний. Нестерпимо, надрывно трещали цикады. Темные улицы пустовали. Я шел дальше.

Обставленная похожими на комоды домами, тесная площадь, куда вынесли меня ноги, называлась Черепаховой. Она называлась так по имени фонтана и

тоже пустовала. Я обошел фонтан и сел на ограждение. Смочив уставшее лицо, поднял голову. Это был бронзовый мальчик; вытянув руку, он подталкивал черепаху наверх, где стояла чаша с водой. Черепаха балансировала, и было непонятно, заберется она или нет.

«Ехать или не ехать?»

Саша

Саша проснулся от звука дождя, который, словно ощупывая крышу, шелестел по кровле. Первое, что он подумал, что он на даче, где дождь шелестел точно так же, — и улыбнулся этому. Но это была не дача, а новая квартира. В старый, со стеклянной шахтой лифта, дом они переехали недавно, накануне Нового года, и Саша не мог предположить, что на последнем этаже дождь будет звучать совсем по-дачному.

Было утро 31 декабря, и шел дождь, он съедал остатки снега, чьи серые пятна пугающе быстро исчезали с газона, а вместе со снегом как будто уходило и само время. Был только дождь, его однообразный шум, который Саша спутал с дачным.

Он откинул одеяло и сел на кровати. Он мысленно вернулся к тому, о чем думал все эти дни, и сейчас, утром, эта мысль была особенно безжалостной. Никуда она не исчезла, не делась — как Саша втайне надеялся.

Он не мог обманывать себя дальше. Да, следовало признаться, что его новая книга зашла в тупик и он попросту не знает, как писать ее дальше. Все эти дни Саша поздравлял и принимал поздравления, отвечал на письма, собирал и отправлял семейство на дачу, искал подарки жене и сыну, записывался на радио и даже как следует выпил в компании у Драматурга. Но вот пришло последнее утро старого года, и сознание бесцельности его работы вернулось. Да, так и есть, говорил он себе, ты напрасно истратил силы и время; ты в тупике, ты проиграл.

Шторка с шелестом отодвинулась, и Саша надавил на раму. В открытое окно ворвались звуки города: дождь, гудки, колокольный звон. Это был холодок совсем не зимнего, а по-осеннему свежего, пахнувшего сырыми ветками и штукатуркой воздуха. Он облепил Сашино заспанное, онемевшее лицо. Несколько секунд он стоял с этим воздухом на лице в оцепенении. Потом закрыл окно, накинул халат и спустился вниз.

Кофеварка зашипела, наполняя воздух горьким запахом. Но чашка с кофе осталась нетронутой. Теперь, когда замысел романа улетучился, и запах кофе, и новая квартира, и даже собственное лицо в зеркале выглядели чужими. Еще недавно он мечтал, как у себя наверху будет писать новую вещь и это будет лучшее из того, что он сделал. А теперь и его кабинетик, и письменный стол, подаренный женой, и окно в крыше, через которое на этот стол струился такой мягкий, рассеянный свет — все оказалось ненужным. Он ненавидел и этот стол, и это окно, и этот свет. Он злился на жену, которая поторопилась все это устроить и тем самым как будто спугнула планы. Но еще больше — на себя, что позволил незнакомому человеку так обойтись с собой.

Вадим Вадимыч, черт бы побрал тебя и твою планету!

Саша невольно искал глазами обидчика, но его не было. Более того, этот случайный знакомый, ночной собеседник из Кёльна, даже не подозревал, в какую историю втравил его.

— Глупость, нелепость! — он резко отодвинул чашку.

На салфетке бесшумно расплылось темное пятно.

— Александр Сергеевич? — голос в трубке звучал с фальшивой бодростью. Он поморщился, кивнул.

— Просто Саша.

— Сегодня эфир, ждем вас.

— Конечно, — он переложил трубку и поискал глазами ежедневник.

— Как обычно — без четверти.

— Да... — он полистал странички.

«А, вот оно».

— Конечно.

Но трубка уже молчала.

Это был эфир на радио, куда его иногда приглашали почитать «из нового». Обычно он читал готовые вещи, но в прошлый раз, поддавшись на уговоры ведущей, пообещал главы еще неоконченного. Это было против его правил, но ведущая так мило, по-детски упрасивала, что он согласился, тем более что первая глава была уже начерно сделана. Они тут же смонтировали анонс и запустили его. Несколько раз он с омерзением натыкался в эфире на густой голос, обещавший «главы из "Красной планеты"». И вот теперь Саше предстояло читать то, во что он больше не верил. Чего не существовало.

Он взял трубку, чтобы позвонить и перенести эфир, но потом передумал.

«Расскажу какую-нибудь историю», — решил он.

«Да, так. Что-нибудь придумаю».

Он снова взял телефон. На экране значились непрочитанные сообщения. Первое было об эфире на радио, и Саша машинально стер его. Во втором жена прислала адрес кафе, где перед отъездом на дачу Саша должен забрать индейку. А третье было от Лены. В сообщении, которое Саша торопливо удалил, Лена говорила, что книга, которую он заказывал, поступила, но зайти в магазин можно только после праздников — и что, если он хочет, можно не ждать, а встретиться раньше.

«Буду в центре» — писала Лена.

Они познакомились в книжном магазине, куда Саша регулярно заглядывал. Сперва он заглядывал за новинками и чтобы проверить, как «идут» его собственные книги. Но по мере того, как продажи падали, он все быстрее оказывался в подвале, где находился отдел букинистической книги.

В этом подвале Саша наткнулся на свою первую книгу, юношеский сборничек стихов «Ангина». Заметив оранжевый корешок, он с изумлением взял в руки потрепанную чужими руками книжечку. На титуле значилось посвящение, и Саша с безгловым изумлением узнал свою руку. Ему стало неловко, даже стыдно.

Лена работала консультантом, на вид лет двадцать. Светлые волосы, пухлый рот, широкие бесцветные брови. Взгляд темных глаз прямой, как бы

немного «вскинутый», удивленный. Протягивая Саше оплаченную книгу, она посмотрела именно таким взглядом.

— Вы совсем не изменились, — сказала она, заметив фотографию на книге, и улыбнулась. Саша замешкался и зачем-то спросил о другой книге. Лена опустила глаза в компьютер.

— Так... так... — протянула она. — Нет!

Весело посмотрела на Сашу.

— Но вы можете оставить заказ.

Не дожидаясь ответа, она выскользнула из-за конторки, и он невольно проводил взглядом ее легкую, почти невесомую фигурку.

— Вы занимались танцами? — спросил он, когда Лена вернулась. Та посмотрела на носки туфель, сдвинула их и нахмурилась.

— Гончарова «Фрегат "Паллада"» есть?

За спиной уже собралась очередь.

Не оборачиваясь, он извинился, а потом сделал то, что не ожидал от себя: взял квадратный листок бумаги, подвинул его и беззвучно сказал губами: «Номер».

Лена вздохнула и записала цифры.

— Ваш заказ принят.

Они встретились всего один раз, когда он зашел в магазин к вечеру, чтобы подгадать к концу смены. По дороге к метро Саша предложил кофе, она согласилась. О чем говорить со вчерашней школьницей, он не представлял, но она смотрела на него такими удивленными, внимательными глазами, что он разговорился. Они заказали вина, время полетело. И Саша опомнился только тогда, когда у метро поцеловал Лену в губы.

Больше между ним ничего не было, но то, что он хотел, чтобы между ними было, заставляло его удалять сообщения и даже отключать звук телефона. Эта, еще не полностью состоявшаяся, вина терзала его, поскольку он не представлял себе, как будет обманывать. Но жизнь без Лены теперь казалась ему пустой и пресной. Более того, Саша с удивлением понял, что эта тайная вина не только тревожит, но и доставляет наслаждение. Теперь, когда его литературный роман отодвинулся в сторону, он хотел думать о романе с этой девушкой, поскольку, когда он думал о ней, ему казалось, что и с тем романом не все потеряно.

Он спросил Лену, когда ей удобно. Та долго не отвечала, но потом телефон пискнул.

«В 4» — ответила она.

В четыре Саше было поздновато, нужно было приехать на дачу пораньше, а еще индейка. Но он поспешно согласился. Спускаясь в метро, чтобы ехать на радио, он вспомнил, что не договорился с Драматургом о поездке в деревню, которую они запланировали сразу после праздников — и ничего не придумал для радио. Но до эфира еще оставалось время.

У Драматурга

Сидели, не зажигая света, за длинным столом, сдвинув книги, чтобы поставить вино и тарелки. Негромко играла музыка. Окна, что зажигались в доме напротив, бросали отсветы на пол, и подоконник, и старую печатную машинку. Профиль девушки, сидевший у окна, был словно вырезан из этих отсветов. А лица двух других терялись в сумраке.

Говорил один.

— Это правда? — когда он замолчал, спросила девушка.

— Он просто забрал его документы, — кивнул Сверчок, — документы и ключи от дома. И вернулся в Москву, в чужую квартиру.

Сверчок был актер и приятель жены Драматурга, актрисы. С женой Драматург давно развелся, но Сверчок иногда заглядывал в гости. В этот раз он пришел с новой пассией, Полиной. И теперь, чтобы произвести впечатление, рассказывал эту старую историю.

Полина внимательно слушала. В сумерках блестели ее влажные зубы.

Драматург, чью историю Сверчок рассказывал, помалкивал.

— А дальше? — попросила девушка.

— Он просто зажил чужой жизнью, — рассеянно ответил Сверчок. — Вот здесь.

Полина осторожно повернула голову. Ее окружали восточные ковры и книги. У входа стоял велосипед. В чужую жизнь не верилось.

— Значит, это все не ваше? — она провела пальцем по клавишам на машинке. — Не вы?

Клавиши оказались пыльными. Драматург пожал плечами. Ему было досадно, что Сверчок выдает вымышленную историю за настоящую. Он делал это не первый раз, и Драматург не первый раз обещал помалкивать. Но теперь жалел. Он жалел, потому что Полина ему понравилась. Простодушная, цельная. Что-то бурятское или алтайское — Драматург не знал, как это назвать, русская азиатка. Похожие лица он видел, когда путешествовал по Сибири. А Сверчок, этот старый актер-неудачник, циник и грубиян, просто хотел затащить ее в постель.

— А как же родственники... чей труп... — черные брови Полины сдвинулись, она по-детски морщила лоб. — Который вы нашли на пляже?

— Он жил один, — перехватил Сверчок. — Никто его не разыскивал.

— Тогда в Таиланде пропали тысячи людей, — вставил Драматург. — Обычная история.

— Обычная... — удивленно повторила Полина.

— Он... — Сверчок кивнул на Драматурга, — узнал об этом, когда вернулся в Москву и навел справки. А заодно выяснил, что его тоже никто не разыскивает. Тоже никому не нужен. А та, которую он любил, пропала без вести...

Голос Сверчка дрогнул, он готовил кульминацию.

«Сейчас расскажет историю призрака».

Драматург с любопытством и грустью посмотрел на Полину. Глаза у нее блестели. Он опустил лицо.

«Хотя почему? Я и сам как призрак».

Ему вдруг стало жалко — и себя, и Полину.

«Почему не я?» — с тоской подумал он.

«Хорошая, чистая девочка».

Он не заметил, как снова посмотрел на нее. Она попыталась улыбнуться. В сумерках еще ярче блестели ее зубы. Иногда она коротко и привычно встряхивала головой, словно откидывая длинные волосы, которых не было.

«Потому что ты не умеешь красиво обманывать».

Он тихо цокнул языком, вздохнул.

«Не умеешь и не хочешь».

История, которая приключилась с Драматургом десять лет назад в Таиланде, действительно, была одной из тысяч. Они поехали обновить семейные отношения, повторить медовый месяц. А угодили в цунами, это было правдой. Волна прошла по другой стороне острова, но в неразберихе их тоже зачислили в пропавшие без вести. Тем, кто об этом узнал, друзьям и близким, пришлось страшно понервничать. Плюс эта история с трупом на пляже, мужик с русским паспортом. Таких после цунами выносило на берег сотнями, и Драматург просто вызвал полицию. А когда они вернулись в Москву, разругались окончательно. Словно цунами, не зацепив их там, отыгралось здесь. Жить вместе стало совсем невыносимо, и они развелись. А вскоре она ушла из театра и переехала в другой город.

Он остался один и долго не мог забыть ее. Он ловил себя на том, что все еще мысленно говорит с ней.

Он жил у себя в Замоскворечье, напротив церкви. Через квартал находилась мечеть, звон колоколов смешивается с азаном. Идеальное, на его вкус, место. Когда в театре сменилась власть и пьес больше не заказывали, он стал работать для радио. Общие приятели, актеры, исчезли вместе с женой, остались только Сверчок да Саша — как напоминание о прошлой жизни. Была еще одна замужняя дама, которая иногда навещала его, но несуразная конспирация, она раздражала его. Ее было слишком много для этих коротких и редких дневных свиданий.

Время между тем шло, одиночество и бессмыслица душили его. Он все чаще тосковал — не выходил из дому, просиживая сутками перед экраном и попивая дешевый виски. Если бы не деревня, избу в которой он купил по соседству с Сашей, Драматург мог бы давно наложить на себя руки. Банально, но так, ведь и смерть банальна. Но обратно к истории. На этом она, казалось бы, кончилась — если бы не Саша, этот писатель. Их жены были сестрами, поэтому он знал все в подробностях. История с цунами ему так понравилась, что он решил написать книгу. В его романе выходило, что жена Драматурга, действительно, пропадает без вести. Чтобы сбежать от своего горя, герой придумывает страшную вещь: снимает со случайного уопленника ключи и паспорт и едет в Москву под чужим именем. Новый адрес, чужая жизнь. Призрак в квартире — списанной, между прочим, с его квартиры. Вот этой, с коврами и тарелками, и Буддами, которые он привозил из путешествий, в которых потом спасался от одиночества. С реальной соседкой, до сих пор живущей через стенку. С церковью, чей фасад и сейчас «бросал желтоватый отсвет на стены комнаты». А

все остальное было выдуманным. И вот теперь Сверчок, несчастный дон жуан, выдавал Полине историю из романа за настоящую.

...Вышли на балкон, закурили.

— Может, хватит? — поинтересовался Драматург. — Смотри, перегнешь.

— Понравилась? — Сверчок набил трубочку и затянулся.

— Она меня уже жалеет.

Сверчок усмехнулся, но слова Драматурга услышал. Посмотрели в комнату. Через балконную дверь было видно, что Полина разглядывает гирлянды, мигающие в окнах напротив. Этот странное сочетание новогодних украшений и сухой чистой улицы заставило забыть о разговоре. Они замолчали. Выбив пепел, Сверчок поднял глаза, чтобы сказать что-то. Но что? Его спас звонок в дверь. Драматург увидел как Полина вздрогнула и обернулась. Потушив сигарету, он вернулся в комнату. Это был Саша.

— Медитируем? — Саша щелкнул выключателем, и в розовом абажуре загорелся свет. — Декадент.

Он не любил этих драматурговых сумерек.

— Так, мне кажется, лучше, — согласилась Полина.

Вместе с Сашей в коридоре раздевались двое, он и она. Они шумно дышали, наверное, поднимались пешком.

— Привет, — Саша подвел пару к столу.

Драматург знал одного из этой пары, дипломата Карлуша. Он улыбнулся ему и пожал руку. А Яна представилась журналисткой, Драматург видел ее впервые.

Саша поставил на стол бутылку шампанского. Он огляделся и махнул Сверчку. Он его недолюбливал: злой неудачник. К тому же там, где находился Сверчок, всегда много курили. Курил за компанию и Саша, хотя потом у него болела голова.

— Там лифт... — негромко сказал Карлуш.

Это был невысокий, с залысинами, человек сорока с лишним лет. Джемпер, рубашка, серые брюки. Густые нависшие брови и длинные ресницы делали его взгляд темным. Он был до синевы выбрит. Человек из советской очереди, как шутил про него Саша. «Не хватает только авоськи». Идеальная внешность для разведчика.

— Это Карлуш, — сказал Саша. — Он из Португалии. Дипломат. Сколько мы с тобой знакомы... — он задумался.

— Шпион, — Сверчок в шутку наставил палец. — Он говорит по-нашему?

— Говорит. — спокойно ответил Карлуш. — Он же шпион.

Карлуш говорил по-русски почти без акцента.

— Яна, — представил он спутницу.

Он взял ее за руку и быстро взглянул. Полина одна заметила этот восхищенный взгляд. Она сказала:

— У вас слишком выразительные глаза. Для шпиона.

Тут же смутилась.

— Ты нравишься девушкам, — громко сказала Яна и взяла его за локоть. Действительно, под густыми ресницами голубели яркие, почти бирюзовые глаза.

— Там в лифте... — снова начал он.

— Да! — Саша вспомнил. — Слушай... — теперь он говорил Драматургу. — Там в лифте дама. Кажется, твоя соседка. Кажется, надо помочь ей.

И продолжил:

— Значит, это был второй год, — он стал вспоминать Лиссабон, где они с Карлушем познакомились. — Тогда в Европе переходили на евро и все пересчитывали. А португальцы народ медлительный. Сколько мы ждали счет, помнишь?

— Сорок минут, около, — сказал Карлуш. — Так.

Он сел к столу.

— Но это не из-за евро. Это из-за фадю. Пока звучит фадю, счет не приносят.

Саша пожал плечами и взял штопор. Драматург снял с полки бокалы.

— Чистые?

Полина выскользнула из-за стола:

— Полотенце есть?

Она подошла к раковине и включила воду.

Драматургу показалось, что все заметили, как он посмотрел на нее.

— Иду, — он взял ключи.

Здесь, на лестничной клетке, он понял, откуда этот звук, который мерещился ему весь вечер. Это был звук лифта, точнее, дверей, которые то открывались, то схлопывались.

Он поднялся по лестнице, заглянул в кабину.

— Люба!

Дама в шляпе отвернулась от зеркала и ласково посмотрела на Драматурга. Она была пожилая женщина.

— Антон? — пропела она. — Здравствуй.

Последнее время соседка называла его «Антоном».

В руке она держала пакет из магазина. В этом магазине они виделись утром, когда «Антон» покупал вино для вечера.

— Люба? Помочь вам?

Он взял ее руку, обсыпанную старческой гречкой. Забрал пакет. Помог выйти из лифта. В тишине они медленно спустились к двери.

— Ключи? — спросил «Антон».

Он знал, что Люба живет одна.

Из квартиры резко пахло прокисшим, прогорклым. Хотя? Так из любинной квартиры пахло давно, так уже давно пахло от нее самой.

Единственный сын Любы жил в Черкассах.

— Жду мужа, — тихо сказала Люба. — Пошел в магазин и нет. О! — она улыбнулась. — Я знаю, где он. Есть тут одно местечко. Одна особа. Маринка. Сучка...

Она укоризненно покачала головой и закрыла дверь.

Когда Драматург вернулся, за столом спорили.

— Эта земля тоже будет нашей, — отчетливо говорила Яна. — Дайте время.

Она была журналисткой федерального агентства и занималась проблемны-

ми регионами. К ее кожаной куртке, подумал Драматург, не хватает красного банта.

— Как можно присвоить чужую землю?

— Эта земля всегда была русской, — отвечая Саше, Яна покусывала губы. — Мы просто восстановили историческую справедливость.

— А греки? — спрашивал Сверчок. — Первыми на этой земле были греки. Яна не смутилась:

— Историческая справедливость имеет свои временные рамки.

— Рамки, — Саша злился. — А кто их устанавливает?

— Мы, — просто, даже ласково ответила Яна. — Государство. И не забывайте, что там наша база.

— Где ты нашел ее? Боевая машина пехоты какая-то. Прости.

Это Драматург спросил Карлуша, когда они вышли покурить на «Волгу» (так драматург называл свой балкон, там висел дорожный знак).

Карлуш рассказал.

Это случилось во время поездки дипломатов ЕС в один из беспокойных регионов. Она находилась там от своего агентства и занималась государственной пропагандой. А Карлуш мониторил ситуацию с правами человека. Это были несовместимые вещи, они были неподходящие друг для друга люди. Но Карлуш влюбился, и это было видно по одному тому взгляду, которым он смотрел на Яну — и который заметила одна только Полина. Ему было интересно с Яной, она злила и заводила его своей непримиримостью. Он хотел понять ее.

— Прости, — повторил Драматург, когда Карлуш закончил. — Я не знал.

— За этой ее болванской риторикой есть какая-то личная драма, — кивнул Карлуш. — Унижение или обида, я это чувствую.

От ветра «Волга» дребезжала, и Драматург подкрутил проволоку.

— Как ты съездил? — спросил он. — Как Стамбул?

Саша рассказывал, что сейчас творится у Карлуша на бывшем семейном фронте.

— Ничего, хорошо, — Карлуш ждал этого вопроса. — Два часа виделись. В школе. Вот...

До Москвы Карлуш работал в Брюсселе и был женат на турчанке. Потом они развелись, но Эсра сумела забрать и вывезти к себе дочку. Европейский суд ничем не мог помочь Карлушу, ведь это Турция. И он был вынужден ждать, когда Эсра разрешит, чтобы он прилетел в Стамбул на свидание с дочкой.

— Как вы встретились?

Карлуш достал телефон. С экрана улыбалась Анна, счастливая светловолосая девочка с голубыми, точь-в-точь как у Карлуша, глазами. В руках у нее была большая плюшевая игрушка.

— Она забывает язык, — глухо ответил он.

— Это уже ни в какие ворота, — за столом между тем почти кричали. — Может, и Аляску?

— Может, и Аляску, — улыбка не сходила с тонких губ Яны. — Если народ решит.

— Трудно не поверить такой улыбке, — ядовито заметил Сверчок. А Полина не сводила с Яны восхищенного взгляда.

— Нет, правда, — поддержала она. — Ведь враги... Это наша земля...

— А что? — Саша перебил ее. — Ты слышишь, сэр Стоппард?

Так он иногда называл Драматурга.

— Давай в нашей деревне тоже провозгласим независимость? Свободная республика Дуплевка! А потом к кому-нибудь присоединимся.

«Стоппард» показал большой палец:

— А Леху президентом.

— Кто такой Леха? — спросила Полина.

— Местный алкаш.

Глаза Полины и Драматурга впервые за вечер по-настоящему встретились. Он надеялся, она забыла, что напелл Сверчок.

— «Призыв к изменению территориальной целостности страны», — отрезала Яна. — Уголовная статья.

Саша всплеснул руками и отодвинул стул.

— А что будет с теми, кто не согласен? — в шутку спросил Сверчок.

— Уезжать, — Яна не улыбалась. — Несогласных, — она даже зло усмехнулась, — мы отпускаем.

— Стоп, стоп, стоп!

Это очнулся Драматург.

Он решил, пока все не переругались, переменить тему:

— Вы не представляете!

Он показал на дверь и приложил палец.

— Моя соседка, кажется, сошла с ума.

Сверчок присвистнул.

— И в этом я обвиняю тебя, писатель!

За столом смолкли.

— Не понимаю, — Саша вытер губы.

Драматург развел руками: «судите сами».

— Он вывел ее в своем романе, — начал он. — Там герой прячет в подземный ход соседку, просто запирает. И она сходит с ума.

Он показал на дверь:

— А теперь в реальности. Стоит в лифте перед зеркалом. Ждет мужа, который двадцать лет назад умер.

Драматург обвел взглядом друзей.

«Переход на сцену с Любой. Сцена четвертая. Те же и соседка», — машинально подумал он.

И в дверь, действительно, позвонили.

— Это она, — Драматург повернул ключ.

Теперь на ней была летняя шляпа и легкое платье в черный горошек. В руке она держала плюшевую игрушку. В прихожей запахло старыми вещами.

— Люба, — ласково сказал Драматург.

Она вошла.

— У вас гости, Антон, — нараспев сказала. — Но я не помешаю. Я на минуту. Вот.

В фуражке и с балалайкой — плюшевый медвежонок.

— Вашему сыночку от Любы.

«Антон» взял, прижал.

— Спасибо, Люба. Но...

Посмотрел на гостей.

Сверчок приложил палец к губам.

— Может, посидите с нами? Вино? Чай? Проводим год.

— Люба, правда, — это сказала Полина.

— О нет, нет, — покачала головой Люба. — Нет, муж. Идет. Спешу.

Она заметила зеркало и подошла к нему.

Расправила складки на юбке, поправила шляпу. Не прощаясь, вышла.

— И давно это с ней? — первым спросил Сверчок.

— Она может спалить дом, — Яна.

— Может быть скорую? — Полина. — У нее кто-то есть вообще?

Драматург покачал головой.

— Сын в другом городе.

Потер лоб:

— У нее ключи от моей квартиры... Ну что, писатель?

Вспомнили про Сашу.

— А что, что случилось?

Во время мизансцены Саша не сводил с Любы глаз. Кажется, он был поражен больше всех. Теперь же, когда все просили его, он словно очнулся:

— Да, да!

— Послушай, — Драматург хотел остановить его.

Он понял, что попал в ловушку, ведь сейчас Саша все расскажет.

— Я несколько лет назад написал книгу, — начал он. — Роман. У тебя есть здесь? Нет? Ну, не важно. Там герой после цунами возвращается в чужую квартиру...

Саша обвел руками комнату.

— И живет по чужим документам. У него там соседка, я ее с Любы списывал. Правда, я сделал ее помоложе, поскольку по сюжету между ними должна была произойти любовная история. Он соблазняет ее, она влюбляется. Становится навязчивой. Это тяготит его. В какой-то момент она узнает, что он не тот, за кого выдает себя. Чтобы избавиться от нее, он... — Саша кивнул на Драматурга, — то есть, герой как бы случайно запирает женщину в подземном ходе. Тут есть подземный ход из дома в церковь. Ты не рассказывал?

Драматург не слушал, а смотрел на Полину.

Полина боялась отвести взгляд от Саши, чтобы не видеть Драматурга. Он это почувствовал, ему стало стыдно. А Сверчок как ни в чем не бывало набивал трубочку.

«Пойду "на Волгу"», — цокнул он языком.

— Я вообще все больше склоняюсь к тому, что это опасная, даже страшная вещь, — продолжал Саша. — Художественный вымысел. Потому что он вытесняет из человека его собственный мир. Человек ведь состоит из своих вымыслов и фантазий. Из своих романов. Просто они, может быть, не такие яркие. И вот один роман, более сильный, вытесняет и заменяет в человеке свои собственные. При том что к реальному миру все это не имеет никакого отношения. И когда человек понимает это, когда его роман, который и не его

вовсе, а чужой, сталкивается с реальностью — происходит катастрофа. Цунами. Вот о чем моя книга.

Саша подлил Полине и себе вина.

— Так она читала вашу книгу? — это спросила Яна.

— Не знаю... — Саша пожал плечами. — Надо спросить у Драматурга.

— Просто вы хороший психолог, — спокойно сказала Яна. — Вы уже тогда увидели в ней то, что случилось только сейчас. Вот и все.

Саша не знал, как ему понимать эти слова, как комплимент или оскорбление. Он посмотрел на кожаный рукав Яниной куртки, потом на ее короткие остриженные ногти. Он решил промолчать и взял вино. И тут раздался голос Полины.

— Как вы можете! — почти крикнула она. — Люба живой человек, ей плохо, — она говорила и краснела от собственных слов. — А вы говорите о ней как о персонаже. Как о...

Она еще больше смутилась и встала из-за стола.

— По-моему, ей хорошо, — хмыкнул Сверчок.

— Я могу сходить, — предложил Карлуш.

— Может все-таки скорую?

Разговорились и зашумели снова, а Полина незаметно вышла в прихожую и оделась. Глаза у нее сухо блестели, а губы дрожали. Она запахнула пальто и шарф и тихо вышла.

Драматург вернулся с балкона в грузинской папахе. Он всегда надевал ее, когда курил — и теперь, увидев как смешно и нелепо эта папаха выглядит, померить ее вызвалась Яна.

— Где она? — спросил он Сашу, пока Яна крутилась перед зеркалом.

— Кто?

— Полина.

— Ушла... Слушай! — вспомнил Саша, — я хотел переговорить насчет деревни. Как мы едем? Ты...

Не дослушав его, Драматург извинился и вышел в прихожую. Пальто Полины исчезло с вешалки. Он взял ключи, накиннул куртку и обернулся.

Сверчок все так же невозмутимо набивал трубочку.

«Вадим Вадимыч»

Эта история случилась со мной прошлой осенью в Германии. Я приехал в Кельн по приглашению моего бывшего однокурсника, ныне «профессора Леона Цвингера», с которым не виделся двадцать лет — и письмо от которого неожиданно пришло ко мне. Из письма следовало, что Леон вовсе не исчез в 90-х (как я думал), а поменял гражданство, профессорствует в Кельнском университете и даже курирует некий литературный фестиваль.

На него-то он и пригласил меня.

Надо сказать, Леон никогда не был мне другом. Да и приятелем тоже. Однако меня всегда тянуло к этому замкнутому еврейскому юноше из уральской провинции. И тогда, в студенчестве, когда он рисовал мрачные абстракции — и теперь, после «превращения» в немецкого профессора философии.

Картонку с моим именем держал лысый господин в черном костюме и розовом галстуке. Его щеки были розовыми словно под цвет галстука. Изредка он обмахивался картонкой с моим именем, как веером.

— Фриш, — представился он по-русски.

Картонка полетела в мусорный бак, и господин с писательской фамилией подхватил мою сумку. Мы вышли из аэропорта и сели в машину, довольно потрепанный белый Фольксваген. Как все безволосые, в очках, люди Фриш выглядел человеком «без возраста», хотя выяснилось, что мы ровесники. Это выяснилось по дороге в город. Он коротко рассказал, что переехал в Германию из Чернигова, а при Леоне состоит чем-то вроде секретаря или администратора. Тем же спокойным тоном он признался, что горд знакомству с человеком, с которым Леон дружил в юности. Я не сразу понял, что речь обо мне.

Гостиницей для участников фестиваля был старый пансион с треугольной прихожей и узкой деревянной лестницей. Широкая и плоская тетушка-немка, словно выпавшая из «Дара», встречала нас за такой же плоской и широкой, как она сама, стойкой. Она улыбалась, сканируя меня и Фриша немигающим взглядом маленьких колючих глаз. Про себя я назвал ее «фрау Стобой».

Комната находилась на последнем этаже, дальше лестница сужалась, а шаг ступеней учащался, словно плотник выбился из сил или решил не экономить. А там начинался чердак. Судя по свисающим из замочных скважин болванкам, пансион пустовал — остальные участники фестиваля еще не приехали. В углу комнаты с белеными стенами жался фанерный шкаф с ввалившимися от вечной пустоты створками. Напротив стояли узкая и высокая, похожая на бруствер кровать с латунными набалдашниками и кресло на кривых и коротких, как у таксы, лапах. Тяжелые шторы закрывали окно, за ними, как в нелепом фокусе, неожиданно прятался прекрасный, словно из путеводителя, вид на Рейн и стеклянные башни левого берега. А сбоку, если перегнуться через герань и петунии, возвышались черные колпаки Собора.

Через полчаса в комнате зазвонил телефон и каменный голос фрау Стобой сообщил: «герр профессор» приехал и «герр писатель» может «видеть его в кафе "Иммерволь" на набережной». «Битте», — добавила она и повесила трубку.

Леон почти не изменился. Передо мной стоял все тот же еврейский юноша, только округлевший и обросший бородой-эспаньолкой. Он по-прежнему сутулился и говорил тихо, как бы нарочно заставляя прислушиваться. Когда ему хотелось привлечь внимание, он постукивал собеседника ногтем (который тоже сохранился на свалке моей памяти). Как и раньше, Леон носил очки с полутемными стеклами. В очках и бородке, с остатками волос, собранными в молодежный бобрик, в неброской удобной одежде, Леон выглядел европейским интеллектуалом, каким мне, вероятно, и хотелось его видеть. Никаких эмоций по поводу нашей встречи он не выразил, только закашлялся в кулак и закивал. И если бы не Фриш, в шутку столкнувший нас, мы бы даже не обнялись.

Мы сели, Фриш заказал пива. Леон достал пахучую папироску. Из разговора я понял, что Леон преподает философию, хотя его настоящей страстью была история, точнее, история города, а если еще точнее — Кёльна, который исчез под бомбами союзников, города, которого не было. Он знал расположение улиц, которые когда-то лежали буквально под нами, и нумерацию исчезнувших

зданий; сами дома, в каком стиле их построили и кто архитектор, какие лавки находились в этих домах и кто был владельцем, а кто жильцом в доме; в какой день и час их разбомбили, кто погиб, кто выжил и т.д. и т.п.

Такая вот неожиданная страсть. Да.

Сведения о городе хранились в двух его компьютерах, которые стояли бок о бок, распахнув крылья экранов, как гигантские бабочки. В остальном квартирka Леона, куда Фриш привез нас вечером, выглядела по-студенчески. Тахта, пара разнокалиберных кресел, огромный стеллаж с виниловыми пластинками — вот и вся обстановка. А столом, где мы курили и выпивали, служил огромный звукоусилитель.

Тот факт, что Леон занимается несуществующим городом, несколько обескуражил меня, ведь десять лет назад я и сам занимался чем-то похожим, даже написал книгу, правда, речь в ней шла о Стамбуле. И вдруг Леон, его исчезнувший город, как будто все это время мы шли по одному следу.

Фриш разлил чай и сменил пепельницу. В столбиках закатного света дым извивался, складываясь в иероглифы. Покопавшись в пластинках, Леон включил музыку, это был двойной концертный диск Genesis, «Seconds Out». Пластинка, которую мы часто слушали в общежитии, правда, на пленке.

Я начал рассказывать Леону, что с кем стало из нашей студенческой компании. Немного приукрашивал, ведь меня слушал Фриш, и мне хотелось выглядеть значительнее. Потом спросил его о родном городе, был ли он снова под красным небом, как он сам называл его когда-то (из-за химических выбросов). Но Леон отмалчивался или говорил неохотно, и мне вдруг стало ясно, что *это* прошлое он от себя отрезал. Кроме музыки, в нем Леона больше ничего не интересовало.

— Ты всегда был провокатором, — с усмешкой ответил он. — Твоя наивная вера в культуру поражала и смешила меня, ведь кругом царила разруха. А ты в нее верил. И знаешь? Я благодарен тебе. Это не давало опускать мне руки тоже.

Леон произнес этот короткий монолог сухим отрешенным голосом, словно речь шла о чужих людях. Всерьез ли он говорил или подсмеивался? За давностью лет все это уже не имело значения. Ставки были сделаны.

Паузу прервал Фриш. Он сообщил, что в свободное от преподавания время Леон водит экскурсии по исчезнувшему Кёльну, они так и называются: «Кёльн невидимый». Приработок за вычетом немецких налогов был мизерным, но экскурсии анонсировал местный «Тайм Аут», и Леон не на шутку гордился этим.

— Зоя! — позвал он.

Журнал вынесла девушка, оказывается, все это время она находилась в соседней комнате. Он представил ее. Она села к Леону на колени и молча закурила.

Потом Фриш позвал нас в сад.

Это был задний дворик, отгороженный кустами туи и жимолости. Небо еще светлело в суставах каштана, а здесь уже наслаивались жирные сумерки. Из этих сумерек едва проступали белесые углы то ли беседки, то ли оранжереи — там, в углу. Это была мастерская Леона. Когда Фриш открыл дверцу, я приготовился увидеть картины, ведь в юности Леон был художник. Но контуры того, что стояло посередине, напоминали лодку.

Фриш зажег свет, я присвистнул.

Это был подробный макет города.

Судя по реке и мостам, этим городом был Кёльн. Но не тот Кёльн, который мы видели, когда подъезжали, а лишь отчасти напоминающий настоящий. Дома и соборы этого города, и городскую стену Леон собрал и склеил из картона, но часть была собрана из прозрачного пластика, и внутри этих пластиковых домов стояли другие сооружения, а сбоку виднелась башня телецентра и минарет мечети.

— А Собор? — спросил я.

На макете не хватало знаменитых черных колпаков.

— Так вот он, — показал Леон.

Действительно, у реки возвышался собор, но не тот, знаменитый, а другой, без шпилей, зато с какой-то нелепо торчащей наверху балкой или лебедкой и провалом на месте центрального нефа.

— Таким, — объявил Фриш, — он простоял четыреста лет. А то что вы видите сейчас...

Пока Фриш рассказывал, Леон флегматично курил. Он изредка морщился, как будто у него побаливает зуб или десна, а Зоя отпивала вино и, поглядывая на меня, улыбалась.

В центре макета пустовала незастроенная площадка. Леон объяснил, что здесь находился еврейский квартал и что из истории этого места он хочет воспроизвести именно его.

— Гетто? — предположил я.

— Нет-нет, — Леон недовольно покачал головой.

Он стоял в нерешительности, как будто не знал, говорить ли дальше.

— Это место открыли двадцать лет назад, — начал он. — Когда я только приехал. Что-то рыли, коммунальная стройка, не знаю. Сначала обломки миквы, потом фундамент старой синагоги, стены жилых домов. А потом нашли целый квартал. Оказалось, что евреи жили тут еще со времен императора Константина. Ювелиры, торговцы шерстью. Здесь, между церковью святого Лаврентия...

Леон показал на башенки храма.

— ...и ратушей.

Зоя обошла макет и встала напротив. Мы помолчали.

— Считалось, что постройки уничтожили крестоносцы, — продолжал Леон, — они тут хорошо поорудовали. Но нет.

Зоя придвинулась к макету.

— Еврейская история в немецком контексте... — насмешливо сказала она.

Ее голос был глубоким и мягким.

Мы стояли над макетом, как над открытой могилой.

— Ты знаешь, в Европе любят музифицировать, — снова заговорил Леон. — Поэтому решено было накрыть раскопки стеклянным куполом. Поскольку деньги периодически заканчивались, стройка то шла, то останавливалась. Потом вдруг выяснилось, что не всем в городе этот музей нужен. Против выступила мусульманская община, она тут довольно крупная, в ответ на это главный археолог обвинил кельнцев в антисемитизме. Его отстранили, здесь не любят бучи, и стройка снова встала. А потом рядом с синагогой откопали остатки римского претория.

Леон показал на макет.

— И стало вообще непонятно, музей *чего* строить.

Чем больше говорил Леон, тем отчетливее я понимал, *что* он хотел показать на своем макете. Нет, не довоенный город или Кёльн Римской империи, не эпоху крестоносцев или Наполеона — этот человек коллекционировал то, чем закончилась *каждая* история этого города. История, считал Леон, не кончилась только в наше время, как считали философы, она кончалась множество раз до этого. Это было вообще свойство Истории, периодически заканчиваться — кстати, его теория. И вот то, что оставалось от каждой такой Истории, римской или еврейской, немецкой и даже мусульманской, — он и взял в свой идеальный город. Город Историй.

— А что было на месте пансиона? — спросил я.

Когда мы вернулись в квартиру, Леон включил оба компьютера и стал перетаскивать картинки с одного экрана на другой прямо по воздуху. Наконец открылась объемная: узкий дом с тремя трубами; крыша, в черепице которой световые окна.

— Вот, — Леон наклонился, чтобы прочитать подпись. — Уничтожен в 42-м, попадание не прямое, разрушен частично, снесен в 1948-м как неподлежащий восстановлению, отстроен из бетона в пятидесятых. Точная копия, только без обсерватории.

— Обсерватории?

На экране появился бровастый человек в шейном платке и барашковых бакенбардах.

— Йозеф Клейн, — зачитал Леон. — Астроном, жил на последнем этаже, а на чердаке оборудовал обсерваторию. Наблюдал извержения вулканов на Луне. Издавал журнал «Сириус». Видишь эти стеклянные рамы?

Он постучал по экрану.

— Это она.

Около полуночи Фриш привез меня в пансион. Перед сном я решил немного подышать и спустился к воде. Канаты, на которых держалась пристань, гудели от напряжения, это шел Рейн — а огоньки на воде крутились как воздушные шарик. Душный речной воздух и эти огоньки, и вздыбившийся за спиной черный Кёльн, и пустота на душе — складывались в предчувствие, что изнанка жизни завершилась и стало видно ее необыкновенное нутро.

Однако пора было спать.

Запершись в комнате, я лег на кровать и включил компьютер, чтобы написать письмо жене. Неожиданно к шелесту монитора прибавился посторонний звук, скрип или стук, как будто наверху кто-то встал и даже прошелся. Но кто? Ведь там находился чердак.

Окно подалось, распахнулось — и я с наслаждением вдохнул речной воздух. Словно невзначай посмотрел наверх... Так и есть, окно на чердаке светилось.

Я вернулся в комнату. Если это кто-то из участников, то почему на чердаке? Или это спальня фрау Стобой? Вряд ли. И почему она не спит... Молодой турок? Нет, пусть это будет марокканец. Любовная связь как прикрытие. Хранение наркотиков. Или террорист? Из «Халифата». А потом выясняется, что это просто старый сторож или слесарь, его каморка.

Я складывал в голове сюжеты, и чем нелепее и банальнее они выглядели, тем больше мне это нравилось. Может быть, это призрак астронома, я даже усмехнулся. Кстати, может ли призрак скрипеть лестницей?

Размышляя таким образом, я задремал и не заметил, как лестница в коридоре и в самом деле скрипнула. В тот же момент в дверь постучали и новелла, которая складывалась в моем воображении, распалась.

— Вы не спите, — раздался за дверью мужской голос.

Он был русский фотограф из Италии. Родственник Зои или что-то вроде, поэтому Леон пригласил его. Средних лет господин с асимметрично посаженными бровями, жившими на лице своей жизнью. На фестиваль он привез коллажи, которые подписывал «Вадим Вадимыч» — как, собственно, его и звали. Все это я узнал за бутылкой виски, которую он проворно спустил из номера — чердак оказался номером, — а в моем холодильнике нашелся прошлогодний лед. Уже полночь он снова сходил на чердак, теперь за компьютером. Это были те самые коллажи. Он составлял их из детских и семейных фото и газетных вырезок; старых советских плакатов и театральных билетов; кассовых чеков и телевизионных заставок того времени, каких-то до боли знакомых вывесок. А потом просто увеличивал до размеров киноэкрана и показывал. Одна из работ, которую я запомнил, была детская кроватка у окна (сквозь тюль виднелся радиатор), а за окном чернела башня в форме октаэдра. Башня возвышалась над лесом, кроватка была пуста. Работа называлась «За сутки до рождения Вадим Вадимыча». Эта пустая кроватка всю жизнь сводит его с ума, признался он, тем, что она есть, а его нет. А второй снимок был семейный. На снегу стояла молодая пара, он в пальто и клетчатом шарфе, она в сапожках и шубке. Тут же стояли их дети, маленький карапуз-мальчик и девочка-подросток. А на заднем плане виднелась все та же башня. Да, да, да — с улыбкой вспомнил я, точно такую, как у этого мальчика, шубку и кроличью шапку я носил тоже, это были времена моего детства. Это ваша семья? осторожно спросил его. Сестра? А где был сделан снимок? Что это за башня? Но он только кивнул, стал листать дальше, а потом вдруг вернулся. Да, это моя сестра и родители. Мы тогда жили на научной станции... В научном городке. А эта башня, это КОН (он увеличил на экране октаэдр). «Корпус особого назначения»... Мое детство. А это... А где? перебил я. Где находилась станция? Но он как будто не слышал. На этой станции родители изучали вулканы, рассказал он (хотя лес на снимках был вполне подмосковный). Я все хочу поехать туда, все собираюсь, признался он. У меня и компаньон есть, я встретил его уже в Италии. Его родители тоже здесь работали и жили. А потом лабораторию закрыли, станция пришла в упадок. Мы вернулись на землю (он так и сказал — «на землю»). Тогда многие уезжали на постоянное жительство и мы тоже решили уехать, тем более что отца приглашали, но пока оформляли бумаги, пока снимали секретность — он умер. Мать одна ехать отказывалась. А мы с сестрой... А где? почти крикнул я. Где находилась станция? Вы говорите так, словно это было в космической экспедиции! Тогда он снял очки, вытер переносицу и посмотрел коротким трезвым взглядом. А вы правы, ответил он, мне и в самом деле кажется, что это случилось на другой планете. Станция, научные лаборатории. Городок этот и сосны. Разве вам (он повертел пустой стакан) не приходилось думать, что в эту жизнь, в Кёльн или Москву, в этот двадцать-первый-или-как-его-век — все мы попали с другой планеты? Из

другого мира? Он закрыл компьютер и поставил пустой стакан сверху, брови его на секунду замерли. Но зачем? прошептал я. Если впереди жизнь, зачем столько прошлого? А, Вадим Вадимыч? Может, лучше вычеркнуть его? Жить будущим? Ведь еще ничего не закончилось! Он снова взял и повертел стакан. Вы уверены? тихо спросил меня. А потом закатал рукав и снял наручные часы. Вот, посмотрите, это отцовские. Только переверните. Видите? Я снял очки и приблизил глаза. «Слава первопроходцам «Красной планеты» было выгравировано на крышке.

Адам, Ева

Эфир на радио закончился, красная лампа погасла.
Саша снял наушники, вытер лоб и встал из-за стола.
— Было круто, — ведущая подняла глаза от экрана.
Она тонко улыбнулась.
— Теперь обязательно поеду в Кёльн.

Саша уныло поблагодарил ее. Знала бы эта девушка в огромных наушниках, в какую нелепую историю он попал в Кёльне. Знала бы она, что и Леон, и его идеальный город...

Но нет — и нет.

Они еще немного постояли у дверей, поздравляя друг друга с праздниками и договариваясь об эфирах на январь. Потом новости закончились и ведущая исчезла в студии. Можно было уходить.

На улице висела изморось и влага тут же облепила лицо и руки. Саша поднял воротник и надел перчатки. На железной двери блестели дождевые капли, и Саше почему-то не хотелось, чтобы эти капли упали и разбились. Он закрыл дверь мягко.

Было начало пятого, в Петровском парке уже стемнело. Саша снова поразился ощущению аберрации; тому, что парк по-осеннему гол и влажен, а сумерки по-зимнему ранние. Он шел, наполненный приятной усталостью и пустотой, какая бывает после хорошо и в свою пользу сделанного дела. Вот только это странное ощущение, как будто от того, что в природе произошел сбой, что время разминулось с самим собой — что-то собьется и в Сашиной жизни.

За деревьями гудела автострада. Вспышки фар, пробиваясь сквозь стволы, слепили, и Саша машинально опускал голову. Он смотрел на прохожих, чьи силуэты напоминали стволы деревьев, которые почему-то сдвинулись с места и задвигались, замахали ветками.

И сейчас, и в студии Саша держал в уме то, чего не забывал весь день, на фоне чего прожил его и к чему внутренне готовился: что он увидит Лену и что он не знает, как быть с ней. Он боялся представить, что между ними может произойти, чтобы не спугнуть — но что? И у него начинал стучать пульс. Как Саша успеет с остальным, индейкой и электричкой, он не думал. «Как-нибудь сложится», — привычно успокаивал он себя.

На радио он подслушал новогоднюю викторину — слушатели вспоминали яркое событие прошлого года. Тогда, в студии, он внутренне поморщился, но

теперь с наслаждением принялся составлять собственный список. Первое, что он занес в него, была его поездка с семилетним сыном в деревню. Еще весной он решил, что ехать надо только вдвоем; что это будет их первое «мужское» путешествие. Так оно и вышло, правда, потом приехала бабушка. И тогда, и теперь Саша с улыбкой вспоминал, как они сидели на терраске за баней и ужинали («как собачки из мисок», — скажет потом сын). Как устроили огромный костер из старых досок. Как съездили на мотоцикле на пруды и карьер. И как вечером он сказал: «Наша деревня, папа, лучшее место в мире».

Да, это было событие вне всяких сомнений.

На второе место поместилась Бельгия, куда они с женой неожиданно съездили в прошлом марте. Как его поразила фламандская живопись, которую он увидел на серых, словно пустых стенах музея в Брюгге. Саша почти не знал этой живописи, ее было мало в русских музеях, и вдруг столько — сначала в Брюгге, а потом в Брюсселе и Генте, куда они заехали, чтобы посмотреть «Агнца» Ван Эйка.

«Агнца» разглядеть толком не удалось из-за туристов, а вот картина «Сдирание кожи с продажного судьи» до сих пор стояла перед глазами. Он запомнил и особенное выражение печальной неотвратимости на лицах экзекуторов; и маленькую собачонку, беззаботно крутившуюся под столом, с которого капала кровь. А после случилось событие номер три: он впервые ходил с палочкой.

Колено разболелось после возвращения. Первые дни Саша терпел, но потом ходить стало совсем невозможно. Это случилось в Литературном музее после выступления, и его друзья-музейщики выдали ему палочку одного советского поэта. Так Саша неожиданно выпал из ритма города, очутился в параллельном мире. Он вспомнил пустоту, которая образовывалась вокруг него и палочки, стоило ему попасть в автобус или переполненной вагон метро, и ощущение самозванца, когда тебе уступают место. Рассказывая историю с палочкой, он любил добавлять, что с ним, в сущности, случилась короткая экскурсия в будущее. А потом вышла его новая книга и настало лето, они затеяли покупку квартиры и переезд.

Книга, которую он считал своей лучшей, осталась незамеченной, но лето пролетело в такой суете, что Саша не успел толком расстроиться. Нет и не надо, ладно. Теперь, когда они стали обладателями новой квартиры, Сашины литературные неурядицы стушевались. Он был благодарен жене за то, что она подтолкнула его к переезду. Что они влезли в долги, рискнули, но выиграли. В этой светлой квартире с высокими окнами, где у каждого, наконец, появился свой угол, в жизни Саши должен был начаться новый период. Саша не знал, каким будет эта новая жизнь, все, о чем он мечтал, была новая и большая работа. И вот теперь, после Кёльна... Да. А еще он шутил, что, если жизнь пойдет без резких изменений, без революций и переворотов, гроб с его телом когда-нибудь вынесут именно из этого подъезда. Эта мысль нехорошо, зло заводила его. Саша даже выбрал во дворе тополь, под который его гроб можно поставить. «Хотя бы в чем-то наступила ясность», — говорил он жене. В том, что жена его переживет, он не сомневался.

Саша снова перебрал лето, но больше не нашел ничего. Хорошо, давайте поднимемся в осень, — предложил ему невидимый слушатель. Тут первое место

занимала их с Юрой вылазка в деревню Горницы. Эта деревня находилась неподалеку от деревни, где у Саши была изба и где по соседству жил Драматург. Горницы была мертвой деревней, дорога туда вела непролазная, разбитая дождями и лесовозами. И вот Юра, Сашин школьный друг, регулярно наезжавший к нему в деревню, наконец поменял машину. На джипе с лебедкой да по подмерзшей глине они без труда пробрались туда, где в нечеловечной, а уже природной, звериной глуши, среди заросших и сгнивших изб и одичавших яблонь, трава под которыми усыпана никому не нужными яблоками, стояла полуразрушенная Владимирская церковь, построенная Львовым... Но дальше, дальше.

Саша снова перебрал осень. Стоп! Он поежился. Как это ничего не было? А Ленинград? А тетка Тамара? А похороны? Он вспомнил серые холодные дни в Питере, кладбище и поминки и снова ощутил тихое отчаяние, которое поселилось в нем со смертью любимой тетки. Она была сестра отца и мать Сашиного двоюродного брата. В детстве, когда родители уезжали, он жил у них; Тамара была ему второй матерью; он был привязан к ним. Тетка оставалась предпоследней из «старших» в их семье, куда Саша включал родителей, их сестер и братьев, а также своих племянников и кузенов. И вот старших, кроме Сашиной матери, в этой семье больше не осталось. Теперь задние, стоячие ряды на семейном фото приходилось занимать им, детям.

Вот и все, — подытожил Саша. — Хватит, пожалуй.

«А Кёльн?» — спросил все тот настырный собеседник. Саша на ходу пожал плечами. Если поездку к Леону можно считать событием, то встреча с Вадим Вадимычем была сомнительным приобретением. Так? Саша невольно поискал глазами, кому ответить.

«Да, можно», — ответил тот.

А Лена? — покосился он в темноту. Как быть с ней? Почему мысль занести ее в список не пришла тебе в голову?

Так ведь и год не закончился, — ответил он.

У метро садились в маршрутки, многие навеселе, и громко и грубо шутили или сквернословили. Глядя на бесформенные пакеты с продуктами, Саша вдруг вспомнил деревню, что он так и не договорился с Драматургом насчет поездки. Он набрал номер, но связи не было, он набрал снова. Потом еще раз. Наконец гудки прорезались.

— Алло! Привет! Ты как?

Но Драматург перебил его.

— Я уже здесь!

Он говорил быстро, пока связь.

— Снег, елка. Все есть! Да, Леха уже пьяный. Что? Приезжай, конечно. Люська запекла ногу. Ха-ха-ха, нет! Не Лехину. Свою. Привези петарды и лампочки! Ты когда хочешь?

В трубке слышались голоса и даже одинокие выкрики, деревня уже праздновала. Саше вдруг захотелось оказаться с ними — там, где нет ни Лены, ни индейки, ни городской суеты, каждый год одной и той же, одной и той же.

— Числа четвертого, пятого... — ответил Саша. — На Рождество.

Потом связь оборвалась.

Значит, Драматург уже там, сонно думал в метро Саша. Значит, он поедет

один. И не забыть про лампочки. Лампочки, лампочки... А, может, сразу? Числа второго? Нет, надо побыть вместе. И надо позвонить Юре, он же хотел ехать, это было бы хорошо, с Юрой веселее... Хотя Юра запил, у него любовная драма... В таком состоянии за руль... четыреста километров... Тут Саша заснул, а когда проснулся, объявили Новокузнецкую.

Они встречались в Замоскворечье, меньше риска встретить знакомых. Он приехал раньше, но когда поднялся, Лена уже ждала его. Она стояла у памятника, и Саша, не выходя из колоннады, несколько секунд смотрел на эту совсем девчонку в цветастой вязаной шапочке. Он почувствовал себя школьником, который сбежал с уроков. Именно в той, которая теперь переминалась на длинных и тонких, как у жеребенка, ногах — заключалось самое важное для него. Он решил, что каким-то непостижимым образом и свобода, и вдохновение теперь зависят от этой девушки. Но каким? Этого он не мог понять.

— Привет! — она обернулась, когда он подошел. — Какой смешной памятник.

— Это фонтан, — ответил Саша, быстро поцеловав ее холодную щеку. — Это Адам и Ева.

В центре фонтана сидели на яблоке голые люди.

— Холодно... — пожалела Лена.

Еще днем, когда они только договаривались, Саша решил, что это будет экскурсия. Так он сказал себе, такую роль придумал. И постепенно вошел в эту роль. Рассказывая и показывая Замоскворецкие углы, он с наслаждением узнавал и переулки, и подворотни, по которым гулял когда-то — и которые за эти годы почти не изменились. Он улыбался этому — и воронам в липах, по осеннему недовольно вскрикивавшим. Тому, что юность позади, а тут все как раньше, и даже вросший в стену кривой тополь, которому он когда-то посвятил стихотворение, — вот он. Он показал Лене усадьбу Островского и дом с мусульманским карнизом; мечеть; антикварные избенки с резными наличниками, которые он забыл — и которые без его памяти прекрасно перебрались в новое время.

Лена не понимала половины из того, что говорил Саша, она слышала не слова, а звук голоса, который обволакивал сознание. Ей нравилось, что умный, взрослый, известный человек вот так просто, на равных, говорит с ней. Она нравилась себе, какой она видела себя в его глазах, это поднимало над собой, причем буквально, когда не чувствуешь, как идешь, как переставляешь ноги. Она боялась только одного, сделать или сказать что-то, что разрушит эту пелену и невесомость, поэтому, слушая, как Саша рассказывает или читает стихи про дерево, она только молчала и улыбалась. То, что происходило, казалось ей тем, что она давно ждала. Жизнь, от которой Лена ждала большого счастья, свелась к тому, что она второй год сидела в букинистическом отделе среди старых книг и немолодых, некрасивых женщин. Ей становилось панически жалко себя — что она не успеет заметить, как сама превратится в одну из них. В длинной неопрятной юбке и домашних туфлях, с неухоженной кожей и нелепой прической — будет обсуждать в подсобке за чаем пьяницу и бездельника-мужа и такого же, в отца, сына. Лена готова была на все, чтобы избавиться даже от мыслей об этом. Чем дольше Саша говорил, чем больше новых интересных слов, названий дальних стран произносил, тем больше Лене казалось, что эти слова и

страны, эти стихи и ее тоже каким-то образом касаются. Что они и есть то, что обещала жизнь — в самом начале, когда речной кораблик отчалил от Дома на набережной и повез по ночной воде Москвы-реки в будущее.

Они вышли к «Берлину» — так Драматург, живший неподалеку, называл новый квартал на набережной, заселенный в основном известными немецкими банками и компаниями. Офисы перед праздником закрылись, квартал пустовал. Они вышли к Звереву мостику. Саша вспомнил Сверчка, тот всегда водил сюда своих девушек, и решил сделать так же, потому что не знал, как вести себя с Леной, когда слова кончатся, он знал только одно, что хочет поцеловать ее, как тогда, у метро, но как было вернуться в тот вечер?

Огни светились над незамерзшей водой. Лена остановилась у парапета и посмотрела туда, где плавали утки. Она подняла лицо, как будто хотела что-то спросить или сказать, и все Сашины вопросы исчезли. Ее губы в темноте сухо блестели, а зрачки были беспомощно расширены. Саша почувствовал, как проваливается в эти зрачки и закрыл глаза. Он прикоснулся к ее губам, поцеловал теплую шею, снова в губы — пока машина, вырываясь из арки, не обдала их светом.

— Пойдем, — Саша взял ее за руку.

Он удивился и обрадовался своему решению.

— Куда ты хочешь? — тихо спросила она.

— На Волгу, — ответил Саша.

Он сказал это с усмешкой, но Лена слышала, как изменился его голос. Она спрятала лицо в шарф и посмотрела на воду и уток, словно видела их в последний раз. Потом они быстро, как заговорщики, пересекли улицу. Сколько у него времени? Проклятая индейка.... Но чем беспомощней Саша чувствовал себя, тем быстрее думал. Решение было принято словно другим человеком. Этот человек напомнил, что Драматург в деревне, квартира пуста. А ключи Саша возьмет у соседки, она его знает. И тогда вы с Леной останетесь вдвоем, — сказал он. Ты же этого хочешь? А потом Саша успеет и за индейкой, и на электричку.

Одиноким подъезд светился в темноте.

Саша молча набрал цифры.

— Люба? — спросил он в домофон. — Это Саша. Можно?

Вернуться прежним человеком

Ножи и вилки, и подсвечники, темные прохладные бутылки, бокалы и рюмки — праздничный стол отражался в стеклах веранды и напоминал макет города. Елочная мишура мерцала. С улицы яростно светил соседский фонарь — и голая трава, которую он освещал, блестела, как копирка. Шел с перерывами мелкий сухой дождик. До Нового года оставалось два часа.

Саша приехал и тут же подоспели первые гости; времени выяснять, где он задержался, не осталось — добрался, довез индейку и ладно. Принимая и раздевая гостей, несколько раз Саша ловил взгляд жены, но когда их глаза встречались, она только улыбалась, а Саша разводил руками. Он шел на кухню.

Саша нарочно долго сидел на кухне, пока теща не выдворила его к гостям

на веранду. Он что-то съел, выпил, но не почувствовал вкуса ни того, ни другого. Перешел в гостиную. С детьми он принялся собирать какую-то штуку из реек, которая все никак не превращалась в воздушного змея (зачем зимой змей?). После он привязался к Даниеле, их итальянской подруге, подтрунивая над тем, что жена хочет познакомить ее с Карлушем. Та притворялась, что ей безразлично. Саша в шутку просил прощения и снова ловил взгляд жены.

Чтобы спрятаться от этих взглядов, он поднимался наверх. Он решил, что если она его спросит, что с ним, он скажет про роман, что принял, наконец, решение и не будет продолжать его. Это выглядело убедительно, тем более это была правда, и Саша поразился своей изворотливости, о которой не подозревал раньше. Да, это будет хорошим объяснением.

Он постучал и заглянул в гостевую комнату. Там перед зеркалом устроилась Аня, актриса — младшая сестра Сашиной жены. Она приехала на праздник с детьми и мужем, и Саша садился у стола, невольно любясь правильными чертами своей неродной родственницы, этой дальневосточной красотки. Он расспрашивал Аню о театре и погоде в Питере. Та рассказывала, быстро и много отвечая самой себе в зеркало, о закулисных интригах, сырости и ангинах, и Саша притворялся, что слушает. Но даже тогда, когда он слушал, а потом помогал Ане застегнуть молнию, ему казалось, что все эти женщины, и его жена, и Аня, и теща, и Даниела — не только слышат запах той, которую два часа назад он держал в объятиях, но даже читают его мысли о ней.

Саша опускал лицо к воротнику свитера. Да, так и есть, пахнет духами. Но зря он пугался, он ошибался; от того запаха, который несколько часов назад вытеснил все запахи мира, не осталось ничего, только воспоминание, и это его он слышал как запах. В реальности одежда и волосы пахли электричкой, а джинсы на коленях, где он держал индейку, жареным мясом. А запах существовал только в памяти. Но что именно осталось в памяти? Мост и огни на воде? Ее холодные обветренные губы? Змеиная улыбка старой соседки? Вино, которое он нашел в квартире у Драматурга и которое они выпили? Все, что произошло потом, произошло быстро и неловко, а дальше Саша сразу засобиравшись. Он опаздывал и нервничал, и Лена это видела, и он видел, что она видит, и нервничал еще больше. Они молча оделись. Лена спустилась вниз, а Саша позвонил к соседке и, нарочно глядя в глаза, вернул ключи. Так же молча они шли к метро. Все то время, что он ехал в кафе на Грузинскую, бежал по переходам на перрон и тащился в пустой электричке по праздничным пригородам, перед глазами была только ее ладонь. Как Лена, когда он любил ее, прижимала ладонь тыльной стороной к губам, словно хотела закрыть губы и рот и всю себя. Ни в тот момент, ни теперь Саша не мог понять, что означал этот взгляд, к чему она в себе прислушивалась. Хорошо ей было? Или?

Он спустился в туалет и проверил телефон. Никаких сообщений. «Как ты?» — он включил воду и набрал новое. Это было уже третье, и оно тоже осталось без ответа. Все, что Саша получил от нее, он получил еще в электричке, что все в порядке, она добралась до дома. Так пишут приученные родителями школьники. И все. А дальше молчание, которое Саша не знал, как расценивать.

Он вышел на лестницу и тут же, на площадке, остановился. Он вдруг ясно понял, в чем дело. Она не отвечает, потому что больше ничего не хочет. Ты

разочаровал ее. Семейный увалень, тюфяк. Забыл, как это по-настоящему делают. Она просто жалеет, что отдалась такому. Поскорее забыть, смыть тебя, вот о чем она думает.

Это открытие настолько поразило Сашу, что он несколько минут стоял на лестнице. Да-да, прошептал он. Господи! Он обводил прихожую невидящим взглядом. Идиот несчастный. И в тот же момент в голове начинало звенеть и дребезжать. Обувь и стены, и лестница дребезжали тоже. Он не понимал, откуда этот звон и трогал лоб, но это звонили с улицы; кто-то приехал и ждал, чтобы открыли ворота.

Очнувшись, он сбежал по лестнице и взял трубку.

— Да, алло.

Это был Карлуш.

В дверях Саша обернулся и снова столкнулся взглядом с женой. Та хотела что-то сказать, сразу передумала — и вдруг попросила первое, что пришло в голову: возьми детей на улицу.

Дети с визгом и грохотом бросились одеваться. Через минуту всей толпой они вывалили под мелкий дождик. Дети исчезли за террасой, где под навесом лежали дрова, а Саша, накинув капюшон, пошел к воротам.

Холодный замок выскальзывал из пальцев, наконец в щель ударил свет. Машина, выхватывая фарами то угол террасы, то колодец, то дерево, въехала на двор. Свет уперся в кирпичную стену и выключился. Саша запер ворота. До Нового года остался час.

Саша не знал, что с Леной, и не мог знать, поскольку он, выдумавший десятки персонажей, в этой истории сам превратился в одного из них. Но читатель, он-то свободен. Он-то с сюжетом никак не связан. Он-то может, может подсмотреть в скважину. А что там в действительности? Почему, когда до Нового года час, Лена не выходит из комнаты? А лежит на своем диванчике, обхватив большую плюшевую мартышку?

В дверь стучат, родители зовут к столу. Увещевает бабушка. Из компании, куда она пойдет догуливать праздник, шлют сообщения молодые люди. Ее попугай не кормлен и недовольно скрипит в клетке. Лена запрещает себе слезы, но они катятся сами. Унижение и обида, и изумление — что такое возможно не в кино или книге; что это ею так бесцеремонно, равнодушно воспользовались — как игрушкой. Так она чувствует себя — отброшенной вещью. Которая все видит и слышит, все помнит. Но зачем теперь помнить все это? Как буднично, не глядя в ее сторону, этот человек оделся, и как от того, что он даже не посмотрел на нее, словно побрезговал, она покраснела и не знала, куда девать себя. Как отвернулась, чтобы он этого не заметил, ссутулилась. Ей было стыдно своей наготы, но больше она стыдилась своей наивности. Ей хотелось лежать рядом с ним, прижав к себе его большую руку, а он вышел на балкон курить, чтобы она могла поскорее привести себя в порядок и выйти. Какая-то электричка, какая-то индейка на Грузинской. Лена знала, но эта «семья-дача» была для нее на другой планете. Как дальний и почти несуществующий родственник. Разве это имело значение, если на этой планете были только он и она? А теперь Саша ждал ее в дверях с мусорным пакетом. Она видела, как он выбросил то, что использовал, когда был с ней. И теперь хотел эту улику

поскорее вынести. Ты сама теперь как эта использованная вещь, говорила она себе. Ненужная и грязная улика.

Одевайся, — слышала она его голос. Малыш, уже поздно. Новый год на носу. Мы опаздываем. Поехали.

Она, как во сне, просовывала руку в рукав. А дальше? Машинально поправляла волосы. Жить своей жизнью?

...Шли на ветру к метро, огибая с разных сторон лужи. Нет, — говорила она, — сейчас он обнимет и скажет то, что ты ждешь. И ты скажешь. И ветер кончится. Но Саша так сухо, отрешенно ткнулся губами в ее щеку, что от обиды она могла только сжать зубы. Голой посреди подвыпившей грязной толпы, вот какой она себя чувствовала. Голая и несчастная, как эти двое несчастных на фонтане, Адам и Ева.

Напиши, как доедешь, — сказал он. Нет, завтра я со своими на даче. Потом? Потом в деревню. Конечно, я напишу. Целую. Увидимся.

Даниела была итальянкой по папе, а по маме москвичкой. В огромном дворе на Ленинском проспекте, где они жили, девочки познакомились еще в колясках, выросли в одном дворе и отучились в одной школе. Но дальше их пути разошлись в пугающе разные стороны. Даниела только в юности жила в Москве, а потом, когда погибла ее мама, переехала в Европу. Это был несчастный случай, маму сбило машиной, когда отец впервые привез ее в Рим. После этого он больше не хотел жить в Москве и забрал сына, младшего брата Даниелы. А Даниела ехать отказалась, она осталась с бабушкой и дедушкой. Для них она теперь стала как дочка.

Только после МГУ, когда открыли границы, она переехала к папе. Но в Риме, где он жил, никакой работы не было, и через пару лет Даниела перебралась в Лондон. Ей повезло, она устроилась преподавать языки в престижную школу и с тех пор жила в этом огромном холодном муравейнике. Она жила одна и вскоре уже не мыслила себя без Лондона, как будто специально созданного для таких вот одиноких людей с причудливой биографией. Два раза в год она выбиралась из своего города — летом к папе в Италию, в провинцию на море, куда он перебрался из Рима, а зимой к подруге в Москву встречать Новый год. В Сашиной семье она давно была негласным членом. Саша называл ее «наша княжна Марья».

Как я уже сказал, Даниела жила одна, и Сашина жена хотела познакомить ее с Карлушем. Не то чтобы она не любила его, нет — просто он казался ей человеком, в некоторых вопросах непростительно недалеким. Например, Сашу он считал слишком беспечным, и Сашина жена это видела. Всем своим видом он говорил, что не понимает, как можно вести праздный образ жизни, когда все вокруг катится в бездну — не понимает, но смиряется, ведь это его друзья. Это был синдром человека, который по работе постоянно сталкивался с прямым беззаконием, и Саша понимал это и не придавал значения. Он пытался убедить в этом жену, но ей все равно не нравилось, что Карлуш даже мысленно осуждает их. Он европеец, но он бесчувственный человек, — говорила она. Мы же в заложниках.

Но Даниела, эта тихая итальянская англичанка?

Ей казалось, они подойдут друг другу.

Когда Саша привел Карлуша, Даниела рассказывала о своей школе. Это были амурные и абсурдные истории из жизни новых лондонских русских, а также их прислуги. Темы для урока часто брались из жизни, так было построено обучение, и постепенно Даниела, не выходя из собственной квартиры, погрузилась во все перипетии этих полукриминальных полумыльных опер.

— И вот эта израильская девочка из общества Каббалы выясняет, — рассказывала она, — что ее русский жених — это сын...

Она назвала знаменитую фамилию.

— Но это меняло дело, — она посмотрела на Карлуша. — Когда массажистка родила ему третьего, он решил, что ей пора выучить русский. Только накануне свадьбы...

— А вы? — неожиданно перебил ее Карлуш.

Даниела сделала вежливую паузу, но Карлуш молчал.

— Что?

— За вами должна охотится желтая пресса, — заметил он, не поворачивая головы.

Он сказал это с иронией в голосе. Даниела почувствовала это, но решила, что не слышит иронии, и сделала страшное лицо:

— Что вы! — ответила она. — Меня убьют тогда.

Карлуш усмехнулся.

— Знакомься, — сказал Саша.

Даниела подняла серые глаза и посмотрела одним из тех мягких лучистых взглядов, за которые Саша и прозвал ее «княжной Марьей». Но Карлуш не ответил, он смотрел все так же вниз и в сторону. Не глядя друг на друга, они пожали руки. Карлуш боком, как в каком-то танце, отступил в угол и там застыл с бокалом. Он рассматривал старые елочные игрушки. Он едва заметно, одними губами, усмехался. И сейчас, и потом, когда они находились в одном с Даниелой пространстве, в комнате за столом или на улице у костра, на каждую ее реплику, на каждую фразу он именно так, коротко и печально, усмехался. Наверное, ему было не по себе, что он оказался в компании не единственным иностранцем.

Надменная итальянка, эта Даниела.

Несчастливая неудачница, возмнившая себя римской патрицианкой.

Эту усмешку Даниела заметила и все поняла, только дернула плечом. Она отвернулась к Ане, которой не терпелось узнать продолжение с массажисткой. Но настроения рассказывать больше не было. Даниела вдруг почувствовала скуку и уныние; что она здесь лишняя. Она решила, что оскорблена.

— Ты же знаешь, я не ем это! — она почти крикнула, когда жена Саши предложила что-то. Она повернулась к детям и стала с ними настраивать какую-то электронную игрушку. На лбу и вокруг глаз у нее проступили морщинки. Теперь ей была противна тушь и помада, которыми она пользовалась. Несчастный коротышка, португалец! — она задыхалась от гнева. Свести меня с ним? Чтобы потом твой Саша все описал в романе? Как ты глупа! Нет, надо быть выше этого. Надо оставаться собой. Мы друзья, но я не позволю им испортить праздник. Нельзя позволить им насмехаться надо мной.

Так она думала, но было поздно, хорошее настроение улетучилось. Улыбка выходила деланной, она себе больше не нравилась. Ей захотелось обратно в Лондон, в свою одинокую пустую квартирку. В город, где никто никому не нужен, ничего никому не должен. Теперь ее раздражало даже семейное счастье

подруги, оно казалось ей мелким и сытым, еще более сытым и безмятежным, чем жизнь тех, кому она преподавала. Она решила, что ей жалко даже маленького сына своей подруги; кем вырастет этот прекрасный мальчик, этот барчук? Она не знала, куда девать себя, и напоминала себе обиженную английскую гувернантку из русского романа. Она вышла на кухню помогать Сашиной теще.

— Кажется, ничего не выйдет, — прошептал жене Саша.

Та пожала плечами. Она мало знала Карлуша, только его отношение к их образу жизни, но не его самого. А Саша плохо знал Даниелу. Сами же они ничего выяснять друг про друга не хотели. До Нового года осталось полчаса.

Чтобы не пропустить куранты, Саша вынес на улицу радиоприемник и включил музыку. Сухие сосновые поленья, сваленные детьми в кучу, не успели промокнуть и быстро занялись. Костер с треском и искрами разгорелся. Во всем новогоднем празднестве Саша больше всего любил это время. Полчаса до полуночи, в окнах движутся тени, гости веселятся — а тут темно, костер. Выпасть из времени, побыть вот так. Как сидят «на дорожку». Каким будет год, Саша никогда не загадывал. Все что он говорил себе в такую минуту, что просил у костра — это «вернуться прежним человеком». Он всегда повторял эту фразу, которую уже и не помнил, где услышал. «Вернуться прежним человеком».

Пора было звать гостей к костру, но Саша передумал и достал трубку. Медленно, словно машинально, «пролистал» телефонную книгу. Поскорее, чтобы не передумать, нажал кнопку. Он смотрел на огонь, и с каждым гудком костер горел все тусклее, а сердце колотилось, как бешеное. Потом звонок сбросили. Он набрал снова — снова сбросили. Сердце остановилось. Саша почувствовал огонь на лице и холод внутри.

Да кто она такая? — в сердцах прошептал он.

Что ты ей позволяешь!

Саша встал, чтобы набрать воздуха, и сел у костра снова. Он хотел посмеяться над собой и тем, что случилось, но вместо этого ему представилось, как она рассказывает о своем нелепом приключении подругам и как они читают его сообщения. Смеются, советуют, что ответить. Он видел это настолько отчетливо, что закрыл глаза от обиды и гнева. Нет, нет (он с тоской посмотрел на окна). Надо покончить с этим сейчас, пока не поздно. Где эта чертова опция...

Удалить контакт?

— Да!

Саша с хрустом нажал на кнопку. Но внутренний насмешливый голос того, кто все это время следил за ним, успокоил его. Ее номер никуда не делся, не бойся, — сказал Сухой (так Саша называл его). Ты записал его на карточке, которую она дала в магазине. Ты сохранил ее, она лежит в столе. Да и вообще (Сухой устало поднял глаза) — что за проблема отыскать телефон?

Саша Сухой было имя мальчика, с которым наш Саша учился в первом классе. Этот белобрысый ушастый мальчик напоминал Саше старичка, поскольку мог урезонить кого угодно, и с тех пор Саша, когда слышал внутренний голос, представлял этого мальчика. Теперь, когда Сухой снова все объяснил и всему нашел смысл, Саша вытер пот и с бессильным облегчением посмотрел на окна. На тени, беззвучно ходившие по веранде. Это было облегчение человека, избежавшего катастрофы. Он был благодарен Сухому, что вместе им удалось обмануть друг друга. Что он вернулся на путь, с которого так малодушно хотел

сбежать. Он понял, что готов на что угодно, лишь бы снова увидеть ее взгляд и руку на губах. Сознание этой простой вещи сделало его всеильным и беспомощным. Он снова с тоской посмотрел на окна, как будто там был ответ на его вопросы. Но какие? Ему казалось стыдным и странным, что он, по-прежнему не мысливший своей жизни без жены и ребенка, может думать обо этом. Что он, готовый растерзать любого обидчика своей жены, сам этот обидчик. И ради чего? Чтобы побыть влюбленным школьником? Который ждал всю ночь у подъезда?

«Ибо юная красота, Федр, божественна и вместе с тем зрима, и это она путь художника к духу», — процитировал Сухой. Саша усмехнулся. Еще недавно он так упоенно и снисходительно рассказывал своим студентам о новелле Томаса Манна, а теперь сам стал несчастным счастливецом Ашенбахом. Он попал в ловушку и не хотел выпутываться из нее. Он хотел, чтобы события жизни сами каким-то образом освободили или уничтожили то, что сложилось. Так он поступал всегда и так решил поступить сейчас. До Нового года осталось пятнадцать минут.

Когда наспех и кто во что одетые и веселые гости вышли наконец на улицу, над головой, над соснами одна за другой уже рвались ракеты и фейерверки. Мокрая трава озарялась вспышками, искры падали и гасли, и взлетали снова. Дети визжали и прятались, и снова выбегали под салют. Все смешалось, и даже музыка, которую Саша сделал погромче, сливалась с канонадой.

— Давайте, давайте, давайте!

— Не успеем же!

Он открывал бутылку и разливал.

Все чокались «за уходящий».

Ледяная пена текла по пальцам.

— Карлуш?

Саша искал глазами приятеля.

Тот смотрел салют.

— Все в порядке? — Саша подошел к нему.

— Да, все хорошо.

Карлуш отодвинул свой бокал.

— Почему?

— Плохой год, не буду пить за него.

— Давай, — Саша предложил снова. — Что-то же хорошее было.

— Нет, — отказался Карлуш.

По радио ударили куранты.

— С Новым годом!

— С Новым счастьем!

— Ура-а-а!!!

Обнимались и целовались, а дети прыгали вокруг костра и били по горящим головешкам палкой. В небо ударяла струя искр, дети визжали. Аня танцевала, а теща хлопала и пританцовывала. Огонь метался, бросая на лица яростные отсветы. Грохотал салют, все забылось и смешалось, и наступил тот короткий момент, когда люди безотчетно, бессмысленно счастливы. Им кажет-

ся, что этим счастьем, если оно есть сейчас, будет озарен весь год — точно так же как сейчас озарены их лица.

Они снова пили, теперь совсем какое-то забубенное, привезенное Аней шампанское. Потом муж Ани, актер, переоделся в гараже Дедом Морозом и появился на веранде в красном халате.

— Смотрите! — Саша показывал детям на окна.

Те толкали друг друга и выглядывали, но Дед Мороз уже исчез, а муж Ани незаметно вернулся. Пора было в дом.

Дети бросились к елке, затрещала оберточная бумага. Взрослые, посмеиваясь, рассаживались вокруг стола и тоже обменивались подарками. Только через сорок минут Саша незаметно вышел на улицу, чтобы подбросить дрова и оживить костер, хотя на самом деле он вышел для того, чтобы проверить телефон.

Сообщений от Лены по-прежнему не было.

Эсра

Я снял квартиру на последнем этаже с видом на Босфор, а на первом этаже находилась антикварная лавка. Часть предметов ушлый торговец выставил прямо у входа, и даже на лестнице подъезда. Все это были вещи из обихода полувековой и около того давности, сваленные у стен или висящие на крючках и вешалках, тоже старых; а книги он держал в холодильнике, который служил вместо шкафа. Обходя и даже это барахло перешагивая, я пробирался не только через вещи, это было время, сквозь которое мне приходилось протискиваться. Я только делал вид, что разглядываю вещи, а сам думал проникнуть в истории, которые они в себе прятали. Я хотел быть равнодушным, а сам ощущал невинность и упрямство, с которыми эти вещи хранили и свое время, и истории. Стопки кожаных портфелей с натертыми ручками и мутные аптечные склянки из-под хины и карболки; кассовый аппарат, ощерившийся клавишами, и подставки для яиц со сколотой эмалью; очечники и сифоны, граммофонные трубы и выцветшие до цвета времени абажуры; разной длины и проржавленности клюшки для гольфа; саквояж для пикника с уложенными чьей-то, уже несуществующей, рукой ножами и тарелками; сами ножи с вензелями утраченных родословных и чучело утки; зиккураты из чемоданов всех мастей и фасонов, как будто к нашему дому причалил пароход с эмигрантами; линотип; гипсовая голова Ататюрка с носом без ноздрей; штурвал катера и корабельный компас; софиты со съемочной площадки, освещавшие сцены из фильмов, которые пылились тут же — на старых видеокассетах; зубоврачебное кресло с кожаными, цвета глубокого загара, подлокотниками; ключи от замков, запиравших исчезнувшие двери в несуществующих комнатах; сложенные одна в одну рамы, рамищи и рамки, некоторые с подписями картин, впрочем, отсутствующих; будильники, будившие тех, кого уже не добудишься, тусклые кубки чемпионов команд, вышедших в тираж и сгинувших, термосы в рваной соломенной оплетке — и пара детских коньков со сморщенными, как старческая кожа, шнурками.

Раньше, когда я только начинал писать, я особенно любил бывать в этом городе — так можно полюбить богатство чужих снов, если твои сны поблекли.

За те выхваченные из жизни месяцы, которые я провел на Босфоре — и которые давно уже сложились *в свое* время, — город въелся в меня, как въедается гарь или пыль в мрамор его дворцов и мечетей. А может быть, это моя память распылилась и облепила его поверхность. Искоженный и насмотренный, забытый и снова всплывший на поверхности памяти причудливыми обломками — я все меньше замечал его таким, какой он был, поскольку во мне постепенно сложился другой город и он лишь отчасти совпадал с этим, а часто не совпадал вовсе. Снова и снова погружаясь в глубокие и угрюмые щели улиц, поднимаясь на продувные, утыканые кипарисами и минаретами холмы, я не погружался и не поднимался, а шел посередине, по краю. По границе, разделявшей города реальный и вымышленный, сложенный из моих воспоминаний, из книг прочитанных и книг, в которые мне только предстояло погрузиться. Эти образы и воспоминания переплелись настолько, что со временем я уже не мог сказать с точностью, *что* случилось в реальности, а что плод моего воображения; где кончается настоящий, а где мой собственный город. Единственным оправданием служило мне разве то, что и сами его жители давно жили на два дома, в прошлом или будущем, наяву или во сне, в кино или книге, но только отчасти здесь и сейчас.

То, что примиряло меня с невозможностью примирить эти города, заключалось в образе. Вокруг него мои воспоминания сплетались в кокон. Они оставались разными и менялись от времени, но образ, даже меняясь, оставался прежним, и это был женский образ. Этот образ родился давным-давно, когда я только приехал сюда, когда мечтал стать писателем, мечтал о литературной славе. Как и многому в моей жизни, причиной любви к этому городу стала книга, которая помогла мне открыть его еще до того, как я увидел его. Прочитав эту книгу, я узнал, что внутри одного города, в котором живет и пишет ее автор, знаменитый писатель, спрятан другой, где живут не только его персонажи, но и персонажи истории города. И это был скрытый от посторонних глаз, полный восточных тайн и очарования прошлого город, куда автор, судя по намекам, рассыпанным в книге, и сам тайно наведывался, и где даже подолгу жил. И мне, постояльцу большого уютного города, где по полгода темно и холодно от снега, захотелось попасть в этот город, побродить по его желтым улицам — уже не между строк, а наяву. И вот я приехал. Я взял билет и прилетел в этот город с тайной мыслью написать о нем *свою* книгу, найти в нем *свою* историю. Но то, каким он открылся мне, было совсем не тем, на что я рассчитывал. Шумный и душный, полу-европейский и полу-азиатский, меня окружал огромный город, рассыпанный по холмам Европы и Азии. Он жил призывами на молитву, базарами и торговлей, толпами туристов и бесконечными спорами о том, следует ли женщине покрывать голову платком или нет, не следует. Время от времени этот город встряхивали экономические кризисы, впрочем, мало менявшие нищенскую жизнь его обитателей, а также футбольные чемпионаты, забастовки и террористические акты религиозных радикалов, призывавших к насильственному решению вопросов веры. Вот и все. Никакой мистики, никаких тайн или секретов, ничего похожего на внутренний город, о котором я прочитал в книге, здесь не было, сколько я ни искал его по заброшенным виллам и древним мечетям, среди руин городской стены, в тоннелях и водохранилищах. Мучительно долгие призывы муэдзинов, скрежещущие из громкоговорителей, только

усугубляли мое разочарование. И вот, отчаявшись, я решил сделать то, что сделал бы любой на моем месте, я решил найти автора книги; этого самого писателя, из-за книги которого я и приехал сюда. Найти и разузнать у него то, о чем он так увлекательно рассказывал в книге, вот что мне оставалось. Не мог же он все это выдумать? Что-то же должно в этом городе соответствовать реальности?

Писатель был знаменит и жил инкогнито. Я бы даже сказал, он скрывался. Тогда я не мог представить себе причину, по которой прославленному писателю приходилось бы прятаться от своих читателей, хотя теперь знаю точно — ведь жители города тоже знали тайну города и не могли простить писателю, что он открыл ее всему миру, неплохо заработал на этом и не поделился. Последнее возмущало их в особенности. Чтобы отыскать писателя-невидимку, мне пришлось устроить собственное разыскание. Подобно герою его книг, я провернул довольно сложную комбинацию, встречаясь с людьми, которые могли бы помочь связаться с теми, кто, в свою очередь, знал тех, кто помог бы мне выйти на тех, кто... и т.д. и т.п. Так по цепочке это уравнение и сложилось. У меня на руках оказался секретный номер, по которому я отправил писателю факс с предложением о встрече — и тут же, в течение получаса, получил подтверждение в виде ответного факса на мой гостиничный номер, а также номер телефона, по которому звонкий мужской голос на прекрасном английском объяснил мне, как отыскать место нашей встречи.

...Узкая улица поднимается в гору. Я сверяюсь с адресом и поднимаюсь дальше — по блестящим от солнца булыжникам. Никаких указателей на улице нет, но слева есть сгоревшая усадьба, о которой он говорил мне. А вот и деревянные домики с белеными балконами (где сушатся розовые простыни). Я ищу глазами стену, сложенную из византийской плинфы, а в ней щель и лестницу. Действительно, вот она. А дальше провал, прочерк. Встык с плинфой, в смежных комнатах памяти, неожиданно вырастает черный кипарис и натянут матерчатый тент. В тених и пятнах солнца, он висит над внутренним двориком, куда меня привела лестница, и плавно вздымается от пробегающего волнами ветра; и тогда кипарис тоже вздрагивает. Все стихает, снова душная неподвижность каменных арок. В кельях древнего медресе полумрак — и непонятно, пусты они или там кто-то есть. Во дворе стол, на нем приготовлены приборы для чая и сахар. В тени сидит человек средних лет, на нем вельветовые штаны, а в руке стаканчик. Он читает газету. Это писатель. Он протягивает руку, я вижу закатанный рукав и волосатое запястье. Мы здороваемся. Но лицо? Кроме усиков над пухлой красной губой, и крепких влажных зубов, и тонкой золотой оправы — память ничего разобрать не может. *Того* писателя давно вытеснили его портеры в газетах и на экране.

Он охотно и подробно отвечает на мои вопросы, он вообще мастер слова; слышно, что многие мысли он произносит не первый раз, настолько они отточены сформулированы. Слушая, я забываю, зачем пришел, зачем искал встречи — ведь рассказ интересен и без этого. К тому же во время нашего разговора я все чаще обращаю внимание на другой голос. Как, торопясь то за моими, то за его словами, звучит под тентом этот негромкий низкий женский голос. Эта девушка — переводчица. Она переводит мой английский на турецкий

и обратно, когда английского языка писателю не хватает и он вынужден прибегнуть к родному, чтобы поточнее выразить то, о чем речь, тем более что многие вещи, о которых он говорит, на английском языке вообще не существуют. Например, *люэюн*, или великая меланхолия этого города, как она постепенно разъедает душу горожан, и что только слово, то есть книга, способна на время задержать ее ядовитое проникновение. Или когда он говорит о том непередаваемом словами чувстве, которое соткано из ощущения величия прошлого, страха перед будущим и ничтожности настоящего — и которое при этом хорошо знакомо всем здешним жителям. О невидимом городе, сотканном из наших размышлений об этом величии, страхе и ничтожности, и снова о величии. Как называют свой город жители, когда хотят похвастаться или когда сокрушаются о нем. И о том, что никто не знает, как попасть в этот город, потому что он сам выбирает, когда и как, а главное, кем ему завладеть, когда и как утащить в свои чертоги и что сделать с тобой там...

Стоп! Хватит уже этих бредней. Дайте мне новый кадр. Покажите солнце, как оно подсвечивает пух на щеке этой девушки. Как тени вылепили ее плоский широкий подбородок. Жилку на нежной шее и каплю влаги под черным завитком волос на виске (жарко). И я перестаю слышать писателя. Их несколько, портретных рамок, но женский образ один, и это образ человека из другого мира, проникнуть в сердце которого — а тем более в ее сердце — кажется невозможным. Но именно эта печать невозможности кружит мне голову. Запрет заставляет меня представлять нас вместе. Пропась, которая разделяет меня и ту, чей локоть находится в миллиметре от моей руки, вдруг сближает нас. К тому же эта девушка переводит твою речь, — говорю я себе. Она произносит твои слова. Она повторяет то, что думает твоя голова, что произносит твой язык и твои губы. Она повторяет тебя и твои мысли, и значит, она твоя тень, а ты ее господин. Так мне в тот момент кажется, а может быть, это все выдумки памяти или следствие жары, ведь на улице душно, стоит полдень.

И вот, чем дальше заходят наши разговоры с писателем, тем меньше я его слушаю — и тем сладостнее и ярче мои фантазии. Они захватывают меня тем глубже, чем надменнее выражение ее красивого, спокойного, по-восточному непроницаемого лица. Я в отчаянии, а она делает вид, что ничего не замечает. Она словно выгородила в пространстве стеклянный кокон и поместила туда — и меня, и мое отчаяние, и мои фантазии, чтобы они не проникли в нее, поскольку кому как не ей, рожденной в этом городе, не знать, какими заразительными бывают чужие фантазии. И поэтому она не смотрит на меня — даже тогда, когда говорит со мной. И это разрывает мне сердце.

И снова стоп-кадр. Вы оказали мне неоценимую услугу, — говорю я, когда наша беседа закончилась. Позвольте отблагодарить вас. Почему бы нам не сходить куда-нибудь вечером? Сплавать на корабле или погулять в парке Тюльпанов? Посидеть в кафе? Я приглашаю вас. Мне было бы интересно пообщаться с вами побольше, если только у вас есть время.

Когда я сказал это, она посмотрела на меня с высокомерием, в глубине которого читалось другое чувство, и это было любопытство. Не помню, куда вдруг исчез писатель, но исчез он вовремя. Как мне вообще удалось поговорить

с ней без посторонних? Мы прощаемся, я нарочно мешкаю у входа на лестницу. Но она открывает дверцу и выпускает меня, не сказав ни слова. В полумраке, когда мое отчаяние переходит в тоскливую пустоту, когда я оборачиваюсь, чтобы изобразить улыбку и кивнуть на прощанье, она неожиданно говорит: я согласна.

Не помню как я провел день, я думал только о том, почему она согласилась и как мы встретимся, как проведем вечер. Нет, мне не нужно было заходить за ней, она сказала, что зайдет в отель сама и это будет в семь вечера. Ждите, — сказала она.

В шесть тридцать я вышел из душа и, стоя перед окном, вытерся. Без двадцати семь оделся и посмотрел в зеркало; задернул занавески и выключил телевизор. Без четверти семь я открыл дверь и вышел в коридор.

В тот момент, когда я закрывал номер, за окном оглушительно шелкнуло (словно об асфальт железным полозом ударили).

Удар был настолько сильным, что на секунду я даже оглох. А когда звуки вернулись, я услышал звон стекла и чей-то истошный крик; стук каблучков по брусчатке. Потом все стихло, только бодро плескались в окне красные флаги да пикировали над Золотым Рогом чайки. Но боже мой, какой зловещей была теперь эта тишина!

Я сбежал вниз — фойе было переполнено. Крики, стоны, плач. Сквозь толпу вносят окровавленные тела раненых и убитых. Их кладут на диваны и на пол, подстелив сорванные шторы. А я пробираюсь к выходу. На улице оцепление, никого не выпускают. В небе черный клубок дыма. Хрустя битым стеклом, разворачивается «скорая», они выгружают на асфальт пустые носилки. Не в силах отвести взгляда, я смотрю на пустые носилки. На ленты оцепления, которые бешено крутятся от ветра. На дым, танцующий в небе. Я слышу чей-то голос, это говорит военный. Взрыв у Английского посольства, говорит он, квартал оцеплен. Пожалуйста, вернитесь в свой номер до выяснения обстоятельств.

Оцепление сняли ночью, но никаких известий не было, а мне узнавать было нечего, ведь кроме ее имени, я ничего не знал о ней. Всматриваясь в изуродованные лица на экране телевизора, я с ужасом представлял ее среди погибших и понимал, что, если так, виноват в этом ты и никто другой, и это чувство вины убивало меня. Кое-как дождавшись утра, я бросился в Старый город, но сколько ни искал узкую улицу с кипарисом и стеной из плинфы, так и не нашел: ни медресе, ни девушки, как будто их нарочно от меня спрятали. Я был в отчаянии и позвонил писателю. Я решил, что могу открыть ему нашу тайну. Но писатель к телефону не подходил. Пришла ли она, как обещала? Вовремя или позже? Жива? Тогда почему не дает о себе знать, почему не ищет меня, ведь я должен был ждать ее у входа и тоже мог погибнуть?

Через несколько дней, раздавленный и изнуренный, я улетел домой. Прошла неделя и страшные подозрения отодвинулись и расплылись в памяти, а боль и отчаяние стихли. Это случилось само по себе, и все, что мне оставалось, это удивляться времени, которое вылечило меня так быстро. Значит, твои чувства были не настоящими, решил я. Это было наваждение. И я запретил себе

даже вспоминать об этом. Тут судьба в чистом виде, — сказал я себе, — никто не виновен. Хорошо, что сам благополучно унес ноги.

Да, все вернулось на свои места, жизнь пошла привычным ходом. Все, кроме одной вещи — книги, которую я по-прежнему хотел написать об этом городе. Образ девушки, в чью жизнь я невольно вмешался, словно повис между строк этой, еще ненаписанной книги. Судьба образа требовала завершения, развязки — раз уж в реальной жизни ее не случилось. И я понял, что этим завершением будет любовная линия. К истории великого архитектора и его мечетей, к истории поиска невидимого восточного города прибавилась другая история, и это была история мимолетной любви, которая самым неожиданным образом связала всю книгу в единое целое. Более того, она стала едва ли не главной ее темой. Пусть хотя бы в книге все получится, решил я. Пусть она войдет в отель не в момент катастрофы, а за несколько минут до нее. Сделай так, чтобы они шли по коридору, она от лифта, а он из комнаты, когда раздался взрыв на улице. Оцепление не снимали до утра — значит, она осталась, она не могла уйти. Пусть страх и страсть, и отчаяние двух случайно выживших, а теперь запертых людей толкнут в объятия друг друга. Эта желанная, но не случившаяся ночь — пусть она произойдет на горячих и влажных от пота гостиничных простынях, и пусть они белеют в книге, а не в реальности.

Так я и сделал. Так страница за страницей на свет появилась моя первая книга, которая только задумывалась как историческая, а вышла любовной. Через год она была опубликована, тогда же неожиданно дал о себе знать мой писатель. Вовремя исчезнувший тогда из медресе, он снова появился в моей жизни, но уже по собственной воле — и снова в нужное время. Каким-то образом к нему попала моя книга, и он, ныне возглавивший некий городской Фонд, решил, чтобы ее прочитали в его родном городе. Нашелся и переводчик, а затем и издатель. Чтобы подкрепить нашу договоренность, решено было встретиться, и Фонд, выступивший в поддержку издания, поддержал и мою поездку. Так я снова очутился в этом городе.

Я поселился в другом районе — подальше от той части, где произошло то, что произошло. Теперь, когда книга жила своей жизнью, мне не хотелось даже думать о том жутком и странном вечере, тем более что он, и я это с изумлением понял, не был еще завершен, закончен. Но что с того? Книга оказалась сильнее. Ночь смерти превратилась в ночь любви и вытеснила смерть в область невероятного. Меня это забавляло, я даже был город этим. Тем более что в этот раз город неожиданно открылся мне именно той стороной, которую я, сам того не зная, мечтал увидеть. Я приехал в то редкое зимнее время, когда идет снег и город словно замирает под его мокрыми, похожими на овечью шерсть, хлопьями. Улицы и лавки, рестораны и базары в такие дни пустуют. Аэропорты закрыты. Транспорт, парализованный снегопадом, не ходит. Утаптывая мокрую снежную кашу, ты идешь по опустевшему, притихшему лабиринту. Ты не чувствуешь ног и забыл о времени, поскольку то, о чем ты уже перестал мечтать, словно в насмешку или в награду — явилось. Невидимый, тайный город оказался спрятанным в реальном городе, как матрешка в оболочке. Снег, облепивший его купола и минареты, ворота и надгробия, шпиль и пальмы, словно вылепил город по-новому. Исчезли грязь и сор, трещины и ямы, пыль и скрежет, суета и шум. Исчезли даже холмы Азии. Она была выткана белизной,

эта тишина. Город, каким его много веков назад видели великие султаны и каким их видения воплотили великие архитекторы, придвинулся вплотную. На несколько часов, пока шел снег, я очутился в нем. От земли до неба теперь его покрывал белый узор, который существовал всегда, но только снег позволил увидеть его таким, каким его задумали лучшие резчики и каменотесы.

Чтобы не спугнуть эти *сны*, я шел, не разбирая дороги, а только поворачивая голову, — пока ноги не вынесли меня в знакомый переулок. Он? Нет? Не может быть... Снег беззвучно падал, а кипарис, обсыпанный его пудрой, все так же взмывал в небо. Он побелел, и купола медресе, похожие на крышечки от чернильницы, побелели тоже; и лестница между домами, и та самая дверь, откуда я вышел три года назад в знойный вечер и куда так и не смог вернуться, — все завалил снег, и я шел сквозь него к этому прежнему городу, как сквозь время, отделявшее меня от той двери.

Я спустился по заснеженной лестнице. Постучал, прислушался. Серые доски дверей холодили ухо. Ни звука, ни движения, только колотилось в доски, как сумасшедшее, сердце. Минута, другая — я стоял, привалившись спиной к стене, еле сдерживая дыхание. А потом очнулся. Ну что ж, снова не судьба, — с усмешкой сказал я себе. Даже следов нет, видишь? Не суждено, стало быть, узнать тебе, что с ней случилось. Да и зачем? Книга-то закончена. И я, отряхнув снег, а вместе с ним и мое наваждение, поставил ногу на ступеньку, чтобы идти обратно. И этот момент услышал голос. Наверху глухо стукнула ставня, меня окликнули. Это был мужской голос. Человек в окне, он жестами звал меня. И я, не понимая чужого языка, повиновался.

Это была обычная лавка ковров. Я кое-как объяснился с продавцом, то есть сказал правду: что ищу ту, что здесь когда-то работала, переводчицу Эру, которая помогла мне с книгой, и теперь, когда книга вышла, мне хотелось поблагодарить ее. Я сказал это так, как если бы ничего не знал о случившемся, если бы что-то и в самом деле случилось. Притворился случайным знакомым, каким и был, по правде сказать. А продавец молча слушал. В эти секунды, когда я говорил, а сам смотрел на его непроницаемое лицо, время остановилось. Я ждал приговора и молодой человек, невольно ставший моим судьей, да и палачом тоже, охотно закивал, когда я закончил. Пять минут! — сказал он, — она вышла пообедать и вернется через пять минут, господин может подождать здесь, я принесу чай, вы будете моим гостем. Садитесь, из этого окна хорошо видно, когда она вернется.

Я опустил на лавку. В этот момент, когда я понял, что она жива, меня словно освободили от груза — а я и не знал, что носил его. Одна часть меня ликовала, испытывала облегчение. Она жива, какое счастье. А другая во мне делалась все угрюмее. Жива? Прекрасно. Но что ты здесь делаешь? Теперь, когда все выяснилось, что скажешь той, которая твоей судьбой не поинтересовалась? Что почувствуешь, когда поймешь, что она о тебе даже не вспомнила? Хотя могла бы это сделать? Ведь ты тоже мог в тот вечер погибнуть?

Я посмотрел в окно. Там, внизу, снег уже стер мои следы и улица снова лежала девственно белой. Такой снег, господин, ах, какой снег, — вздохнул продавец. Мы снова помолчали. Шло время, чай остывал, она все не возвраща-

лась. Уходить? Остаться? Пока вдруг не вспомнил о писателе. Да ведь ты опаздываешь, спохватился я. Тебя ждут. Иди, пора.

Словно подслушав мои мысли, продавец кивнул и тихо вышел. Он вернулся с карандашом и бумагой. Передам записку, показал он знаками. Пусть господин напишет. Я взял бумагу. Делать нечего, следовало доиграть роль. И я, подышав на пальцы, принялся писать. Несколько строчек буквально вылетели из-под грифеля, но когда я перечитал их, не поверил себе. Это было письмо не переводчице, с которой я был только мельком знаком, а возлюбленной, которая провела со мной ночь. Ночь, которую ты хотел бы, да не в силах забыть. Это письмо было написано той, которую ты провожал рано утром, когда оцепление сняли. Той, которая просила не открывать занавески, чтобы не обнаружить своей наготы. И которая в дверях от стыда и смущения даже не поцеловала тебя на прощание.

Скомкав бумагу, я бросил письмо несуществующей женщине в печку. Что мне передать *этой*? Ведь даже книгу, которая лежала у меня в кармане, она прочитать не сможет. Нет, никакого письма не будет, подумав, сказал я. Простите за беспокойство. Нет, на словах ничего передавать не надо тоже. Хотя... (тут во мне проснулся некто мстительный) — скажите, что заходил русский писатель. Да, так и скажите. Не важно. А больше ничего говорить не надо.

Когда я вышел на улицу, с побелевшего неба все так, крутясь и вращаясь, падал снег. Он стирал не только мои следы, но и границу между землей и небом, и я, глядя на его пелену, постепенно уверился, что ничего не существовало вообще. Ни нашей встречи, ни нашей не встречи. И если бы книга не оттягивала мой карман, я мог бы представить, что никогда не писал ее тоже.

С тех прошло еще два года. За это время переводчик перевел книгу, а издатель выпустил, то есть все вышло так, как мы планировали с писателем, когда встретились во время снегопада у него дома на тайной квартире, где он тщательнее прежнего скрывался от своих читателей. Книга вышла в год, когда город был объявлен культурной столицей Европы, повсюду начинались книжные и театральные мероприятия, и мой издатель решил тоже отметить книгу, устроить мне встречу с читателями. И вот я снова приехал в этот город.

Мой вечер в книжном магазине подходил к концу, а я все смотрел поверх голов. Но нет, она не пришла. Она не пришла, хотя я просил издателя пригласить переводчицу Эсру в числе прочих. Теперь, когда моя книга вышла на *ее* языке, я торжествовал — мне не терпелось, чтобы она прочитала ее, а прочитав, пожалела, что обманула меня. Но ее снова не было. Почему на не пришла? Прочитала книгу и разгневалась на нежную ночь любви, которую я приписал ей — и которой на самом деле не было? Ведь турецкая женщина способна на это? А может быть издатель попросту не нашел ее, потому что она давно не работает там, в медресе? Вышла замуж, например, и переехала в другой город? Так или иначе, чтобы избавиться от этих мыслей, я решил поставить точку. В конце концов, что предосудительного в том, чтобы зайти в медресе и самому подарить книгу. Как бы ни сложилась ее жизнь, я нисколько не скомпрометирую ее, а то, что без нее судьба книги сложилась бы по-другому, если бы вообще сложилась, это уж точно. Обида и нежность, торжество и благодарность — чувства мои повосточному смешались, и я жалел, что не знаю здешнего языка, чтобы поточнее

выразить их. А еще меня подталкивало любопытство: как она отнесется к тому, что мой герой сделал с ней в книге.

Через десять минут, стуча по булыжнику покрышками, машина такси взобралась на холм и остановилась. Я расплатился и вышел — и не узнал того, что увидел. На месте сгоревшей усадьбы поднимался забор, там начиналась стройка. Тихие домики, еще недавно доживавшие свой век под розовыми простынями, были перестроены или исчезли за рекламными щитами. Только стена с лестницей и кипарис остались прежними.

Да, внутри почти ничего не изменилось. Те же арки, над головой тот же тент. Теперь медресе, где когда-то мой писатель назначал конспиративные встречи, превратилось в культурный центр — и молодой человек из-за стойки кафе уже угодливо наклонил в мою сторону голову.

Когда он принес чай, я из вежливости поинтересовался, что здесь теперь. И тот охотно рассказал мне историю, которую я и без него понял. Да, раньше здесь были архитектурные мастерские, подтвердил он. А теперь культурный центр. Занятия, выставки. Господин даже может приобрести керамику и бусы, которые изготавливают наши ученики. Также мы издаем книги, поклонился он.

Все это очень хорошо, ответил я. Поздравляю вас. А можно ли мне видеть Эсру? Переводчицу, которая когда-то работала здесь? Работает ли она здесь по-прежнему? спросил я. Дело в том, что когда-то она очень помогла с книгой и мне хотелось бы отблагодарить ее. Вот она, эта книга — я показал сверток.

Эсра-ханум? почтительно откликнулся молодой человек. Конечно! Она директор нашего центра. Как представить господина?

Он ушел, а я развернул газету и уткнулся в нее. Страницы дрожали между пальцев. А через минуту меня окликнули. Ее голос сразу же отозвался во мне, хотя я-то думал, что забыл его и не смогу вспомнить. Я поднялся навстречу. Она почти не изменилась, немного располнела. Лицо, которое я столько раз представлял себе и никогда не мог представить полностью, стало округлее (а может быть это платок, под который она собрала волосы, делал его таким). Но взгляд! Он-то остался прежним... Тревожный и строгий взгляд вишневых глаз, совсем как в первый вечер. Взгляд, по которому ни тогда, ни теперь было невозможно понять, о чем она думает.

Я напомнил ей нашу встречу с писателем. Ее глаза сузились, что-то мелькнуло в них, злое и беспомощное. На секунду они стали такими, какими я представлял себе, когда описывал нашу сцену. Потом черты лица едва заметно смягчились. Она, чувствуя, что глаза могут выдать ее, опустила их. Да, да — вежливо, словно спохватившись, ответила. Конечно, я помню. Поздравляю вас.

Она взяла книгу, и я заметил на ее пальце обручальное кольцо. Спасибо, ответила она, обязательно прочитаю. Теперь, когда нас объявили культурной столицей Европы, наш культурный центр... В этом знаменательном году... нам чрезвычайно важно... между нашими народами...

Она говорила, не глядя на меня, по-заученному, официально. Как школьница, она отвечала урок. А я вспомнил вкус ее губ, какими податливыми они были в тот вечер, когда, напуганная тем, что случилось, она прижималась ко мне, словно искала защиту. Вкус клубники, когда мы целовались (мы ели клубнику). Она продолжала говорить о развитии и межкультурных связях, она говорила без пауз, скороговоркой, словно хотела заговорить страх и страсть той ночи, словно боялась вспоминать о них. Точно такими же были ее глаза, когда она,

полураздетая и смущенная, не знала, куда спрятать взгляд. И как поднимала тяжелые веки, а я целовал их, чтобы она не смотрела, а поскорее закрыла глаза, которые сводили меня с ума.

Мне хотелось бы подписать книгу, очнувшись, — сказал я. Можно? Да, конечно, — ответила она. Вам обязательно надо это сделать. Только одна просьба, — сказала она, — подпишите ее не мне, а нашему культурному центру. Для нас это важно. Хорошо?

Книга подписана и ложится на столик. Эстер! — зовет она, и девушка-секретарша уносит книгу в келью. А Эсра протягивает руку. Яжимаю сухую маленькую ладонь. Мы прощаемся. На секунду в ее глазах мелькает досада, и это досада на упущенную возможность, на неиспытанное чувство. На жизнь, множество историй в которой остаются непрожитыми. Но это длится всего секунду, потом я выхожу на лестницу.

Оглядываюсь — но нет, она уже исчезла в келье.

В городе пасмурно, а по спине катится пот. Душный воздух облепил лицо, страшно даже прикоснуться к нему, кажется, что оно исчезнет вместе с испариной. Поскорее домой, в номер, говорю я себе. Сорвать одежду с липкой кожи, залезть в холодный душ. Смыть пыль и пот, а заодно и город с его призраками, а потом лечь спать, уснуть мертвецким сном, чтобы завтра уехать отсюда и больше никогда не возвращаться. Но вместо этого я сажусь в кафе и заказываю кофе. Закуриваю. Откуда? спрашиваю я себя, вспоминая *ту* нашу ночь. Откуда в тот вечер в номере взялась эта клубника?

...Этот дом сразу понравился мне, он был узкий и высокий, и нависал над переулком, как старый шкаф. К тому же изнутри его пронизывала, как шампур, винтовая лестница. Я снял для нас квартиру в этом доме — на последнем этаже. А на первом находился магазин старьевщика, антикварная лавка. Часть вещей, не помещавшихся в лавке, он просто выставил у дверей, а часть — вообще на лестнице. Это мне и понравилось. Старые вещи, сваленные у стен или висящие на крючках. Стопки кожаных портфелей, аптечные склянки, клюшки для гольфа, рамки, кассовый аппарат, подставки для яиц со сколотой эмалью и много чего еще, через что нам приходилось перешагивать, выходя по утрам на улицу. Я хотел купить тебе подарок и машинально примеривался к этим вещам. Но так и не нашел того, чтобы мне захотелось бы подарить тебе. Не думаю, что старые вещи вообще хороший подарок для любимой женщины. Старые вещи покупаешь для себя и только по одной причине, которая чаще всего тебе даже неведома. Но даже этой причины найти в себе я не мог.

Да, в этот раз я приехал в Стамбул с женой. Это был экспромт, мы просто оставили ребенка с бабушкой и уехали, удрали от всех, как делали когда-то в первые годы. Взяли и скрылись в этом городе, который, она знала, я любил когда-то. Неделя нашего неожиданно медового месяца подходила к концу, наступило последнее утро перед отъездом. Я просыпался и засыпал снова, а когда просыпался окончательно — когда муэдзины зазывали на дневную молитву — жены рядом уже не было.

Кафе, где мы завтракали, находилось на углу. Несколько секунд я стоял напротив и любовался, как, рассеянно улыбаясь самой себе, какая-то красивая женщина курила за уличным столиком. И улыбался тоже, ведь этой женщиной

была моя жена. Под напряженными взглядами плохо выбритых мужчин я входил в кафе, наклонялся и тихо целовал ее в висок. Я закуривал тоже. Говорить не хотелось, хотелось только длить это безмолвное блаженство полуденного времени; к тому же за то время, что мы провели здесь, все уже было сказано. Еще в первый день с изумлением и грустью я признался ей, что за десять лет моего отсутствия город сильно изменился. Его улицы приобрели европейский лоск, на них звучала иностранная речь. Дома, чье печальное очарование заключалось в запущенности, теперь отреставрировали или обновили, и я перестал узнавать их. Мне щемило сердце от того, что заросшие сады и печальные переулки, в которых эркеры печально кивают, словно приветствуя друг друга, что заброшенные кладбища, оставленные в запустении на откуп бродягам и кошкам, теперь зачем-то расчистили, выпрямили, вымели, вымостили и утыкали урнами и указателями. Новое время не пощадило даже руины великой стены Феодосия, они ее тоже достроили и перекрасили, и это приводило меня в меланхолическое изумление: ведь нет ничего ценнее руин, поскольку это время, которое можно потрогать.

Мы сидели в кафе, а наверху звенела посуда и звучала музыка: в городе начинался бум ресторанов и дискотек на крышах. Жена курила, выпуская дым в сторону Босфора, а я смотрел, как по улицам спешат по-европейски раскованные девушки и юноши. Как полощутся на ветру рекламные плакаты, одинаковые во всех углах света, и звучат мелодии шлягеров, которые уличные музыканты играют во всех городах мира. Все это были приметы другого времени, и я невольно благодарил судьбу за то, что застал прежний город. А еще я стал понимать писателя, который, стало быть, просто вовремя уехал, чтобы не видеть всего этого. То, прежнее, время уходило, если уже не исчезло, и только муэдзины, казалось мне, оплакивают его, все так же неистово призывая к молитве тех, кому молитвы больше без надобности. Да еще старики, с безразличием бросавшие кости в кофейнях. В остальном меня окружал чужой город.

В этом городе я забыл и себя, каким был когда-то. О том отчаянии, например, которое подтолкнуло меня пригласить Эсру — в тот, самый первый вечер. Или о надежде, которой жил несколько часов перед взрывом. Даже перечитывая любовные сцены в собственной книге, я уже не мог ощутить того сладострастия, что давало силы сочинять их. Да, время уничтожило не только город, но и мои чувства. И хорошо, ведь я был счастлив со своей женой, мы растили прекрасного сына, и новые книги и мысли, новые города и чувства давно вытеснили мое прошлое. А то печальное изумление, с каким я встретил этот город, все равно быстро пройдет, стоит самолету взлететь отсюда. И об этом я знал тоже. Но моя жена все не давала мне забыть обо всем этом.

Прочитав мой первый роман, она уже тогда захотела увидеть город, который я так самозабвенно описывал. Она хотела понять его, потому что это означало понять меня, каким я был в прошлой жизни, когда мы еще не знали о существовании друг друга. А еще она хотела увидеть ту, благодаря которой мне удалось написать об этом городе так, а не иначе.

Почему я согласился? Почему отправился с ней в прошлое? А почему бы и нет? Теперь, когда эта история полностью отпустила меня, когда исчез даже город, где эта история случилась, у меня не было причины отказывать любимой

женщине. В самом деле, почему бы не сходить, не проверить. Не поддержать старую традицию, раз уж она сложилась. А вдруг у этой истории будет продолжение? Или ты до сих пор в нее...

Нет, нет, конечно, — перебивал я. Это просто профессиональный невроз, когда ты создаешь зависимость, а потом живешь в ней. Все писатели так делают, усмехнулся я. Реальность для них, лишь материал, и они когтят его, как хищники, сколько могут.

Мне нравится твое настроение, — весело перебила она. — Чувствую, ты скоро снова сядешь за работу. Не знаю, — отмахнулся я. Но тут ты права, мне и самому интересно, что будет. Не знаю, но я почему-то верю в это место. Оно заколдованное. Поехали?

Мы взяли такси и через пять минут вышли в переулке. Теперь узнать его стало совсем невозможно, и это зло веселило меня. В дальнем конце, где была усадьба, высилась стеклянная башня, тут открыли ресторанный центр. А деревянные домики все превратились в мини-отели в «национальном стиле». Не буду описывать медресе, в нем, по счастью, мало что изменилось. Я сел за столик и заказал чай, а жена отправилась по кельям, чтобы выбрать в подарок чашки и блюдо. Ну что? — Заговорщицки спросила она, вернувшись за столик. Она здесь? Где? Покажи глазами. Кажется, нет (я еще раз осмотрелся). Официантка... девушка в книжной лавке... Художница... Нет, — уверенно ответил я. — Все-таки десять лет прошло.

Жена вздохнула, кажется, она была расстроена. А эта, смотри? — Вдруг показала она. Так и ест тебя взглядом.

Действительно, под сводами галереи стояла женщина, и она была похожа на Эсру. Она разговаривала по телефону и, да, действительно бросала в нашу сторону тревожные взгляды.

Не знаю, не уверен, — прошептал я.

Так сходи, посмотри, подтолкнула она. Вот, возьми и оплати вещи. Она как раз там, за кассой.

Так прошла минута или две, касса пустовала. Я обернулся, поискал глазами — жена следила за мной, делая подбадривающие знаки. Я пожал плечами. Наконец раздались шаги, в келью кто-то вошел. Сердце остановилось. Не поднимая лица, я протянул деньги, и Эсра (это была она) невозмутимо пробила чеки. Она не узнала меня и молча упаковывала чашки. И тот вечер с писателем, и ночь любви, и письмо, которое я написал ей, а потом сжег, и клубника — все вернулось. Словно чувствуя это, Эсра подняла глаза и по-детски искренне, открыто улыбнулась. Вишневый взгляд. Потом рассыпалась мелочь, и я собирал монетки дрожащими пальцами. Эсра? — Наконец прошептал я. Почему ты молчишь, Эсра? Ты меня не помнишь? Теперь, когда я собрал монетки, мы стояли так близко, что мне ничего не стоило незаметно поцеловать ее. Меня зовут Эстер, — вздохнув, ответила девушка. Господин перепутал. А Эсра-ханум в отпуске, она будет через неделю. Что передать ей?

Самая красивая девушка Кохэма

Она стоит в дверях, и волосы у нее распущены, а за спиной, за домом, за лугом, опоясывая и городок, и дом, и голову, словно забирая их в обруч, — течет река.

Привет, персонаж!

Не слышит.

Городок погружается в сумерки, но виноградники на склонах еще освещены. Одинокое розовое облако над холмами напоминает скомканную салфетку, оно парит.

Вы опоздали, наконец отвечает персонаж. Выражаю вам «фи». Да, так она и говорит: «фи», и перекладывает чашку в другую руку. И как только она делает это, в городок окончательно сходит вечер. Белизна домов отслаивается от стен и растворяется в темном воздухе, как молоко. Где ты, персонаж? Не оставляй меня в этой тьме. Дай внести вещи; мои слова не займут много места. Дай закончить то, что начато. Дай...

Не слышит.

Провести несколько дней на Мозеле предложил Леон. Его Зоя дружила с хозяйкой, та была русской голландкой, а отвезти Сашу вызвался Фриш, это было недалеко, два часа по автобану.

Саша плохо знал Германию и обрадовался, что можно уехать из города. Единственное, из-за чего он нервничал, что едет к незнакомым людям и что без машины и языка он будет некоторым образом в заложниках.

«Муж голландец, дом на Мозеле; могу себе представить».

Но ничего конкретного Саша представить не мог и паниковал еще больше.

Хотя почему ж незнакомая? Эта «хозяйка Мозеля» (как он уже окрестил ее) — не такая она и чужая, вспомни ее брата Вадима Вадимыча. Да, верно. Саша познакомился с этим странным типом, фотографом и фантазером, в первый приезд в Кельн. Они жили в соседних комнатах старого пансиона. В какой-то момент ночного разговора В.В. показал Саше фотокарточку. Молодые родители, девочка-подросток и пятилетний мальчик, семидесятые годы. Саша почему-то запомнил не только эту фотографию, но историю научной станции, где она была сделана. Он не обратил на девчонку внимания, его больше поразил мальчик. В детстве у Саши были такая же круглая кроличья шапка и варежки на резинках, и он неожиданно ощутил во рту вкус снега, вкус мокрой варежковой шерсти. Когда он понял это, Вадимыч что-то еще рассказывал, даже листал страницы — а Саша не слушал, а думал. Да, да! И эта башня в форме черного октаэдра, и станция, о которой рассказывал В.В., — все это на Красной планете. Жизнь в изолированном, капсулированном мире, где нет времени. А потом проект закрывают, станцию эвакуируют. Мальчик и девочка возвращаются к обычной жизни в нормальное время. И эта жизнь обходится с ними неожиданным образом. Это начало, а дальше он что-нибудь придумает. Главное, есть стержень, и это — мысль об открытости будущего. Когда происходит сдвиг и человек выпадает из времени. Получает шанс сделать выбор самому. Именно мысль о незащищенности от произвола времени, которое то держит на поводке, то, словно издеваясь, отпускает на свободу, — о вечном переигрывании временем

человека в этой игре, где ставка жизнь, — увлекли Сашу настолько, что, вернувшись в Москву, он сел за книгу. Он сделал своего случайного знакомого, этого Вадимыча, главным героем. Он планировал ввести еще несколько персонажей с Красной планеты, одержимых идеей ее поиска — сумасбродов, выдумав их или списав с друзей и знакомых. А потом должна была появиться старшая сестра, и она... Но что? Он написал первую главу, а дальше книга застопорилась. Да и могло ли быть иначе, если садишься писать без плана, не имея в голове общей конструкции, а только увлекшись идеей, образом? Саша беспомощно злился на фотографа с его бреднями, хотя этот Вадим Вадимыч был не при чем точно. И вот теперь, когда Саша почти свыкся с тем, что никакой «Красной планеты» не будет, когда книга отпустила его и он почувствовал вкус свободной жизни, — прообраз этого выбракованного материала готов был вот-вот воплотиться. Реальная сестра Вадим Вадимыча, «хозяйка Мозеля», или Фарсида (как он называл ее в книге) — та самая девчонка с фотографии, а теперь новая русская голландка — ждала его.

Слушая Сашину историю, Фриш придвигал лицо к рулю, а потом резко откидывался на спинку, качал головой, просил открыть ему бутылку с водой и доставал зажигалку.

Плавный и сильный очерк холмов, и тяжелые сливовые тучи, словно в искаженном зеркале повторяющие линии этих холмов, наполняли пейзаж торжественным звучанием, но скорость, на которой они проносились мимо, не позволяла как следует этот звук расслышать. И тучи, и холмы, не успев хорошо показать себя, сворачивались и исчезали. И тогда Фриш просто свернул с трассы, машина зашелестела по грунту. Они выехали на проселочную дорогу и несколько километров катились по ржаному полю. Только на холме Фриш остановил машину, и они вышли.

Те же поля и рощи, те же набрякшие тучи и сшитые автострадами долины, городки и деревни, чьи домики с серыми крышами, рассыпанные в зеленых полях, как кубики, теперь складывались в огромную, сколько хватало взгляда, и цельную картину. В ней не было ничего случайного, тем более лишнего, и даже провисшие провода электролинии, ее башни, похожие на гигантских богомолов, сочетались и с кучерявыми, заросшими дубом и липой низинами, с тучами и с желтой грунтовой дорогой, рассекавшей шарообразное поле, как след от британской машинки.

Не знаю, не знаю, — наконец сказал Фриш как бы в продолжение Сашиного рассказа. — Идея мне, во всяком случае, понравилась.

Это был дом, сложенный из клееного бруса, с окнами во всю стену и балконом на реку. Кухня, гостиная, спальня и на втором этаже гостевая комната.

— Вы голодны?

— Да.

Она пожала плечами.

— Это только называется город, — сказала она, — а так деревня. Магазинов нет, кафе только одно, и оно давно закрыто.

Я посмотрел на часы, было девять.

— В том, что вы остались без ужина, виноваты вы сами, — продолжала она выговаривать ровным тоном. — Я ждала вас с шести, как мы договорились,

столик был заказан на семь, но вы опоздали, сейчас десятый. И даже не предупредили. Это по-русски, я понимаю, но здесь Германия. Я решила, что вы не приедете.

— Да, да, — я развел руками. — Но, знаете, все же дорога... Нельзя сказать с точностью.

— При чем тут дорога? — искренне удивилась она. — Перестаньте, это Европа, тут все можно сказать с точностью.

Она осмотрелась.

— В доме есть, кажется, гречка и помидоры.

— А мясо?

Она снова скривила губы.

— Я вегетарианка, я не ем трупы.

«А я, значит, ем?»

Мы секунду смотрели друг на друга.

— Сори? — переспросила она.

Пауза.

— А вино? Пьете?

Пауза.

— Вино? — она растерялась.

— Ну, как мясо. Вредно. Не знаю.

— Ах, вино (она улыбнулась). Ну, разумеется, пью. А как же. Мы же на Мозеле.

Она показывала Саше дом, и он ходил за ней, делая вид, что ему интересны и грядки, и подпол, и балкон, и гараж, и сауна; поддакивал и говорил «да вы что», «не может быть» и «как это здорово», а сам думал, под каким предлогом уехать. «Не ем трупы», повторял он со злостью. «Хочет быть большей европейкой, чем европейцы». Но еще больше раздражало что-то совсем беззащитное в ней, как будто она обороняется вынужденно; что это слабость делает ее такой безапелляционной; и Саша чувствовал себя мальчишкой, которому назло хочется задеть старшую сестру, сделать ей больно.

«Нет-нет, надо бежать от этой фурии». Но как? Завтра? Это будет слишком. И он решил, что попросит Фриша забрать его на два дня раньше. А еще Саша машинально искал сходство с братом, с Вадимычем. Но ничего общего с фотографией не было. Да и могло ли, ведь жизнь подражает только законченной литературе — что говорить о книгах, погибших в зародыше? Нет, нет. Ничто не связывало эту невысокую и миловидную, уверенную в себе женщину с тем мрачным типом из ночного Кельна. Ни с ним, ни с той девчонкой на семейном фото. Ни с той сестрой из книги, которую Саша.... но это читателю и так известно. И он снова возвращался к тому, как уехать, чтобы не обидеть хозяйку.

Они выходили на улицу.

— Здесь у меня клубника, крыжовник и земляника, — она показывала в темноту. — Есть можно прямо с куста, на завтрак. Любите ежевику? А здесь ее не едят. А дальше мои виноградники (посветила фонариком). Пойдемте в погреб.

Запах мокрого бетона, плесени и пробки. Уксус.

— В коробках, только включите свет, слева, — сказала она. — И осторожно голову, потолок низкий.

— Сколько взять?

— Сколько хотите, вечер долгий. И эту тоже, ее надо попробовать обязательно. Это из моего винограда. Делает сосед, его дом напротив (взмах фонариком). Сама я не умею и не хочу, я здесь наездами. Лучше сдать в аренду и брать вином. Он завтра утром зайдет, вы не возражаете? Утром.

— Да, конечно, — поморщился Саша.

Ему хотелось выспаться.

— В вашей комнате ничего не будет слышно, — она читала его мысли.

Поднимались с бутылками обратно.

Саша молча резал помидоры и строгал сыр, открывал вино. А она повторяла его движения, и вещи, смещенные со своих мест, водворялись обратно. Где полотенце? Штопор? Дощечка? Их нет, они убраны.

«Истеричка», думает Саша.

«Сноб», это говорит про себя хозяйка.

— Не обращайтесь внимания, — это она сказала вслух. — К вам это не имеет отношения.

Саша мрачно улыбался, но она была серьезна, как милиционер.

— Мой муж голландец, — сказала она. — Я вам рассказывала. А в нашей стране все помешаны на порядке. Муж ходит за мной, как за ребенком.

— Как вы за мной?

— Хуже (улыбка).

— То есть чужие привычки заразительны?

— Конечно.

— Ладно, я согласен, будьте моей тенью. Персонаж вы или нет, в конце концов.

— Сори?

Она хлопала белесыми ресницами.

— Ах, неважно, это я о своем. Где у нас спички? Прячете? Дети?

— Вот (она протягивала).

— У меня нет детей (добавляла тем же ровным тоном).

Окно над плитой покрылось испариной. Соседский фонарь расплылся в нем и напомнил Саше фонарь на даче в дождливый вечер. Сегодня суббота, и жена с ребенком уехали за город. Они толком не знали, где он находится, а звонить было дорого. И Саша вдруг сам почувствовал себя персонажем, который вышел из-под власти доброго автора. Хотя? «Она не злая» (Саша искоса смотрел на нее). «Что-то заставляет ее быть такой, играть эту роль».

«Заколдованная принцесса».

Какие сильные, но уставшие руки, заметил он, когда они поужинали и она устроилась на углу дивана. Безвольно сложенные на коленях, на ситцевом подоле старомодного сарафана, эти руки поразили его, пока она отпивала мелкими глотками вино и аккуратно возвращала бокал на стол.

Она прилежно внимала голландским новостям по телевизору.

— Вы похожи на школьницу, — вырвалось у Саши.

— Сори? — она обернулась, ее взгляд был растерянным.

— Какое у вас трогательное платье, — сказал он.

Она разгладила подол.

— Такое было у моей мамы, — сказала она. — Папин подарок. Вы знаете (она охотно отвернулась от экрана), первое время на меня здесь смотрели с раздражением. Ну, вы спрашивали (по правде сказать, Саша ничего не спрашивал). Какая-то русская баба, задрав подол, копается в огороде. Здесь это не принято, здесь эту работу выполняют мужья. А Марку (так звали ее мужа) было неинтересно, да и приезжает он редко, много работы. Но я им сказала, что огород — это полезно для фигуры. Это всех устроило, особенно местных женщин. Они сразу расслабились и полюбили меня (она переключила кнопку, и на экран высыпали фигурки футболистов).

— А откуда вы? — неожиданно спросил Саша.

— Я голландка, живу в Амстердаме, — машинально ответила она.

— Нет, вообще, — он усмехнулся. — Наверное, ваш будущий муж увидел в вас фламандскую молочницу с картины Хальса...

— Сори? — она не понимала его колкостей.

— Неважно.

И Саша снова увидел этот беззащитный взгляд из-под светлых подвижных бровей. Да, вот оно — поймал он себя. Брови. У него были точно такие же брови.

— А где здесь купаются? — Мне вдруг захотелось окунуться в реку, в холодную воду. — Вы хотите плавать? — Она поставила бокал и послушно встала. — Нет, но в принципе, — пожал я плечами. Это возможно? — Да, почему нет, мы можем сходить, — ответила она. Я провожу вас. — Нет, к чему. Просто объясните, где. Пляж или что. Сходни. А то ведь правила, ограничения, предписания. Вечный страх путешественника. — Страх путешественника? — Она повторила с его интонацией. — Да, однажды в Чикаго меня забрали в полицию прямо с ночного пляжа. Сказали, что в это время не работает спасательная станция... — Если вы хотите сейчас, — повторила она, — я готова. — А одному? (я ненавидел ее) воспрещается? — Нет, конечно. Но вы мой гость, а там сильное течение. Я несу за вас ответственность. Идемте? — Нет, не надо. Я передумал. Где ваш бокал?

Ночью они перебрались на балкон, и Саша откупорил еще одну бутылку. В темном сыром воздухе исчезли горы и река, а фары машин, беззвучно пробиравшихся на том берегу, захватывали врасплох то растрепанное со сна дерево, то сияющий своим радостям дорожный знак, который тут же и гас, словно в смущении.

— Откуда вы? — повторил Саша.

— Я же сказала, я...

— Нет, родом. Откуда вы из России?

За домом по гравии прошелестели колеса, стукнула дверь машины. Все стихло.

— Мы выросли под Москвой, — сказала она. — Мама с Украины, папа москвич...

Она назвала городок, который Саше был незнаком.

— Родителей распределили туда после института, — добавила она. — Мой отец был физиком, а мама инженером.

Она охотно рассказала, что городок крошечный, лес и озеро, и что одна

школа и девять научных институтов. Теннисные корты, спорткомплекс, где она занималась плаванием. И что на работу, с работы родители везде передвигались на велосипедах, как в американском кампусе.

— Это и было что-то вроде кампуса... — добавила она.

— Вы говорите так, как будто этого больше нет.

Саша заметил это вскользь, но она приподнялась на локте, глаза ее в темноте заблестели.

«Я уже произносил эту фразу», — невпопад подумал он.

— Потому что это прошлое для меня больше не существует, — сказала она. — Я его от себя отрезала.

Саша посмотрел в сторону реки. Он вспомнил, откуда взялась эта фраза, это «отрезанное прошлое». Точно так же говорил Леон. Но она? Саше не верилось, что его хозяйка и вправду так думает. И он решил перейти к Вадиму, узнать его историю. Теперь, когда с романом было покончено и эта история ни к чему не обязывала, ему не терпелось узнать подробности.

— Если бы не перестройка... — она не слушала его. — А так... Наука рухнула, институты развалились. Ученые разъехались.

Нечто подобное Саша слышал в университете от приятеля родом из похожего городка. Как ученые, кто не смог уехать, спивались или торговали барахлом на рынках.

— Папу приглашали, он согласился, это была возможность еще поработать, увидеть мир. К тому же лечение, он был сердечник. Клапаны. Но оставалась секретность, эта дурацкая советская, никому теперь не нужная секретность.

Голос ее стал сухим, она откашлялась.

— В общем, пока ее снимали, где-то год — он умер.

Пауза.

— А мама?

— Без него она не поехала. А Вадюша еще учился.

— А вы?

— А я поехала по студенческому обмену в Прагу и познакомилась с будущим мужем.

— На Карловом мосту? — пошутил Саша.

— Вы не поверите — да.

— Как в сказке.

Пауза.

— Это и была сказка.

Саша подождал, чтобы спросить...

— ...если бы мой бедный папа... — услышал он.

Потом Саша услышал, что она плачет.

Это было так неожиданно, что он не знал, что делать, и погладил ее по руке, которую различал в темноте.

— Ну что вы... — услышал собственный растерянный голос. — Что ты...

— Ничего-ничего, — быстро проговорила она. — Не надо мне было...

И уже не сдерживая себя, разрыдалась.

Окно выходило на виноградник, и свежий ночной воздух, стоило поднять раму, хлынул в комнату. Я щелкнул зажигалкой и затянулся. Вот тебе и «отрезанное прошлое», вот тебе и «ничего не связывает». А сама-то папина дочка.

И эта история про научный городок — тоже хороша. Хотя что в ней особенного? Этот парень на третьем курсе, профессорский сынок, хиппи — ты еще ездил к нему летом — рассказывал то же самое. Полсотни километров от Москвы, городок в лесу, озеро, корты. Без октаэдра, но зато была школа с башней и телескопом, и военный полигон в лесу, куда они ездили на велосипедах собирать гильзы, а если повезет, и боевые патроны. Разумеется, сильный кружок по астрономии, который вел молодой, только что из университета и уже младший научный сотрудник, обаятельный бородач в роговых очках, такой Ален Гинзберг. Он и подкупил-то нас, мальчишек, записями с рок-музыкой. Хард-рок и астрофизика, путь в науку. Возился все свободное время, даже вызывал заниматься на дом. А на самом деле был влюблен в мою сестру. Звонил, чтобы узнать, дома ли она, выйдет ли гулять с собакой. Нет, нету, грубил ему в трубку — она уехала на каникулы в Прагу. С собакой я. А когда выходил с нашей Радой, здоровенной пугливой овчаркой, он все равно стоял у подъезда. В Прагу? Рассеянно переспрашивал. Мы шли рядом. Прага... а слышал ли ты, друг мой, историю про Голема (у него на все были истории)? Нет, не слышал (мы входили в лес, и я отпускал собаку). Он закуривал, отставал. Теперь его голос долетал из-за спины, из темной зимней пустоты.

...А потом он сбежал от своего хозяина. Вышел из-под контроля, тот просто забыл его выключить. Как робот? Да, примерно. Считалось, что он спрятался от людей в доме с одним окном и это окно в небо — что объяснимо, если вспомнить улицы Праги...

Собака выскакивала из темноты, дышала и убегала во тьму снова. Мы шли. У каждого есть своя планета, — неожиданно сказал он. — Орбита, которая определяет судьбу. И у меня? — оборачивался я. Конечно. Ты... Меркурий! Меркурий? Я был разочарован. Да ладно вам, ее даже на небе толком не видно. Зато это самая малоизученная планета, обнадеживал он. И потом, что с того, что не видно, разве судьбу видно? Нет, мямлил я. А означает это слово, друг мой, «движущийся рывками, подвижный». Вот как твоя собака (он кивал в темноту, где рыскала в поисках неведомой цели Рада). Вспомни хотя бы алхимиков с их ртутью (это было авансом, об алхимиках я толком ничего не слыхивал). В то же время эта планета символизировала у древних мысль, говорил он. Человеческий разум, сознание во времени. Как ртуть? Я радовался собственной догадке и пугался ее. Молодец! — Соглашался он. Да, мысль обладает теми же свойствами, все зависит от дозы. Мысли ведь могут свести с ума, а могут... Он выбрасывал окурок и тот рассыпался в темноте искрами. И эта низкая вечерняя орбита, всего один раз в месяц. «Тебе, нашедшему черепаху, посвящаю день сей» (он, кажется, кого-то цитировал). А какой? — Спрашивал я. Что? Ну, день. День? Какой был день тогда, ах да, среда... И не забывай, что Меркурий — это проводник душ в мир мертвых. Туда и обратно, только не оборачивайся. Вот ты — думал о смерти? Собака выгибалась на снегу с мучительным оскалом. Конечно. И что? — Он настаивал. И ничего. Ничего-ничего-ничего и так до тех пор, пока не станет совсем страшно. Страшно чего? Этого «ничего». Он усмехался. И как ты его представляешь? Никак. Я его просто чувствую, это холод и пустота внутри. Как этот лес? Нет, лес — это совсем другое. А здесь... Но я не мог подобрать слова. Мы снова шли, он снова что-то говорил. Я и теперь слышу его голос на свалке моей памяти. Проводник душ в мир мертвых, я так и не спросил у тебя, какая планета была твоей — ты умер через несколько лет, рак. Я узнал об этом

студентом, но что студент понимает в смерти? Ему было с небольшим сорок, и он был мудр, как старец, но только теперь, когда мне столько же, я начинаю понимать этот холод и пустоту по-настоящему. Кружок по астрономии, «звезда на небе среди прочих»... Ничего не имел бы против, если бы сестра вышла за него замуж. Но она вышла за другого и уехала жить в другую страну. А мы с мамой остались. И учитель остался, мой бедный, бедный дядя Ваня. Как, между прочим, назывался кружок?

Я выпустил дым и выбросил окуроч. Снова вдохнул свежий ночной воздух. Посмотрел вниз. Нет, нельзя — хозяйка наверняка спит, разбужу. Однако ноги сами перемахнули через подоконник, и я спустился.

Так как этот кружок назывался?

Несколько метров виноградника освещались фонарем так ярко, что тени облепляли каждую впадину и комок земли. Это место напоминало сцену, а дальше свет обрывался, его срезала тьма — густая и плотная, как занавес.

Я медленно поднялся между лозами. Да, «Отроки во Вселенной» только вышли на экраны, все бредили космосом. Но кто теперь остался на трубе? Мокрая от росы, земля была мягкой и липкой. Я остановился, обернулся. Упал, пропала, остальные разъехались. И? Друзья моей юности, и? Нет, нет и нет. Одинокий дом стоял внизу, облепленный тьмой, и только одно окно, мое, светилось. Мне показалось, в окне кто-то есть. Но кто? Ведь я был здесь. Странное, жутковатое ощущение, если честно. Я чувствовал комья земли и как холод заползает под майку; и в то же время меня не было. Я превратился в ничто, в глаз... А потом? Сколько мне исполнилось тогда? На день рождения отец подарил часы. Наручные, на кожаном ремешке со светящимся в темноте циферблатом. Я давно выпрашивал такие и страшно обрадовался. Постой, подожди, сказал он. Переверни, видишь? «Слава первопроходцам "Красной планеты"» было выгравировано на крышке.

Было тихо, и Саша решил, что еще совсем рано, и повернулся на другой бок. Но спать не хотелось, он выспался.

Было десять утра, в телефоне светилось новое сообщение. Фриш писал, что может приехать завтра утром и что она не понравилась ему тоже, «просто не хотел тебя расстраивать».

«Жду», — написал Саша.

Теперь, после вчерашнего, когда Саша выспался, а солнце поднялось над холмом и ровно заливало долину, «хозяйка Мозеля» выглядела не такой уж фурией. И он пожалел, что поторопился с Фришем. Но делать было нечего, ставки сделаны, ставок больше нет. Завтра он уедет. Да, верно.

По склонам, освещенные косыми лучами, взбирались резко очерченные тенью полосы виноградников, похожие на следы огромной гребенки. На той стороне реки между тополей бесшумно двигалась машина. День занимался чистый и теплый.

Дверь была напротив, и Саша проскользнул в ванную. Долго стоял под душем, пока горячая вода не кончилась. С наслаждением облился холодной. Вышел. Вытерся. Заново огляделся.

Эту фотографию он заметил еще вчера, но в сумерках не стал рассматривать. Над полкой с флаконами, в простой деревянной рамке, она изображала две фигурки в ярких комбинезонах. Лиц не разобрать, глаза закрывали черные

очки. Они стояли на склоне, упершись палками в снег. След уходил цепочкой вниз и терялся в тумане, который тянулся до горизонта. Над туманом темнело синее акриловое небо, и Саша с изумлением понял, что это не туман, а облака. Что снимок сделан в горах.

— Доброе утро! — сказал Саша в пустоту.

Ему никто не ответил и он медленно спустился в гостиную. Залитая солнцем, комната выглядела совсем не так безысходно, как вечером. Свежие деревянные стены светились матовым смоляным сиянием. За окном, за рекой, зеленел склон. Пахло кофе и деревянной стружкой. Хозяйки не было.

Не в силах оторвать взгляда от реки и зеленого склона, так тщательно и аккуратно расчерченного лозами, Саша машинально позавтракал. Он уже допивал вторую чашку, когда на улице хлопнула дверь, и через минуту невидимая рука повернула ключ в прихожей.

— Доброе утро, — услышал Саша голос хозяйки.

Оказывается, она ездила в город за продуктами.

Через полчаса ее маленький фольксваген, пропетляв по виноградникам, вышел на большую дорогу.

— Один раз это надо увидеть, — она рассказывала про городской праздник. — Хотите?

— Хочу.

Машина плавно вписалась в поворот, внизу блеснула река. Свежий воздух ворвался в кабину.

— Кохэм, — показала она в окно.

Она нажала кнопку, и в проигрывателе заиграла музыка.

— Если не нравится, можно выключить.

— Нравится, — ответил Саша.

Его больше не задевала ее предупредительность.

— А что за музыка?

Похожую играли в Москве, рядом с его метро — ряженые, в коже и перьях, индейцы.

— Это Перу, — ответила она.

Она протянула Саше коробку.

— Любите Южную Америку?

Саша повертел пластинку.

— Я? — она отвела глаза от дороги. — Да.

Машина обогнула холм. На том берегу вырос замок, похожий на старый гриб-переросток.

— Добро пожаловать в наш райцентр.

Сквозь прозрачный утренний воздух городок в долине казался настолько близким, что стоит протянуть руку — и можно потрогать и эти вывески над витринами, и занавески на окнах, и цветы.

— Красиво... — ответил он.

Пропетляв по переулкам, машина спустилась на набережную. Поехали вдоль реки, окруженные толпами туристов, гуляющих по обеим сторонам дороги. Мест на парковке не было, снова вернулись в переулки. Только наверху у часовни, где начинались виноградники, можно было оставить машину.

— А Южная Америка? — Саша вспомнил разговор в машине. — Почему? Они проталкивались сквозь толпу в чепцы и ленты наряженных девушек, которые парами стояли вдоль улицы. В руках они держали глиняные кувшины.

— Я поднимаюсь там, — обернулась она.

— Поднимаетесь?

Саша извинился, но рыжий немец в жилетке и гетрах, которого он задел, не заметил и не ответил. Группа трубачей над чем-то весело смеялась. Девушки в чепцах засмеялись тоже, а одна, оперев руки в бока и приподняв черную юбку, выставила из-под нижней юбки ногу в черной лакированной туфельке. Она сделала несколько танцевальных па.

Саша поискал глазами свою хозяйку, но она затерялась в пестрой толпе. Тогда он пошел наугад, проталкиваясь между туристами и ряжеными. Его взгляд выхватывал то усы пожарного, то волынку и меховой ментик. То собственное нелепое отражение в начищенной до блеска валторне — на спине того, за кем он с досадой плелся.

— Я вас потеряла! — услышал он.

— Я вас тоже.

Она вышла из толпы с бокалом.

— Это вам.

Она улыбалась.

— Спасибо.

Ледяное мозельское, он выпил.

— Давайте где-нибудь сядем, — предложил Саша. — Невозможно, такая давка. И жарко.

— Но мне нравится, — добавил он.

— Давайте.

В этот момент заиграл духовой оркестр, и трактор с цветами медленно тронулся. Девушки в чепцах и трубачи, и волынщики — стали встраиваться в процессию. Защелкали фотокамеры, взрослые принялись поднимать детей на закорки.

— Сюда, давайте, — она позвала его.

— А мы здесь увидим?

— Да.

Действительно, кварталом выше тянулась еще одна улица. Людей здесь тоже было много, но они не толпились, как внизу, а сидели за столиками в кафе или стояли вдоль стен.

— Здесь есть свободный столик, — позвала она сверху. — Поднимайтесь. Отсюда будет хорошо видно.

— Вы сказали «поднимаюсь», — вернулся к разговору Саша.

Он вспомнил фотографию в ванной.

— Вы... альпинист? Альпинистка?

— Нет.

— И что... и как... — Саша не знал, что сказать.

— Андинистка, — ответила она. — Я поднимаюсь в Андах.

...Шли мушкетеры в голубых плащах с крестами, с толстыми и розовыми, совсем немужетерскими лицами. Ехала повозка с гигантской фигурой повара,

чей колпак возвышался над процессией, а в переднике была проделана дверца, из которой живые поварята разбрасывали леденцы и конфеты.

— ...Покоряю? — переспрашивала она. — Нет, это не то слово.

Она задумывалась, ее лицо больше не было растерянным и виноватым. Саша словно заново видел и эти высокие скулы, и выпукло очерченный подбородок. Неровную складку полных губ, как будто она вот-вот заплачет или засмеется. Он жалел, что поторопился, что завтра уедет. Кстати, надо как-то сказать ей об этом.

— А как... — начал Саша.

Он не знал, что спросить, и слушал, как под окнами стучали барабаны цирковых. Они снова отвлекались. Циркачи держали на плечах перекладину, на которой осторожно делал перевороты акробат в зеленом трико.

Она рассказала, что первый раз поднялась еще в Союзе, на Камчатке — с отцом. Потом, когда переехала, начала с Европы. Чехия, Италия. Потом Исландия, Новая Зеландия. И вот Анды.

— Первое время Марк ходил со мной, но горная болезнь... Знаете, у каждого человека свой барьер. И он отказался. Выше давай сама, сказал он. И вот я сама.

Поднималась в Андах каждый год, иногда два раза, если позволяла работа (она была инженером-айтишником). Индейцы — проводники, друзья. Из какой-то забытой деревни, откуда они уходили дальше. Говорила, что это ее народ и ее люди, что там она чувствует себя дома; о какой-то феноменальной энергетике тех мест, от которой у человека... и т.д.

Официант принес вино и тарелки, и Саша почувствовал, как проголодался. Кусок отварного мяса в горчичном соусе — он проглотил его, кивая ей, пока она рассказывала. Потом на улице грохнуло, люди снова прильнули к окнам. Пушка, которую выкатили на площадь, стояла, задрал ствол. Из жерла шел дым. В железных панцирях и шлемах, «канониры» выстроились полукругом. В руках они держали толстые короткие мушкеты. Когда Саша отвернулся, на улице снова бабахнуло. Процессия двинулась сквозь дым дальше.

— Вы сказали «покорять»...

Она посмотрела на Сашу.

— Но горы — это не спорт. Горы не покоряют, горы...

Она еще раз, теперь с сомнением, посмотрела на Сашу.

— Горам поклоняются, — закончила она.

Ей стало неловко и даже стыдно рассказывать постороннему человеку то, что было самым важным. Ни вчера, ни сейчас она не чувствовала своим этого типа с его вечно язвительной усмешкой, этого писателя «или-кто-он-там», который снисходительно слушал то, что она мало кому рассказывала вообще. Эта усмешка, которую, как она считала, она слышит, обижала ее. И, чтобы заставить его слушать всерьез, она говорила резким тоном.

Она дотронулась до шнурка, который висел у нее на шее.

— Когда умер отец, я уехала, но я была мертвой. А горы вернули меня к жизни. Там я поверила, что все сделала правильно.

— Да, это ключевой вопрос, — откликнулся Саша.

Она с досадой посмотрела в окно.

«Что он знает об этом?»

— Но главное даже не это, — подумав, сказала она.
И тут же, не дожидаясь вопроса, ответила:
— А доверие.
— Доверие?
— Все это пустые слова, — она снова почувствовала себя нелепой, — особенно для писателя.
Саша взял ее за руку.
— Дальше. Пожалуйста.
Она тупо, без выражения посмотрела на их сплетенные пальцы.
— Нужно доверять человеку, с которым ты поднимаешься, — сказала она. — Как себе.
Они помолчали.
— Без этого вы, может, и поднимитесь в горы, — она хотела закончить разговор. — Но ничего в них не поймете.

По улице, окруженный толпой, ехал грузовичок. В кузове несколько человек, одетых, как Чарли Чаплин, раскачивались на качелях. Они размахивали котелками в такт музыке, а тросточками стучали по подошвам.

«Доверие, доверие... Где взять его?» — тоскливо думал Саша. «И какие смешные слова: «пачамама», «коско», «кечуа». Светлая и темная сторона мира...

Он поискал глазами, куда записать то, что пришло ему в голову, но с улицы грянули фанфары, и он отвлекся. Это была увитая цветами колесница. На нижней ступеньке полулежали девушки в золотых декольтированных тогах, их лица покрывала золотая краска. Дальше стояли корзины с цветами, а выше на помосте под живой пальмой — королева праздника. Рослая белокурая девушка с выпяченной грудью была увенчана золотой короной. Шлейф ее платья держали две другие, склоненные на одно колено. «Королева» неподвижно улыбалась, обнажив крупные блестящие зубы. Она старалась стоять неподвижно, но от толчков колесницы ее румяные полные щеки и ткань на груди подрагивали, а вино в бокале, который она держала, расплескивалось. Следом за колесницей шли девушки с кувшинами, которых Саша видел на газоне перед началом. Они подбегали к тем, кто протягивал из толпы пустой бокал, и наполняли его. «Самая красивая девушка Кохэма» было написано на борту повозки.

...Когда они расплатились и вышли на улицу, в городе наступил вечер. По дороге домой он признался, что у него образовались в Кельне дела и завтра он уезжает. Она пожала плечами: надо так надо.

— Я отвезу вас.

Саша рассказал про Фриша, что тот приедет. Она снова пожала плечами.

— Это ваше решение.

Саша почувствовал досаду, он окончательно понял, что поторопился, что ему не хочется уезжать, что ему хорошо и интересно с ней и что, если бы она попросила его остаться, он бы тотчас отменил Фриша. Но она не попросила, ставки были сделаны. И на следующий день он действительно уехал.

Вот и все, больше мы никогда не увидимся. И папина дочка, и городок под Москвой, и Карлов мост, и Амстердам. И горы. Почему всю жизнь бежит

человек? Что гонит его? Что он ищет, чего нет рядом? Оттого ли, что судьба сложилась так, а могла иначе? И можно переиграть ее? А если нет, то где ошибка? И было ли это ошибкой, а не судьбой... Как разобраться, как освободиться от этого? Убежать от прошлого с его пустой больничной койкой и убитыми простынями. Оттого, что он умер, а все слезы давно выплаканы, и она тупо идет по Ленинскому проспекту, не разбирая дороги. Вот и все, повторяет она, отца больше нет, больше меня ничего не держит. Ты свободна. Но все эти годы, перелетая с материка на материк, она смотрит на мир его глазами. Показывает ему то, что он так и не увидел. Этот бесконечный внутренний монолог, индейцы сразу почувствовали. Гринга бланка... Но об этом Саша, этот несчастный невротик, ничего не узнает тоже. Ну так что ж? Жизнь состоит из обрывков, чей сюжет редко складывается в картину. Ей скучно разжевывать свои замыслы. Сами, сами, как будто твердит она, и движется дальше по своей загадочной спирали, только запутывая следы ложными сюжетами, только отвлекая вставками и ссылками, которые все равно ничего не значат и никуда не ведут. Что с ними делать? Что они значат, хотя бы вот это? Гринга бланка... По дороге в Перу ты застряла во Франкфурте, начались снегопады. С этой пожилой фрау вы смотрели телевизор, буквально на одном диване. И вот, глядя сухими глазами в экран, где идут новости и снова стреляют, эта фрау вдруг заявляет: что они делают, они обречены, они не помнят уроков войны. Она произносит эту фразу отчетливо, не отворачивая лица от экрана: никуда и никому. И продолжает смотреть, теребя короткую седую косичку. Сори? Переспрашиваешь ты из вежливости. Я вас не понимаю, сори. Мой Эмиль, — говорит старуха, — погиб на Восточном фронте (сначала это звучит для тебя без видимой связи). Они бомбили (тут она называет город) — и его сбили. Как вы сказали? Ты не веришь ушам. Какой город? Фрау повторяет, а ты... Или? Ты и сама не знаешь, как быть, ты раздавлена и молчишь. Этого не может быть, говоришь себе. Вот так, в аэропорту, на диване перед телевизором — и город в Украине, о котором говорит эта старуха. Где родилась твоя мать и где под бомбами погибла вся ее семья. Но ты, повторяю, молчишь. А потом объявляют посадку, и все замирают, вслушиваются. Да и что с того? Мир давно превратился в муравейник, в котором совпадения перестали иметь отдельный смысл, теперь они просто совпадения, фрагменты хаоса. Потому что в этой истории больше нет виноватых, говорит она себе уже в самолете. Забудь. Или нет, сначала расскажи знакомому раввину, пусть он растолкует (в подобных затруднениях она всегда обращалась к раввину). Потому что прошлое все равно настигнет тебя, добавлю я за раввина — сколько ни убегай от него. Фрау перед телевизором или ситцевое платье, не важно. Чертов Октаэдр этот. Но об этом она ничего не узнает тоже. Там, в горах, через несколько дней — ее не станет. Неизвестно, несчастный случай, это же горы. Придумай что-нибудь сам, ты же писатель. Снежная лавина или обрезанные веревки. Человек — автор романа о самом себе, так что давай по порядку. Значит, старуха. Будем считать, что в их встрече был заложен какой-то смысл. Потом восхождение, пусть оно пройдет успешно, дай ей покорить эту вершину. Пусть они вернутся в базовый лагерь, а оттуда на лошадях в долину. Да, все случится уже там, на подступах к деревне. Дым, это горит хижина на отшибе, откуда они, собственно, и выдвинулись всего за несколько дней до этого. Она прекрасно помнит хозяйку и ее детей, и люльку из куска жестяной бочки. И вот эта хижина полыхает, эвкалипт горит быстро. Мать, стало быть, в поле, а это

бежит старшая, девочка. А мальчик или в люльке, или с матерью в поле. И пока индейцы кричат и размахивают руками, чтобы все это выяснить, пока девочка визжит и плачет и ничего не может сказать толком, она входит в огонь и выносит этого мальчика и кладет к рюкзакам. Кошка! — кричит девочка. — Там еще наша кошка. Стой! это приходит в себя Мануэль. Куда? Но эта гринга бланка, она же сумасшедшая. И не забывайте про адреналин, после восхождения альпинист еще некоторое время не чувствует страха...

Ну как? Не очень?

Смерть и вообще никуда не укладывается, она из другой оперы. Вадим? Он приехал только через год, привез священника. И знаешь, что он там обнаружил? Памятный знак. Безымянный камень, они просто прикрутили к нему ее старые кошки. Кошка и кошки, смешное совпадение, правда? Хотя на их языке это звучит по-разному. Так вот я и спрашиваю, какая связь? Ленинский проспект и Мозель, Прага, Анды. Кошки. Старуха эта. Саша. Я не писатель и не индеец, я не вижу логики и не чувствую энергию. Я вижу только оборванные веревки. В какой момент жизнь превращается в сказку, рассказанную идиотом? Где в нашем подмосковном городке были Анды? Кем они были тебе предписаны? Ведь должен быть поворотный пункт, место принятия решения, иначе смысла вообще нет. Но как узнать об этом?

Саметь

Саша вернулся из деревни и уехал на несколько дней в Германию, и снова вернулся. Теперь, когда он был свободен от того, чтобы писать или обдумывать то, что пишешь, он втянулся в семейный быт с его размеренным «в-школу-на-теннис-и-рисование», в поликлинику и на английский. Он хотел забыть то, что еще недавно занимало его мысли, и скоро действительно почти перестал думать о неудачной работе, о нелепом приключении с Леной — вообще обо всем, что связано с внешним миром, куда теперь он старался совершать только короткие вылазки. Вот только зима, она все не кончалась, она тянулась как хобот, одинаково темный и душный, и уже через две недели после Германии (где на окнах давно стояли горшки с геранью) он почувствовал, что нужно ненадолго переменить жизнь, чтобы пережить этот, казавшийся бесконечным, короткий и самый страшный остаток тьмы. А там и весна, и все само собой как-то образумится, думал Саша. Лишь бы не видеть этих синих тоскливых сумерек, где зажигаются окна. Только бы исчез желтый фонарь, в лучах которого быстро летит снег, как будто весна и лето промелькнули, а он не заметил, и вот зима взялась за них по новой. Но куда уехать? И он звонил Юре.

Юра ехал по делам в Ростов, и Саша с радостью соглашался. В Ростов так в Ростов, конечно. А там недалеко до Ярославля. Ты как, не против? — спрашивал он Юру. Соборы, Волга. Зимой красиво. А на обратном пути заедем в Тутаев, там фрески.

Юра был не против, и через два дня выехали. Машина проползла по Москве, они с трудом выбрались в область, и только за Королёвым Саша облегченно расстегнул куртку. Радиостанции с их разнообразно пустыми новостями исчезли из эфира, вокруг лежали пустые белые поля, а лес темнел; в стекло

летел снежок. Дорога то плавно поднималась на холмы, то опадала, и время, раздерганное городом на часы и минуты, возвращалось в свое русло.

Засветло они въехали в Ростов. На остановке Юра передавал какому-то типу папку с документами, и было слышно в окно, как тяжело ухает колокол. Теперь они были свободны, но Саша вдруг обнаружил, что не взял паспорт. Я забыл документы, — сказал он упавшим голосом, — я без паспорта. А ты? Юра секунду думал, потом мрачно качал головой: «Я тоже». Так, не начавшись, поездка срывалась, Москва не отпускала.

Из-за такой глупости, из-за глупой мелочи... Почему ты-то? — набрасывался Саша. Юра молча прижимал машину к обочине. Обратно? Разворачиваемся? — спокойно спрашивал он. Саша качал головой. Уверен? А как же гостиница? Без паспорта? Поехали, как-нибудь устроится, упрямо отвечал Саша.

Как только решение было принято, Саша успокаивался, теперь он даже насвистывал. Незнание, на которую они обрекали себя, почему-то казалась ему надежнее. Они въехали в пригород, в воздухе запахло химией. Выбрали в интернете первую гостиницу, это был дебаркадер на набережной. Повинуясь указаниям бесстрастного женского голоса, пропетляли по заснеженному городу, обогнули парк, где полыхал костер, и, с треском ломая лед на дороге, спустились на нижнюю набережную. Вы у цели, сообщил голос.

Я вас поняла, — улыбнулась щуплая девушка за стойкой. — Мне надо спросить у старшего менеджера. Она снимала трубку, и лицо ее принимало строгое школьное выражение. Нет, у них ничего нет, только права и кредитки. Нет, на одну ночь. Хорошо, понятно. И, вскинув белесые ресницы, тем же деланно вежливым тоном: к сожалению, ничего для вас сделать не можем, таковы правила, приносим свои извинения.

На улице Саша растерянно закуривал. Смотрели на Волгу, белевшую в сумерках за деревьями, всю в черных рыбацких точках. Молчали, обескураженные ее торжественным безразличием и к паспортам, и к рыбакам, и вообще к людской жизни.

Две следующие гостиницы отвечали тем же.

Снова сигарета, снова пар изо рта.

Через четыре часа будем дома, — напоминал Юра. Но Саша не хотел. Вот, еще одна, — говорил он. — Последняя.

Поехали.

Там-то, в «Юбилейной», отделанной с провинциальным шиком в стекло и мрамор, все неожиданно складывалось — так, как они уже не надеялись. Полная женщина за стойкой вздыхала, кивала. Они оформлялись — Юра по правам, а Саше поверили на слово (он помнил свои паспортные данные). Завтра утром придет скан, у вас будет распечатка, — обещал он. Ну что с вами поделаешь, та поправляла светлое, похожее на больничный халат, платье. Не выгонять же, ночь на дворе. Вечно, москвичи, с вами...

Они расплачивались и шли за фонтан, где лифты.

Первый барьер пройден, — говорил Саша. Какой барьер? — пожимал плечами Юра.

По стеклянной стене фонтана беззвучно стекала вода.

Огонь в парке, который Саша принял за костер, был вечным огнем. За

обелиском тянулась аллея, а дальше в темноте матово мерцали закомары большого храма. Храм был закрыт. Через овраг светился большой купол, похожий на противовоздушный шар, но и эта церковь уже закрылась; одиноко белела беседка.

Они выходили на верхнюю набережную. Теперь вместо Волги чернела пустота, обозначенная сверху парой ледяных звездочек-точек, а внизу огоньками моста. Но странно, эта черная пустота выглядела не такой безысходной, как большое заснеженное поле с рыбаками, какой их встретила Волга всего два часа назад.

Надо бы в магазин, — вспоминал Юра. Тут же подворачивался и продовольственный. В тепле Сашины очки запотевали. А потом он присвистывал. Смотри! — оборачивался к Юре. Это были витрины, по-старому украшенные пирамидами из консервных банок и шеренгами бутылок с маслом и лимонадами. Зеркальные витрины удваивали все это бакалейное богатство, и Саша с удивлением разглядывал обертки: «Коровка», «Раковая шейка», «Театральные»...

Я думал, их давно не выпускают, — говорил Юра.

Торговали в магазине тоже по-старому, сперва требовалось назвать продащице товар, потом она что-то чиркала карандашным огрызком на газетной бумажке. С этим клочком следовало пройти к кассе, оттуда, оплатив товар, вернуться с чеком. Там-то и случился инцидент. Хотя? Просто вдребезги пьяный тип, он пытался сосчитать на ладони деньги, то и дело роняя мелочь — и Саша, не вытерпев, протянул свой клочок в кассу первым. Тип очнулся, словно только и ждал этого. Чо, мля? — захрипел он. — Ты, мля, чо? Ты куда, мля?

Но Саша уже получил чек и спешил обратно.

Саша ждал продащицу, делая вид, что не имеет отношения к пьяным выкрикам. Не, мля! Чо! Ты! — все громче доносилось из соседнего зала. Его сдерживали собутельники, такие же ханыги, но тип ярился только больше. Дело шло на секунды, но звать продащицу означало звать на помощь. А Юра к тому времени все купил и вышел курить на улицу.

Наконец дверь в подсобку стукнула, и за стойкой объявилась девушка. У кассы между тем продолжались толкотня и сопение; наконец тип вырвался; раздались его быстрые неуверенные шаги, и в ту же секунду очнулась треклятая продащица. Саша схватил воду и пошел к выходу. В спину ему понеслось матерное. Саша почувствовал, как приливает кровь. Он пугался собственной ярости, что сейчас она заставит его сделать непоправимое. Только не оборачивайся, — говорил он, сжимая бутылку. — Не смотри назад. Уходи скорее.

...Юра курил на улице, и Саша, подхватив его под локоть, увлек за угол. Не любят в народе писателя, — усмехался Юра. Машина трогалась. В ту же секунду в зеркало заднего вида вваливались пьяные. Троица беззвучно кривлялась в зеркале, пока машина не выехала на площадь. Сделав круг, они спускались к гостинице и парковались перед входом.

Только поднявшись в номер, только под струями душа эти удушающие, слепые приступы ярости стихали. Саша представлял потасовку среди стеклянных витрин, крики и осколки и местную милицию, которая вряд ли отнесется с пониманием к двум столичным да еще без документов. И ночь в отделении, и так далее... Второе препятствие пройдено, говорил он себе, обхватив огромную,

как в детстве, гостиничную подушку и безмятежно засыпая. То, что других машин с московскими номерами перед гостиницей не было и вычислить их ничего не стоило, не приходило ему в голову.

На следующий день они решили, как и собирались, заехать в Тутаев, и теперь, перед выездом, Саша попросил карту. Зачем? Юра рылся в бардачке. Есть навигатор. Но Саша хотел представлять, куда они едут. Наконец атлас отыскался. Он раскрыл его и стал изучать область. Он искал в Костромской, где никакого Тутаева не было, а были Петрилово, Векша, Сосенки... Саша переверачивал страничку атласа. Шуньга, Тетеринское, Саметь.

Саметь? Саша перечитал название и даже повторил вслух, словно пробуя на язык. Какое знакомое слово. Он посмотрел на Юру, который уткнулся в навигатор. Снова на карту. Под Костромой, а вот и Волга. Саметь, Саметь...

Маршрут построен, объявил навигатор.

Ну что, едем? — повернулся Юра. — Что случилось?

Саша не ответил, он снял шапку и прижал к уху трубку. Только бы она услышала звонок. Только бы она подошла к телефону. Алло? Алло! Да, привет. Нет, еще в Ярославле. Слушай! Вот какое дело. Мы тут... И он рассказал матери, что нашел на карте.

Да, это она, — ответила та. — Нет, это должно быть рядом. Вы хотите туда поехать? (Саша кивнул — да). Но там никого не осталось... — тем же рассеянным голосом ответила она. — Перезвони оттуда, ладно? Да, конечно. Слушай, — сказал он Юре, повесив трубку. — Судьба или случай? Саметь, семьдесят километров. Я расскажу по дороге.

Саметь было село на Волге, откуда происходил родом Сашин прадед и вся семья по материнской линии. Все, что он знал о нем, он знал от матери, у которой была его старая фотография и рулон миллиметровки с вычерченной родословной. А та знала от своих теток, его дочерей, которых она раньше регулярно навещала на Волге. Это было в конце 70-х, когда Саша учился в школе. Иногда мать брала его с собой — туда, где доживали свой век эти, как ему казалось, злые старухи с холодным и цепким взглядом, их родственницы. Шуя, Кинешма, Плес. Одинаково унылые, с крышами, крашенными суриком, и заросшими лопухами заборами, городки — с одной улицей, которая тянулась вдоль стоячей, похожей на вытянутое озеро, Волги. Да, особенно Плес. Ему было скучно, через два дня все овраги излазаны, а велосипед сломан. А мать, наоборот, наслаждалась тишиной и разговорами. И сейчас Саша жалел, что не слушал эти разговоры. Потом, когда старух не стало, а дом продали, история забылась, Саша к ней больше не возвращался, а мать не напоминала. Все, что Саша знал, что прадед, отец этих пятерых или шестерых (он всегда путал) старух, был священник и что перед самой войной его забрали в ЧК, где он сгинул. Ничего, кроме фотографии, которая стояла у матери на комод, от него не осталось, даже могилы. И названия села, которое иногда всплывало в разговорах, когда к ним приезжали родственники из Таллина, тоже каким-то боком связанные с тем невысоким коренастым человеком в рясе, который годами упрямо смотрел мимо Саши с желтой фотографии — как будто разглядывал что-то за спиной и у фотографа, и у своих нерадивых потомков. И вдруг эта Саметь, вот она. Всего семьдесят километров. Судьба? Случай?

Все это Саша рассказал по дороге в Кострому. Он говорил возбужденно, даже с восторгом, чтобы не чувствовать сердце, которое замирало от мысли, что, не разверни он утром атлас, все сложилось бы по-другому.

Хотя что сложилось? Они просто едут.

Юра слушал, хотя и делал вид, что недоволен тем, что Саша меняет маршрут, втягивает в авантюру. Но из таких историй чаще всего и складывались их совместные вылазки, взять хотя бы львовскую колокольню в мертвой деревне или могилу художника Сороки. Юра знал это и соглашался, только для виду недовольно отмалчиваясь.

Я помню только Плес, продолжал Саша. Теток этих, старух — постой, как их звали? Нину и Аню, поповских дочек. Нина всю жизнь прожила при Ане приживалкой и осталась бездетной. Сухая, властная Аня, ее «вострое» лицо и белые как снег волосы. А Нина, наоборот, была крупная и рыхлая, с детским лицом и высоким, не по-женски выпуклым, умным лбом. Один глаз был у нее затянут мутной пленкой, и Саша боялся смотреть в него. Их дом стоял на берегу. Двухэтажный, каменный. С умывальником в сенях, куда бабка Нина водила его по темному коридору. Ее сухие тонкие пальцы, как по-птичьи цепко они впивались в его руку — это он тоже помнил. Резной, похожий на готический собор, буфет, и как в окнах проплывали корабли. Представляешь? — Говорил он Юре. — Сидишь за столом, а мимо чашки плывет теплоход.

Юра чувствовал, что этими рассказами Саша уговаривает его. Уговаривает и оправдывается. А может быть, он просто пытался подготовить себя к тому, что их ждало. А что их ждало?

Дорога до Костромы была пустой, и машина неслась, подлетая на незаметных горках. День начинался солнечный, снег искрился. Подпиравшие небо поля были утыканы черными крышами избенок и свечек-колоколенок. А где-то за полями, внизу, пряталась Волга.

Солнце светило по-весеннему ярко, и ближе к полудню на дороге засверкали лужи. Теперь небо стало нежно-голубого, как на итальянских фресках, цвета, все в трещинах от печных дымков. На сугробах по сторонам дороги часто попадались грачи. Они брезгливо отскакивали, если машина проносилась близко, и Саша зачем-то разглядывал их в зеркало. Они напоминали ему ожившие и сбежавшие с вешалки пиджаки и фраки.

Жирные надменные птицы, — думал он.

Что улыбаешься? — косился Юра.

Год назад, когда вышла Сашина книга, он старался выглядеть такой же важной птицей. Кого-то изображал из себя на радио, делал умное лицо по телевизору. Смотрел со стороны, хорошо ли, важно ли выглядит, соответствует ли тому, кем его считают. Но прошел год, и жизнь повернулась так, что теперь ему было смешным то, что еще недавно он считал важным. Он — тот, прежний — был сам себе смешон. Как это глупо и жалко, улыбался про себя Саша. И как хорошо, что этого нет больше.

Ровно в полдень они перемахнули через Волгу и поднялись в Кострому. Отраженные в голубых лужах, знаменитые торговые ряды двоились, и опрокинутая каланча пожарки тоже. Сделав пару кругов по лужам, Юра нашел нужный поворот. Но теперь, когда до Самети оставалось двенадцать километров, Саша словно опомнился. Подожди, давай, что ли, кофе, — предложил он. — Смотри

какие кофейни. А? Ему вдруг стало неловко, что вот так, с наскока, с московской наглостью и легкостью они сейчас ввалятся, разбрызгивая лужи — и куда? в то, что он с детства считал далекой жутковатой сказкой. Да бог с ним, с детством — ввалятся и дальше, в прошлое, с которым связаны уже не он, но его мать, ее давно умершие тетки и этот замученный священник, упрямо смотревший мимо Саши со старой фотографии. И со всем этим надо будет что-то делать. Не матери или Юре, а ему, Саше, который через двенадцать километров откроет ящик Пандоры, закрыть который будет вряд ли возможным, слишком много накопилось на дне этого ящика. Судьба? Случай?

Кофейня пустовала, девушки-официантки быстро обслужили их и теперь болтали, с любопытством поглядывая из-за стойки. Чем тебе не невесты, подшучивал над Юрой, который жил один, Саша. Он просил еще кофе, чтобы получше разглядеть ту, светленькую, и не думать, что ждет дальше. Ну, как тебе? — спрашивал. Тот отмахивался: поехали. Но Саша все тянул время. Он снова стал вспоминать. Он рассказал, как однажды, не усидев в сонном Плесе, упросил мать отпустить его. В шесть утра старухи посадили его, школьника, на «Ракету», которая шла мимо Костромы в Ярославль. Там он купил билет на поезд и к вечеру очутился дома, в подмосковном городке, где они жили. Отец на это время уезжал тоже, и это была его тайная цель: один дома.

Да! — неожиданно перебил Юра. Он изучающее посмотрел на Сашу. Что? — спросил тот. Я помню, — сказал он так громко, что девушки за стойкой обернулись. — Мы вместе ехали, — сказал уже тише. Как это? Саша не понимал. На автобусе, — сказал Юра. Встретились в Москве на автобусной станции. Я от отца возвращался, из больницы. А ты с поезда.

Этого Саша не помнил, зато всплыла в памяти их пирушка, которую они устроили в пустой квартире. Дюшес, коржики — значит действительно встретились. Но этого уже не помнил Юра. Все это были вроде бы ничтожные, но ошеломительные вещи. Как по-разному все-таки человек помнит, — сказал Саша. Не поехали, не вспомнили бы, — ответил Юра. Они принялись высчитывать, в каком году это было. Точно после Олимпиады, так? Значит, в пятом или шестом классе. Раньше мать вряд ли отпустила. Хотя... И это снова казалось невероятным. Чтобы в наше время ребенок в одиночку совершал такие поездки? Нет, невозможно.

Ну что, эта? — кивал Юра. — Твоя? Саша оторопело смотрел на монастырскую стену и купола на той стороне реки. Нет, что ты, это Ипатьевский. Шутишь? Потом через несколько километров над заснеженным полем повисли другие купола-луковки, и Юра снова вопросительно посмотрел на Сашу. Нет, нет — он облегченно выдохнул. Какая-то Шуньга. Да и откуда ему знать?

Наконец мелькнул указатель «Саметь», и Юра сбавил скорость. Саша стал тянуть шею, но вокруг попадались только остовы заброшенных ферм и складские ангары. Что-то высокое замаячило над крышами, но нет, это не церковь, а водокачка. И они медленно, как оккупанты в оставленный город, въехали на пустую улицу.

Магазин, заброшенный дом культуры с облупленными колоннами. Какой-то памятник в голубых елках, и снова дома, обшитые ярким современным пластиком. Разворот и автобусная остановка. День добрый, — сказал в открытое

окно Юра. — А где тут церковь? Но тетка только молча переложила сумку из руки в руку. Простите, мы ищем церковь, где она? Это уже спросил Саша. Он впился глазами в тетку, со стыдом надеясь, что сейчас она скажет: нет, нету. Давно сломали. Но от неожиданности та просто долго соображала. Церковь! — сказала она и поставила сумку на снег. Беспомощно огляделась, как-будто впервые видела свою деревню. Церковь? И махнула варежкой: туда, там.

Они проехали дальше, переваливаясь на ледяных ухабах. Здесь деревня кончалась, дальше дорога по дуге уходила в огромное белое поле. А церковь стояла на краю этого поля. Несколько минут они разглядывали ее, не решаясь выйти. Наконец Саша вздохнул и дернул ручку. Всю дорогу он нарочно отвлекал себя рассказами, чтобы не представлять, как эта церковь, его родовое, между прочим, гнездо, выглядит. Он мысленно готовился к худшему. А теперь с изумлением смотрел на прекрасно сохранившийся пятиглавый храм. Не только сама церковь с прижатыми одна к другой главками, не только высокая и тонкая колокольня, но и ворота, и каменная ограда, и угловая ротонда, и даже железный флюгер в форме ангела на этой ротонде — все сохранилось, все было в хорошей форме.

Юра снял шапку и перекрестился. Он подошел к воротам и толкнул калитку. Судя по наметенному снегу, ни во двор, ни в саму церковь никто давно не заглядывал. Утопая в сугробах, они обошли храм, но окна, куда они заглядывали, были высокими и забраны решеткой.

Саша вернулся к машине за сигаретами. Он вышел на насыпь и закурил. Дул холодный, но уже по-весеннему порывистый, пахнувший талой водой ветер. Неба над полем было так много, что Саша почувствовал себя по-сиротски одиноким и заброшенным. Зачем они сюда приехали? Что ты хотел здесь найти? — с тоской спрашивал он. Связь, но с чем? С кем? Ведь эти люди жили даже не в другой стране — на другой планете. И связь с этой планетой казалась ему навсегда потерянной.

Церковь стояла в снегу словно запертая сама в себе, и ключа к ней у Саши не было. Она казалась отчужденной в это голубое небо, в этот ветер, который играл обрывками веревок на колокольне. И чем отчетливее Саша понимал это, тем холоднее становилось на душе. Нет, это не она — это ты заброшен, — говорил он себе. Это ты никому не нужен. Ты сирота.

Он бросил окурок и беспомощно осмотрелся. Он заметил Юру, который махал ему. Тогда, увязая в снегу, он вернулся к церкви и вошел в ограду. Юра стоял среди сугробов рядом с крестами. Это было кладбище. Смотри, — показал он. Саша, придерживая шапку, подошел. Юра кое-как расчистил могильный камень, где в овальном медальоне виднелась полустертая фотография — пожилая женщина в темном платье. Уголки ее губ были скорбно опущены, и точно так же книзу смотрели тяжелые, набрякшие края век. Но даже сквозь царапины был виден цепкий, даже сверлящий взгляд. А лоб был большой и чистый.

Саша нагнулся и смахнул снег с надписи. Она почти не читалась, но Саша и так понял, что там написано. Фамилия священника, их фамилия. Даты, 1878—1941. Значит, она пережила его совсем ненадолго. Матушка Екатерина. Бабушка его мамы. Сашина прабабка.

Пока Саша стоял над могилой, пока он искал внутри себя хоть какой-то

отклик тому, что видел, Юра где-то раздобыл лопату. Он сунул ее Саше, и тот принялся чистить снег. Через пять минут ему стало жарко, и он скинул куртку, а потом шапку и перчатки. Скоро от ворот к могиле протянулась широкая дорожка, а сама могила была расчищена и внутри ограды, и вокруг. Саша сел на сугроб. Он натер на руках мозоли, а спину ломило. Он с наслаждением ощущал эту усталость. Он хотел работать еще, поскольку с каждым взмахом лопаты тоскливые мысли одна за другой исчезли. Как будто с каждой лопатой он отбрасывал не снег, а эти мысли. Чтобы это новое ощущение не исчезло, не оставило его, он решил расчистить всю церковь и уже взялся за работу, когда Юра посигналил из машины. Не одеваясь, Саша вернулся. Ну, что? Он был недоволен, что Юра отвлек его. Здравствуйте! Незнакомый мужик в оранжевой куртке кивнул ему. Да, есть тут одна, — рассказывал он Юре. — Бабка Геля. А где живет? Спрашивал Юра. «Оранжевый» осекся и беспомощно, как та тетка на остановке, заозирался. Потом потыкал сигареткой: там. А куда ей деться? — Он ухмылялся на вопрос, дома ли сейчас эта бабка.

Все это время Саша стоял без куртки и, не замечая холода, с наслаждением затягивался дымом. А это Волга? — спросил он, глядя на белое поле. Волга там, показал мужик. Вон за теми деревьями (далеко за полем виднелись тополя). А справа — это море. Видишь дамбу? Это у нас море.

Бабка Геля жила на краю деревни, как и положено древней старухе. Сквозь забор было видно, что на дворе кто-то развешивает белье. Какой-то, судя по движениям, подросток. Но это была не девчонка, а та самая бабка. Она стояла у крыльца с бельевым тазом, во рту прищепка. Она так сердито посмотрела на непрошенных гостей, что Саша сходу выложил: так и так, из Москвы, потомки священника, который служил тут. Правнук. Вот, приехали, ищем. А это мой друг Юра. Та отступила на крыльцо и поставила таз на лавку. От белья шел пар. Из Москвы? — переспросила она. Да, подошел Юра. Нам сказали, вы можете помнить. Кто сказал? Она сердито посмотрела. Да какой-то мужик. В оранжевой крутке, — добавил Саша. В оранжевой! Та покачала головой. Не знаю такого. Ай! Она махнула рукой. Теперь все кто в оранжевой, кто в желтой. Нешто в цирке (голос у нее сделался резкий, похожий на окрик). Ты, что ли? Она кивнула на Юру. Что? — спросил Саша. Священнику родственник? Это я! Саша даже обиделся. Ну, чего встали? — Она не слушала. Заходите в дом, сейчас чаю. Голодные? Из Москвы... (она изумленно бубнила под нос).

Так неожиданно они встретили человека, который помнил и отца Сергия, и матушку Екатерину, и вообще те последние предвоенные годы. Однако выспросить у бабы Гели что-то конкретное никак не удавалось. Да и что она могла помнить, ведь прошло столько. Отца-то Сергия? — Переспрашивала она, окая. — Конечно, помню. Почтальонка письма принесет, нам роздаст, мы и бегом (она тщательно разглаживала ладонями салфетку). Письмо отдадим, а матушка Екатерина по конфете, нам и любо. И она снова разглаживала салфетку, то сердито, то виновато поглядывая на Сашу. Потом она вспоминала о какой-то Прасковье Малининой, и что у них был колхоз, и какие луга и хозяйства, и коровы, «вымена» у которых «как бардянки» (она показывала руками). А что такое «бардянки», она не могла объяснить и снова недоуменно замолкала. А теперь все не свое, а иностранное, сердилась она. А своего нет. Ой!

спохватывалась вдруг громко, да что это вы ничего не ели. Подвигала тарелки с колбасой и конфетами. Саша брал и разворачивал «Коровку». Надо же, опять эта «Коровка», — думал он.

В натоленной избе его сморило. Он сидел, упершись локтями в клеенчатый стол, а кулаками подпирал горящие щеки. Отца-то Сергия? Как-будто спрашивала себя баба Геля. Конечно, а как же... Но по ее растерянному взгляду было видно, что она больше ничего, кроме конфет, не может вспомнить. А дом-то, дом, — спрашивал Саша. — Где они жили? Дом-то стоит, — спохватывалась баба Геля. А где, где? Кто там живет-то? Она шамкала губами, припоминая. Потом отмахивалась: не знаю. С дамбы как направо — первый дом ихний был. А Прасковья, та на другом конце жила. Дом-то у нее и всегда простой был. Даже когда она... (тут баба Геля многозначительно поднимала палец вверх) И всех-то она привечала, и всем помогала, и приютит, и накормит... И баба Геля снова начинала рассказывать об этой мифической Прасковье, как при ней все было хорошо и как теперь все не то, все распродали, остались только эти в оранжевых куртках, а кто эти, она не уточняла, и Саша чувствовал, что засыпает. А как покрестили, церковь-то и закрылась, услышал он. Так вы крещеная? Баба Геля? Конечно, — изумленно ответила та. А кто вас крестил-то? Она снова не понимала Сашу. Как кто? Отец Сергий... Она даже растерялась. А кто же (и снова разглаживала салфетку). Значит, мой прадед! Саша обрадовался. Это же перед войной было? Перед ней, проклятой, — соглашалась баба Геля. Но тогда же редко крестили, — заметил Юра. — Запрещено было. Так меня тайком-то и крестили, обернулась она к Юре. Я тогда все болела, болела. Скрючило меня тогда всю (она прижала кулачки к плечам). Врачей-то мать обошла, а те «не знаем» говорят. Уж и хоронить собрались, да отнесла мать к отцу Сергию. И что? Саша от волнения отодвинул чашку. Найди Бога, врач сам найдется, сказал. Ну и покрестили меня. И что? — Снова нелепо повторил Саша. А выздоровела я, что.

Найди бога, врач сам найдется, повторял про себя Саша. Обычная фраза, на которую в другой раз он не обратил бы внимания. Да. Но в той избе за тем столом, за тем чаем, которым он угощался после того, как хорошо чистил снег, Саше хотелось услышать в этих словах что-то особенное. К тому же это были единственные слова, которые остались от прадеда, думал он. Они достались ему, баба Геля просто передала их (Геля, Геля... Ангелина, что ли? — он соображал, как звучит ее полное имя).

А других свидетельств просто не существовало.

Он полез за платком и обнаружил «Коровку», которую, значит, тайком рассовала по карманам баба Геля. «А нам и любо», улыбался Саша, вспоминая ее слова. Они выехали на площадь перед церковью, но который из этих домов — священника? Под снегом избы выглядели одинаково; не заходить же в каждый. Да и что ты хочешь там обнаружить? И Юра, еще раз перекрестившись, включил навигатор. Они возвращались.

Они ехали по пустой сельской дороге, распугивая грачей, которые нехотя взлетали и тут же садились. Саша думал о том, что увидел и услышал, но общий знаменатель? Он не мог подобрать его. Ему снова, как в самом начале, стало неловко. Он вспомнил, что не крещен и что, наверное, не имеет права на все это.

И тут же ответил себе: какая глупость. Он завидовал Юре, который запросто, почти машинально крестился, когда подходил к церкви. А Саша не мог этого сделать и снова ощущал себя самозванцем. У него не имелось никакого отношения к «церковному» или «божественному», если не считать юности, когда он ходил по московским церквям и неловко крестил лоб на службах. Но зачем он ходил туда? Он не помнил. И поэтому то, что случилось с ними сегодня, не складывалось в картину, а висело в воздухе, как те оборванные веревки на колокольне.

Впереди, сунув руки в карманы, шел по лужам мальчишка. Он то и дело останавливался, чтобы разломать лед. На спине у него болтался школьный рюкзак. Привет! — Сказал Саша в открытое окно. — Подвезти? Куда тебе? Мальчишка ничего не ответил, а молча дернул ручку и по-хозяйски забрался на сиденье. Они тронулись, тот молча уставился в окно. Учишься? — Спросил Юра. Не поворачивая головы, он коротко кивнул. А кем хочешь стать? Не знаю, — так же коротко ответил он. Ну, какой-то предмет особенно нравится? — Уточнил Саша. Не знаю, — дернул плечом мальчишка. А как зовут тебя, «не знаю»? — Пошутил Юра. Ваня, — ответил тот. Они еще несколько минут ехали молча. А где бы ты хотел жить? — спросил Саша и протянул ему «Коровку». Мальчик сунул конфету в карман и ничего не ответил. Здесь? Или в Костроме? — Подсказал Саша. Или в Москву поедешь? Ответ был тот же: не знаю. Ваня снова отвернулся в окно. И тогда Саша спросил последнее, что пришло ему в голову: о чем ты мечтаешь? Чего ты больше всего хочешь? Тот повернулся и улыбнулся беззубым ртом. Чтобы лето, — быстро ответил он, — и на мопеде гонять... Здесь, здесь! Стой! Он задергал ручку, и Юра остановился. Мальчишка, не прощаясь, выскочил. Он быстрым шагом направился в обратную сторону, а потом спустился с дороги и медленно пошел вдоль поля, как будто искал что-то или хотел спрятать.

...Через три часа, когда перед Москвой уже начались первые пробки, Саша почувствовал озноб. Они прибавили печку, но Сашу трясло, начинался жар. Как они доехали до дома, как он поднялся и как его встретили, он не помнил. Он пролежал с температурой полторы недели, потом еще неделю отлеживался, а когда выздоровел, когда первый раз вышел с сыном на улицу — в Москве наступила весна.

Сергей Васильев

Летние каникулы

* * *

Мы не волхвы, волхвы немые,
Мы рыбы с мутными очами,
Рыдающие лишь ночами,
Смущая мир осколком тьмы
И непонятными речами,
И хорошо, что палачами
Не сделались покамест мы.

Что нас спасает? Не народ.
Я сам не знаю, что спасает.
Но пламень жизни угасает,
А Русь ведь не положишь в рот —
Она над нами повисает
И горсть земли сырой бросает
На гроб. Смешно? Наоборот.

Всё хорошо. Течёт река,
И Русь жива ещё, покуда
Плохое не случилось чудо —
Пусть для меня, для дурака.
И жив Христос, и жив Иуда,
Дымится сребреников груды,
И вновь плывут в реке века.

Я помню, в детстве пас коров,
И говорила мне корова:
— «Небесного лишившись крова,
Припомни свой родимый кров —
Без осетров и без костров».

Васильев Сергей Евгеньевич — поэт, переводчик. Родился в 1957 г. в с. Терса Еланского района Волгоградской области. Окончил в 1982 г. Литинститут им. А.М.Горького. Автор нескольких книг стихов, в том числе «Странные времена», «Бересклет» и др. Пишет стихи для детей. Живет в Волгограде.

Летние каникулы

Деревня, лето, мухи, мошकारа,
Лежу себе на стареньком диване
И думаю, сходить бы к дяде Ване
За спиннингом, оставленным вчера.

Грызу уныло яблоко анис,
Ларошфуко читаю очень хмуро,
И бабочки, похожи на Амура
Или Диану? — впархивают вниз.

Тут баба Шура мне стучит в окно:
«Серёжка, там у нас инпланетяне!»
Я хохочу. Она твердит одно:
«Пошли! Я их не видывала ране!»

Я выхожу, хотя Ларошфуко
Оставить как-то очень не хотелось.
Вдруг вижу, что не очень далеко
На огородах столько баб слетелось!

Гляжу, у баб и топоры в руках,
И вилы, и ползут они угрюмо

В забытый богом, брошенный овраг —
И светлою была их, верно, дума.

Ползут, полнебу выставив зады,
Чтобы пришельцам не было покоя,
Чтоб ни туды они и ни сюды,
Как и во время всякое лихое.

А оказалось, это просто зонд
Метеорологический, однако.
И потускнел внезапно горизонт,
Но не было обещанного знака.

А бабы ведь не дуры, и они
На части, части, части, части
Разрезали тот зонд на парники,
И радуясь, и веселясь отчасти.

Я думал, хоть и сам порой не слаб,
Но не считал себя вотще мессией:
Когда не будет этих русских баб,
Что станет с нашей солнечной Россией?

* * *

Ночь на дворе. Звёзды, как ёлку,
Украшают грушу, чьи плоды жёлтые
И тяжёлые падают оземь,
Чтобы ими лакомились
Молочные поросята.

А потом прилетает луна
И говорит сердито:
«Я что вам ворона какая-нибудь!
Кыш отсюда, пока я вас не поймала!
Я говорю — кыш отсюда!»

Звёзды улыбались, груша улыбалась,
А потом пришёл рассвет, и всё исчезло —
И звёзды, и луна, и поросята,
Осталась роса и мечтательный светлячок,
Который тоже погас с рассветом.

* * *

На песчаном этом берегу	Повисает нежно над тобою,
Я тебя, как солнце, сберегу,	Чтоб твоя задумалась душа.
Собирая разные игрушки,	
Нет, ракушки, вот опять я лгу!	Кажется, я про тебя забыл,
	Кажется, что я тебя любил.
Волга призадумается вдруг —	Ладно, дождь пошёл. И что мне делать —
Ни друзей вокруг и ни подруг,	Щучку жарить иль уйти в распыл?
Только спиннинг с невскою катушкой —	
Так и завершается круг.	Жизнь — не пожелаешь и врагу!
	Я тебя, как солнце, сберегу —
Вот и щучка — правда, хороша,	Нежную, чужую и родную,
Вот и тучка, дождичек кроша,	На песчаном этом берегу!

* * *

Я хочу, как Генри Торо, жить в лесу.
Возьму с собой коробок спичек и горсть пшеницы —
А что ещё в лесу нужно?
Вон сколько и травок духмяных и целебных,
И грибков, и ягод.
А ещё можно ловить в озерце рыбку —
Карасей, плотву и прочую краснопёрку.
Я выкопаю себе глубокую землянку,
Оберну её внутри пушистым мхом,
Который греет лучше, чем медвежья шкура.
А сверху сделаю крышу из дубовых и липовых веток.
Пшеничку, разумеется, я тоже посажу,
И года через три у меня будет такой урожай,
Что незачем будет ходить
В деревенский магазин за хлебом —
Печку тоже я в своей землянке сложу.
И ко мне будут приходить звери,
И прилетать птицы,
А по ночам опускаться на крышу шалаша звёзды.
И мне будет так хорошо, как никому на свете.
Не надо будет ни брать вымогательных кредитов,
Ни долго ждать обещанной зарплаты —
Зачем мне кредиты и зарплата,
Если и так всего под рукой.
А самое главное, что меня там в лесу
Не коснутся ни ревность, ни зависть,
Которые отравляют мне жизнь в городе.
Но самое обидное,
Что я никогда не буду жить в лесу.
Потому что.

Анатолий Ким

Гений

Повесть о Смоктуновском

Эти двадцать лет от вечности, что пришлось мне пройти по жизни рядом с ним, я не хочу ни осмысливать умным словом, ни оживлять умиленным чувством. А хочу видеть пройденное, вот как вижу сейчас, и слышать, как слышу всегда, сколько бы ни прошло времени.

Я поднимаюсь по бетонным ступеням безрадостной «хрущевки», пятиэтажки без лифта, к себе на четвертый этаж. Мне тридцать три года и три месяца. Ровно десять лет назад я вернулся из Советской армии, где прослужил в конвойных войсках три года, и начал свой литературный путь. Он пока безрезультатно привел меня на площадку четвертого этажа — и вот я поднимаю свои невеселые глаза и вижу перед собой не то Гамлета, не то Деточкина. Нет, скорее Гамлета, который стоял, потупившись, и смотрел себе под ноги. Он думал: быть или не быть ему на этом свете человеком, которому так нелегко живется? А ведь предстоит еще умереть, и далее — тишина.

Итак, я поднял голову с невеселыми своими мыслями, и он поднял свою голову с гамлетовским вопросом в глазах. Глаза наши, значит, встретились. Как хорошо, мгновенно вспыхнули его светлые очи в ответ на узнавание — не артиста Иннокентия Смоктуновского, уже на весь свет прославленного к тому времени, но просто человека, у которого скребет на сердце от извечного беспокойства: как это я оказался в этом странном темном углу мирового пространства?..

Впоследствии, когда мы уже много лет были в дружественных отношениях, я помогал ему подготавливать к печати его автобиографический рассказ «Три ступеньки вниз», и там был один фрагмент... Речь шла о его первом убежище в Москве, куда Смоктуновский, провинциальный актер за тридцать, прибыл устраиваться в какой-нибудь столичный театр. «Место это было выбрано мною из нескольких... *(Речь шла о семиэтажном доме на самом выходе Остоженки к Кропоткинской площади. — А.К.)* От верхней лестничной площадки с квартирами вела еще выше узкая лестничка с полным поворотом в обратную сторону... так

Анатолий Андреевич Ким — прозаик, автор книг, переведенных на многие языки, лауреат многочисленных литературных премий. Родился в с. Сергиевка Казахской ССР. По национальности кореец. Учился в Московском худ. училище памяти 1905 года, окончил заочно Литинститут (1971; семинар В.Г.Лидина). Работал крановщиком башенных кранов, мастером на мебельной фабрике, киномехаником, художником-оформителем, инспектором-искусствоведом в Худ. фонде СССР, вел семинар прозы в Литинституте, преподавал в Сеуле (Южная Корея). Постоянный автор «ДН».

что, выходя из своих квартир, жильцы не могли видеть меня, и я мог спокойно возлечь на подоконнике замурованного окна у громыхающего, астматически шумящего лифта... Я здоров душой и телом... И вместе с тем я не мог бы поручиться, что этот подоконник, у самого чердака шестиэтажного здания, был простым, нормальным подоконником. Иначе чем можно объяснить хотя бы то, что человек на подоконнике, заложив руку за голову, одиноко вытянуто лежит, вроде спокойно глядя в потолок... Но вдруг ошалело вскакивает и громко начинает выкрикивать обличительные монологи...» И там, в первую нашу встречу на полутемной площадке пятиэтажки без лифта, я увидел лицо человека, готового начать выкрикивать отчаянные обличительные монологи. О, как много можно прочесть на лице человека, одиноко стоящего где-нибудь в темном углу, когда тот уверен, что его никто не видит.

Я бросаюсь к нему почти в священном ужасе, ибо на всем колоссальном пространстве Советского Союза он был единственный Художник, который делал не то, что повелевала делать несокрушимая воля социалистического реализма, но сотворял образы несчастных людей, дорогих для всего человечества — Гамлета, Чайковского, Деточкина...

Я спрашиваю:

- Как вы сюда попали? Что вы здесь делаете?
- Я к матери... Она куда-то вышла, наверное.
- Так пойдите ко мне, у меня и подождете.
- Спасибо!

И вот он у меня, в крошечной квартирке из двух смежных комнат. В окно светит вечернее солнце. Осенний месяц, далекая синева. Он сидит на стуле, ссутулившись, молчит. И я сижу напротив, на другом стуле, и тоже молчу. Этих стульев у меня всего два, они немецкие, из ГДР, самые дорогие предметы моей скромной мебелировки. Он молча озирает жилище, но смотреть особенно не на что. Кроме стола, за которым мы сидим, в комнате еще стоит детская кроватка с деревянными точеными перильцами. Все в стиле не осознающей себя нищеты того же упомянутого ретро социалистического реализма. Так и не осознавая своей вопиющей бедности, я сижу молча минут пятнадцать, в сильнейшем волнении от предчувствия чего-то великого, неопишемого, громадного, ослепительного. С лестничной площадки раздалась за входной дверью звуки громкого разговора, голос женский и потом мужской, хлопнула дверь, мой гость встрепелся и встал.

— Кажется, мои пришли, — молвил он и покинул меня, коротко кивнув на прощанье.

Я остался в смятении сильного волнения и недовольства собой: случилось чудо, в мой дом вошел тот единственный, который своими работами пробудил надежду, что творчество и у нас в стране может быть свободным. Случилось чудо, ко мне приходил сам Бог, может быть, а я не узнал Его и молча просидел, как болван, на своем зеленом немецком стуле.

Но минут через двадцать он вернулся, и я едва узнал его — Смоктуновский явился в домашних тапочках, ярко-красной рубаше, в руках держал картонную коробку из-под обуви, перехваченную посередине бумажной веревочкой. Никакого даже намека на трагического Гамлета. Он развязал эту веревочку, одним точным движением дернув ее за кончик узелка бантиком. В коробке из тонкого рыхлого картона лежали рядом уложенные мелкие золотистые рыбки, копченая

мойва. Разнесся по моей бедной комнате восхитительный запах горячего рыбного копчения. Запах божественный, опять-таки.

Смоктуновский, хищно растопырив длинные пальцы своей поросшей рыжим волосом руки, запустил ее в стройные фаланги уложенной золотистой рыбы, казалось, желая разом захватить и вытащить из коробки всю небольшую армию копченой мойвы. Но как-то неуловимо быстро и незаметно сумел сократить роковой распах своих худых пальцев и выхватить из коробки приличную горсть рыбы, однако не всю партию балтийского деликатеса. Взятый в захват ворох мойвы был щедрым жестом сброшен посреди стола и лег золотистой горкой, в которой рыбы было, показалось мне, намного больше, чем изначально во всей коробке. И впоследствии, читая, как Иисус накормил тысячную толпу паломников четырьмя рыбинами, я ничуть этому не удивлялся, ибо подобное чудо видел у себя дома.

— Это вам, угощайтесь. А это я отнесу родителям. — С этим Смоктуновский накрыл коробку картонной крышкой и ушел к своей любимой теще.

Шира Григорьевна Горшман — моя соседка, новеллистка, писавшая на идиш — языке, в котором звучало и что-то немецкое, и что-то русское, одесское, и несомненно еврейское — интонационно скорбно-задорное, иногда переходящее в конце фразы в унылый шепот. Вот Шира читает, нацепив на свой красивый мясистый нос очки отнюдь не модняцкие, напоминающие какие-то бывшие чеховские времена. Читает свой рассказ сначала на идиш, затем в русском переводе, желая донести до моего слуха те музыкальные ценности, которые были заложены на языке оригинала. Но эти сокровенные ценности, — знает любой писатель, — увы, невозможно передать в переводе на другой язык. Однако Шира, натурально читая мне на идиш, хотела вдолбить в мое корейско-русское ухо напевное звучание скорбной еврейской души, которое не могло быть сполна передано в русском переводе...

Я также читал ей свои рассказы, и надо сказать, что в ту пору, когда совершенно не был уверен в том, что хоть что-нибудь получается, эти чтения для меня очень многое значили. Шира Горшман, член Союза писателей, к тому времени имевшая уже две книжки новелл, выслушивала мои рассказы с таким добрым вниманием, столь глубоко вникала в их драматическую корейскую сахалинскую скорбь (первые прозаические мои опусы были о сахалинских корейцах), сопереживала моим героям и внимала их печальным историям с таким печальным взглядом своих синих глаз, словно дело шло о ее местечковых евреях и об их невеселых делах. Так уж совпало, что мы о своих соплеменниках писали невероятно грустные истории, — и тем напоминали, наверное, двух бедолаг, которые развлекаются тем, что рассказывают друг другу, на перемену, одну историю печальнее другой. Должно быть, некоторых людей тянет больше на грустное, нежели на веселое. Но нам было взаимно интересно, и мы смогли дать друг другу подлинное творческое утешение — смиренная еврейская писательница, пишущая на идиш, и начинающий корейский писатель, пишущий на русском.

Несколько дней спустя Смоктуновский снова зашел ко мне. Был он в домашней одежде, в тапочках — приехал из Ленинграда по каким-то делам и остановился у тещи. В то время он жил в северной столице, куда его пригласили работать в БДТ, и там он играл князя Мышкина в спектакле по роману Достоевского «Идиот». Роль была настолько знаменитой, что посмотреть ее

люди приезжали даже из Москвы... Я не видел Мышкина в исполнении Смоктуновского, но слышал много легенд, в которых буднично звучали слова «гениальный», «великий», «неповторимый», «недостижимый». И этот легендарный и великий и недостижимый запросто пришел ко мне, уселся на зеленый немецкий стул и, глядя мне в глаза, сказал как-то очень просто и необидно:

— Я знаю, что вы пишете. И вас не печатают. Так вот, прошу вас, выберите два рассказа, которые на ваш взгляд могут быть напечатаны, и дайте мне.

Я ему ответил, что уже скоро десять лет, как хожу по редакциям, и меня никто не собирается печатать. Теперь уже совершенно ясно, что печатать не будут. Десять лет дебюта — это немало.

— Да, немало, — согласился он. — У вас великое терпение, вы молодчина.

— Но терпение уже кончилось, — признался я. — Уже больше не хочу ни терпеть, ни писать.

— И что же будете делать? — Спросил он, все так же в упор глядя мне в глаза.

— Пойду, выучусь на водителя троллейбусов, — ответил я. — Мне очень нравится эта работа.

Я не стал ему рассказывать, что совсем недавно, в сыкотную погоду, после внезапного осеннего снегопада, как это порой бывает в Москве, я шел по краю тротуара, только что выйдя из редакции толстого журнала, в котором мне снова отказали. Редактриса, дама, так сказать, со следами былой красоты на лице, но уже начинающая седеть, мелко-курчавая, как мерлушковый барашек, стала говорить, не глядя на меня, о том, почему мои рассказы не подошли журналу. С большим волнением выслушав ее, я вдруг ужаснулся внезапной догадке: да ведь дамочка совсем не читала моих рассказов! Она несла какую-то полную ахинею, не имеющую ничего общего с их содержанием. Может быть, она перепутала их с чьими-то другими рассказами, другого автора? (Много лет спустя, когда я уже стал, как говорится, велик и славен, эта дама, работавшая в книжном издательстве, попросила у меня рассказы для коллективного сборника московских писателей. Я взял да и отнес ей те рассказы, которые она забраковала для журнала. Вы бы послушали, как восхваляла она их на этот раз, вот умора! Но я не стал злорадствовать и веселиться по этому поводу: передо мной сидела уже совершенно седая белая овечка, чьи мерлушковые кудри сильно поредели, являя постороннему взору беспомощно розовую младенческую кожу. К тому времени я уже был крещен, и мне нравилось христианское правило: возлюби обижающих тебя...)

Близко проехал мимо, обгоняя меня, синий троллейбус, из-под колес его вылетела тяжелая лепеха жидкого снега и шлепнулась мне на ногу. Как-то очень быстро, мгновенно, ногу промочило. По своей беспечности я не имел надежной сезонной обуви и поздней осенью бегал в летних туфлях, которые в пору моей молодости назывались «полуботинками». Я отошел от края тротуара и, вывернув ногу, осмотрел туфлю: сбоку над самой подошвой оказалась просечка, продолговатый разрыв в истлевшей коже обуви, которую я носил бессменно. Туда, в эту рваную скважину, и натекла холодная снежная водица. Мне было уже тридцать три года, и я навсегда запомнил эту несчастную дырочку в полуботинке, вопиющий знак моей неблагополучной жизни. Десять лет бегать по редакциям и не удостоиться быть напечатанным ни разу — это круто. Я и сказал Смоктуновскому об этом, вдруг припомнив в ту минуту дырочку в башмаке. Но,

разумеется, таким ничтожным фактом я не стал загружать внимание моего чудесного гостя. Ничего не сказал и о том, что, когда обрызгавший меня снежной жижей троллейбус медленно продвигался мимо, обгоняя меня, у меня возникло мгновенное желание кинуться под его задние колеса — передние уже прошлепали мимо. Однако я, к великому счастью для человечества, на мгновение замешкался и пропустил нужный для демона отчаяния момент — троллейбус ушел вперед, вильнув на прощанье забрызганным грязью толстым задом.

А вот еще один фрагмент из того же рассказа Смоктуновского. «После одной из неудачных вылазок в очередной театр поднялся я к своему подоконнику. Ни мыслей никаких, ни возбуждения, — хорошо помню, — не было, только усталость... К этому времени я побывал уже в четырех или пяти театрах... Эти похождения из одной двери в другую были долгими, утомительными и, как теперь понимаю, просто напрасными — бесплодными... Главный режиссер одного драматического театра на улице Горького... мимоходом промямлил: «У меня со своими-то актерами нет времени разговаривать, а где же взять его на пришедших всевозможных...» Если тебе дают адрес и мило говорят, что де, мол, будешь в Москве — заходи, это совсем не значит, что ты так же мило можешь заходить. Тебя пригласили, с тобой были любезны, ну и будет... И вот, размышляя, я с неотвратимой ясностью вдруг увидел, что за все это долгое время не только ничего не изменил к лучшему, но еще больше, глубже увяз в этом глухом непонимании, и что выхода, пожалуй, и нет».

Что ж, все очень похоже, Москва, как говорится, бьет с носка. Похоже, но разница только в том, что завоевание своего места в Москве у него шло отчаянных несколько месяцев, а мой собственный дебют затянулся на десять лет...

— Я вам ничего не обещаю, — сказал Смоктуновский. — Я просто попробую рассказы ваши где-нибудь показать. Если вы не возражаете.

— Не возражаю, но я уже десять лет бегаю по редакциям... — и т.д. и т.п., о чем уже было сказано.

А он сидел напротив меня и смотрел в мои глаза своими синими мерцающими глазами и улыбался всеми ямочками на своих молодых еще ланитах. Через два месяца с той же чудесной улыбкой он смотрел на меня, держа в руках первый номер журнала «Аврора» за 1973 год, и говорил:

— Ну, вот видите, как славно получилось! Рассказы-то ваши просто замечательные! Замечательные! Мне очень понравились. И откуда только у вас, узкоглазого азиата, такой удивительный русский слог!

— Но, Иннокентий Михайлович! Неужели вы не читали и отдали их в журнал? — несколько опешил я и даже слегка обиделся... Он сразу же быстро все понял, вскинулся и ответил как-то очень убедительно, обезоруживающе, посмоктуновски, ясной скороговоркой:

— Только из-за суеверия! Не хотел сглазить. Но я, и не читая, знал, что рассказы хороши. Мне Шира Григорьевна говорила...

Шира Григорьевна и ее муж Мендель Хаимович, писательница и художник, были явлены мне так же не случайно, как и Смоктуновский. Хотя никакой нужды в том не было у этих старых евреев, чтобы в их жизни появился нищенствующий писатель, кореец по национальности, с чистопородной корейской семьей — жена-корейка и двое детей-корейчат. Для меня эта еврейская чета истинно была послана Богом, ибо через их дом вошел в мою судьбу Смоктуновский.

И через него пришло крещение: я принял христианство их рук Смоктуновского. Произошло это, когда мне исполнилось сорок лет. К тому времени я стал профессиональным писателем и уже мог жить и кормить семью одним только литературным трудом. У меня в глухой деревне Мещерской стороны, в Немятово, была куплена заброшенная изба, которую я поднял своими руками, починил провалившееся крыльцо, купил красного кирпича и вывел над крышей разваленную печную трубу, подвел фундамент под избяной сруб, вырубив нижние сгнившие венцы. Когда-то в семнадцать лет я приехал в Москву с Сахалина, не поступил в Художественное училище и год проработал на стройках Москвы пятидесятых в качестве лимитчика-разнорабочего. Там я научился кое-чему по строительному делу — и кирпич класть на раствор, и топором потюкивать по дереву, и с размаху забивать гвозди молотком.

В деревне эти навыкигодились, и я сам начал приводить в порядок заброшенную избу. Помогал мне на первых порах один человек, вернее, это я ему помогал, а он вводил меня в дело. Через несколько дней Геннадий, как звали человека, уехал, а я довел ремонт до состояния, когда в доме можно было затопить печку и, стало быть, жить-поживать...

(В этой избушке предстояло быть написанным всему лучшему из моего раннего периода...) Спустя лет пять глубокой осенью в тусклой полумгле рано навалившегося вечера при желтом свете голой электрической лампочки произошло самое главное событие всей моей жизни. Я понимал, что о таком сокровенном, чудесном нельзя поминать вслух, но почему-то рассказывал везде и всюду, не особенно разбираясь, достойны ли слушатели того сакрального, что явлено было мне сумеречным вечером в избушке на краю деревни Немятово.

Каждый раз об этом я рассказывал со страхом, ибо речь шла о Нем, и лгать перед Ним или по ничтожеству душевному выдавать желаемое за действительное было бы святотатством. Но я снова и снова говорил об этом, каждый раз поверяя себя, внимательно вслушиваясь в свои слова, — так ли все это происходило, на самом ли деле и точно ли я воспроизвожу мистические реалии богоявления, которого удостоился. И каждый раз мне было страшно. И сейчас страшно.

Он был невидимый, но был рядом, Он был неслышимый, но я сразу же вздрогнул, услышав духовным слухом Его прекрасный голос. Я не видел Его глаз, но они смотрели на меня с такой светлой силой безмерной любви, с какой никто никогда не смотрел на меня. Темно-серый воздух избы, разжиженный желтым светом голой электрической лампочки, крапленной мушиными точками, словно стал раскаляться, пронизанный волнами вихревого электрического тока, и этот вихревой ток стал стекать по моим щекам обжигающими струйками. И прекрасный мужской голос, который не звучал, но ясно был слышен, говорил что-то сладкое моему сердцу, навсегда утешительное, убиравшее все тревоги моей души и ярко осветившее, словно солнце в полдень, весь предстоящий мой жизненный путь. И эти прекрасные невидимые глаза смотрели на меня с великой силой любви, сияли передо мной, а я стоял перед Ним, закрыв ладонями свои собственные.

Богоявление в избушке на краю деревни Немятово произошло тридцать пять лет назад, и я уже не помню, как завершился этот мистический для меня день, когда и как я укладывался спать в ту ночь. Но хорошо помню утро следующего дня, когда проснулся при ярком свете солнца, потоки которого прорвались через маленькие три оконца с уличной стороны избушки. Я лежал

на суровом аскетическом одре расшатанной деревянной кровати, на которой когда-то спала старушка Верочка, прежняя хозяйка дома. Я весь был залит бушующими потоками света, слепящее солнце светило в глаза. И тут, не открывая их, я вспомнил о прошедшей чудесной ночи, вспомнил голос Того, который ясно произнес, что мне надобно делать: «Тебе нужно креститься». После того, как вновь прозвучали ясным утром в памяти эти слова, я открыл глаза и увидел жизнь вокруг себя совершенно по-новому, в ярком многоцветии, в ином освещении. Как выглядел свет жизни дотоле, тридцать пять лет назад и раньше, я плохо помнил. Словно все происходившее ранее было бесцветным, как черно-белое кино.

Итак, проснувшись после преображения с ясной мыслью, что надо мне креститься, я стал раздумывать, как это осуществить. Никогда до этого я не связывал себя ни с какой известной мне религией. Верующий человек был в моем представлении притворщиком, когда заявлял, что верует в Бога. В моем сознании, стало быть, и в душе моей истинно зияла пустота безбожия, наполненная призраками человеческих знаний, почерпнутых из тех немногих книг, которые мне удалось прочитать. И какие бы это ни были книги, какие известные мудрецы ни написали их, душа моя была пуста и ничтожна, а ум беден, как церковная мышь. Но я был вполне доволен собой и даже всерьез считал себя хорошим писателем, потому что с легкой руки Смоктуновского меня начали печатать в журналах и в книжных издательствах. Вчерашнее ночное Богоявление и сегодняшнее утреннее решение креститься пало на убогое поле моей безбожной жизни — словно огненный болид, внезапный гость из Вселенной. В моей душе воистину произошло внезапное преображение. Проснувшись утром, я обнаружил себя новым человеком, и надо было его потихоньку вводить в реалии прежнего существования. Которое было настолько серым, убогим, бесчудесным, что надлежало немедленно что-то предпринимать, чтобы вино пришедшего нового духовного содержания не прорвало мехи старого приземленного душевного бытования. Чтобы удерживать в пределах прежней житейской реальности чудесную ночную бабочку метаморфозы, наутро надо было немедленно что-то делать. Что-то конкретное и совершенно необходимое. И я решил, что мне должно напрямую исполнить то, что было велено Его голосом: «Тебе нужно креститься»... Это и надо было сделать немедленно и напрямую.

В умирающей деревне на зиму оставалось еще несколько детей, шесть девочек от 8 до 12 лет. Я их называл про себя «последние шесть штук», имея в виду переключку с фразой в «Идиоте» Достоевского — «последний в роду князь». И вот я подумал, что дети крещены, невинны и безгрешны не менее любого священнослужителя, поэтому вполне могут быть моими крестителями. Я вспомнил любимую мою картину Иванова в Третьяковской галерее — «Явление Христа народу». В одном из крещаемых рабов я представлял себя. Тот преисполненный отчаянной надежды взгляд, брошенный снизу вверх рабом, сидящем на корточках спиной к Спасителю, был на сей день созвучен и понятен мне... Меня тоже мог утешить только Он.

Я решил, что дети будут для меня совместным Иоанном Крестителем. И когда они ровно в четыре часа дня пришли ко мне, я объявил им свое решение. Завтра мы пойдем на речку Куршу, они затолкают меня в воду, а потом я выйду, и они наденут на меня крестик, вот и все...

Девочки приходили ко мне по установленному мною строгому расписанию.

В самый первый раз, когда я осенью приехал в деревню работать, все они, ровно шесть штук: Марина, Лида, Лена, еще одна Лида, которую для отличия звали Ли-дой, с ударением на «ой», также Танька и Женька, а может и не так (прошло более тридцати лет) — утром ввалились в мою избу, уселись на лавку против столика, за которым я работал, и самым откровенным образом уставились на меня. Тогда и сказал им непреклонным тоном, что я с утра работаю и в гости можно приходить после четырех, когда заканчиваю работать. С того дня ровно в четыре на крыльце раздавался дружный топот множества ног, и в избу вваливалась вся ватага «последних на роду», все шесть штук. И начинался в избе шум и тарарам, пекли картошку в русской печке, на плите жарили блины, все это сообща поедалось вместе с солеными грибами, что девочки приносили из дома, а завершался обед горячим кофе с молоком, которым угощал высокое собрание я.

Но в тот день, когда они слышали мою просьбу о крещении, им настолько понравилось необычное предложение, что девочки не стали затевать обед, а быстренько разбежались по домам. Возбужденные, они перестали обращать на меня внимание и уходили, громко обсуждая, где им достать крестик для обряда.

На другое утро, проснувшись, я был удивлен необычно ярким светом, что стоял в трех крошечных окошках моей избушки. Никакого солнечного светопода, как вчера утром, не обрушивалось в темную избу — за окнами висело серое пасмурное небо в лохматых тучах. И тем не менее — этот яркий, до боли в глазах, свет с улицы! Я вскочил с кровати и, вздрагивая от холода, подбежал к окну, ожидая еще какого-нибудь чуда. Но никакого чуда не было — на серый, тусклый осенний мир ночью пал первый и сразу обильный снег. Вся улица, крыши домов и сараев, изломанные штрихи обнаженных ветвей и корявые стволы деревьев были покрыты нетронутой белейшей порошею первого снега. Белый снег торжествовал во всем законном мире, и это от него снизу, а не от солнца сверху исходило ровное мощное белое сияние.

Я понял, что мое крещение в Курше, словно в реке Иордан, не может состояться. И моих крестителей, прелестнейших «шесть штук» из деревни Немятово, ожидало большое разочарование. Да и мне было как-то грустновато, что намеченное священнодействие не состоялось. Хотя при мысли о том, что меня миновало купание в ледяной лесной речке, растекалось по сердцу чувство облегчения. Я готов был совершить подвиг во имя такого великого дела, как Крещение, но когда оно стало невозможным, — не лезть же было в реку, ломая прибрежный ледок, — я испытал облегчительное успокоение и грустное разочарование. Знать, не дано...

С этой затаенной грустью на сердце уже глубоким ноябрем я выбирался из деревни, испытывая смутное беспокойство от того, что было мне такое чудесное явление — и так оно проплыло мимо меня в космической затаенности одной серой осенней ночи, словно звездный корабль, и снова исчезло в космической дали. И Тот, который приплывал на этом корабле, велел мне принять крещение, но этого не получилось.

Итак, я вернулся домой в Москву уже к вечеру, искупался в горячей ванне и, с влажной еще головой, направился в кухню, откуда доносился запах домашней еды. Я был на дороге уже с утра раннего, случайным попутным трактором добрался из Немятово до соседнего села, центральной усадьбы совхоза, оттуда местным автобусом двадцать километров до городка Тума, где

сел на рейсовый автобус, весь день был в пути и ничего не ел. Но мое неистовое устремление к обеденному столу было прервано телефонным звонком, аппарат находился в углу узкой прихожей. Пришлось повернуть назад и подойти к телефону.

— Это Смоктуновский, — прозвучал знакомый голос. — Здравствуйте, Толя.

— Здравствуйте, Иннокентий Михайлович!

Я был изрядно удивлен: мы не виделись все лето и осень, считай, полгода. Звонок был неожиданным. Поэтому не смог сразу настроиться на должный радостный лад, как всегда, и довольно спокойно повел дальнейший разговор. Последовала небольшая пауза, затем:

— Толя, вы не хотите креститься?

— Хочу! — Это без всякой паузы.

— Вот и славно! — Тоже без промедления.

— А когда?

— Завтра. Приезжайте ко мне в десять часов. Я тут решил крестить Филиппа и почему-то подумал о вас.

Вот и все.

Назавтра прихожу к нему на Суворовский бульвар, он сидит за низеньким столиком, в просторной обвисшей футболке, с голой жилистой шеей, с беспорядочно ниспадающими кудрями, на носу круглые старушечьи очки. И целясь сквозь них, озабоченно оттопыривая нижнюю губу, Смоктуновский пытается попасть кончиком шнурка в ушко светлого оловянного крестика. Кончик белой веревочки был разлохмачен и никак не хотел попадать в узкое отверстие, пока Смоктуновский не сделал то единственное, что надо было сделать. Он с уморительной озабоченностью посмотрел на меня поверх очков, затем поплевал на пальцы и скрутил рыхлый хвостик шнурка в остроконечную пику. Этой пикой он с торжествующим видом и проник сквозь скважину крестика, словно прогнал верблюда сквозь игольное ушко, и затем связал мертвым узлом концы веревочки.

— Это для вас, — сказал он. — Для Филиппа я уже давно приготовил, а вот вам не успел купить. Отдаю свой детский крестик, не будете возражать? Были эти слова сказаны или другие, я не могу ручаться за давностью лет и по причине того, что меня в ту минуту стали душить слезы. В глазах все расплылось, и я молча отошел куда-то в сторону. Какая-то острая высокая боль пронзила мне сердце, и я навеки преисполнился — с того мгновения — великой благодарности к нему. Я видел, что это действительно мой крестный отец, он трогательно заботится обо мне, потому что любит меня. Он стал также самым любимым для меня человеком на земле. Мой крестный. Да и я, кажется, для него единственный крестный сын: кроме Филиппа, его родного сына, и меня он вряд ли еще кого-нибудь крестил. По крайней мере, никогда не говорил об этом. И я полагаю, что он надел на меня крест, оберегавший его на войне.

После крещения священник пригласил Смоктуновского отметить крестины детей у него, и мы поехали по темным улицам Москвы домой к отцу Владимиру. Там Смоктуновский обратил внимание на висевшие в рамках фотографии, на которых Владимир Рожков, наш креститель, снялся рядом с Папой Римским и еще какими-то католическими прелатами. Иннокентий Михайлович заинтересовался фотографиями и стал расспрашивать, и мы узнали, что наш креститель

подвизался при Патриархии в иностранном отделе, был с какой-то миссией в Ватикане. И тут последовал вопрос Смоктуновского:

— Батюшка, как же так? Христос-то у нас один, а вероисповеданий сколько! И все считают, что истинная вера именно у них. Даже воевали из-за этого! Почему так, отец Владимир?

На что священник ответил не сразу, построжел лицом, перестал улыбаться приветливо и хлебосольно знаменитому на весь мир гостю. Потом молвил:

— Я вижу, что в вопросах веры вы не очень просвещены, Иннокентий Михайлович. Вот и детей привели крестить совсем не готовыми. Надлежащих молитв к этому не выучили, символ веры не прочитали, в книжечки не заглядывали...

— Батюшка, а надо ли? Главное — верить. Я видел, какое было лицо у Анатолия во время обряда... Он поверил. Батюшка, вера нужна прежде всего, а книжки можно почитать и молитвы выучить...

Отец Владимир подумал, перекрестился и сказал:

— Воистину Бог знает, кого привести ко кресту. Раз Господь призвал вас, значит, так и надо было. — И затем добавил: — Вы, Иннокентий Михайлович, веруете, как какая-нибудь темная деревенская бабка. Но не обижайтесь на мои слова! Я много знал верующих, из них самые истинно верующие — это как раз эти темные деревенские бабки. Вера их прочная, самая чистая...

О своей вере, собственно, Иннокентий Михайлович никогда особенно не распространялся, и об его религиозных чувствах, что как у темных деревенских бабок, можно было только догадываться по некоторым из его рассказов.

В детстве подростком он жил в деревне у своей тетки, сестры своей матери. Как звали тетку, память моя не сохранила. Эта тетка его приютила и молиться научила.

— Зимой корова отелилась, и теленка поставили в теплую избу. Я должен был следить за ним — как только теленок согнет спину и поднимет хвост, я должен был тут же подскочить и подставить оловянную миску. Сначала все было хорошо, я подставлял миску вовремя, но потом начал читать Достоевского, «Преступление и наказание», кажется, стал зевать, и бывали промашки. Меня у тетки здорово наказывали. Однажды я пропустил все и только увидел, как дядька с палкой в руке подступает ко мне. Тут я мигом бросился на колени перед иконой и стал креститься. Знаете, меня не тронули!

Другой рассказ был о том, как на войне молитва спасла ему жизнь. Рассказ этот я услышал в машине, когда мы вдвоем с ним ехали в Суздаль. Дело было зимой, Смоктуновский вдруг освободился от всех работ и решил на неделю сбежать в Суздаль, а меня пригласил с собой за компанию. Я очень обрадовался, — еще бы! — да мне и самому в семейной хрущевке с двумя детьми, с собакой Орланом, с котом Васей куда как было невмоготу. А тут — на целую неделю удрать от всего этого в тишину сказочного зимнего Суздаля, где мне раньше приходилось бывать... И в уединении со своими обожаемым крестным!

Мы выехали из Москвы и вначале оказались не на том шоссе, которое было нужно. Смоктуновский вел машину не очень уверенно, как-то сильно сгорбившись, глядя исподлобья вперед. Прочитал вслух на дорожном указателе: «Люберцы», — и задумался, но продолжал ехать дальше. Думал он довольно долго, приговаривая при этом: «Люберцы... Люберцы...» Потом переменил

ударение: «Любе-е-рцы» — и после чего добавил: — «Люберцы-ы! Едем не так, Толя. Надо поворачивать назад».

И он повернул назад, и не так уж скоро, но через какое-то время в зимние серые пополудни мы были на нужной нам дороге. Недавно прошла сильная оттепель, да еще дождь со снегом, потом резко подморозило, и трасса шоссе была сплошной серый каток. Иннокентий Михайлович сказал по этому поводу:

— На такой дороге, знаете, надо очень осторожно тормозить... Чуть что не так, машину тут же закрутит и ничего с ней нельзя будет поделать. Потеряет управление...

Только он это вымолвил, как нашу «Волгу» словно подняло в воздух, она стала будто невесомой и плавно закрутилась в сомнамбулическом вальсе посреди шоссе. Сделав полный оборот, машина встала наискосок к направлению, по которому мы ехали. Мотор был выключен, мы были на встречной полосе, лицом к тем машинам, которые мчались по ней. Так как «Волга» стояла чуть косо, моя пассажирская сторона на переднем сидении была открыта для прямого удара. Его готовился нанести автобус, стремительно приближавшийся к нам — лоб в лоб. Я хорошо различил лицо водителя, оно было искажено гримасой ужаса и белым как бумага. Удивительное, невиданно белое лицо человека. Застывшие глаза, смотревшие на меня непонятным взглядом. Лицо молодое, красивое. Оно близко промелькнуло мимо моего лица сбоку, я только услышал резкий и сильный звук «ш-ш-шик!» — и нашу машину качнуло от воздушного удара. Автобус со страшным белым лицом водителя пролетел мимо, чудом обогнув нас. Настала тишина. Дорога на встрече была пуста. Смоктуновский молча, как в трансе, завел машину и стал осторожно, невозможно медленно поворачивать «Волгу» назад, выезжая в нужном нам направлении. И тут, как это бывает только в кино, впереди нас оказалась милицмейская машина. Остановилась метрах в пятидесяти от нас, из нее быстро выскочил гаишник в белой дубленке и палочкой перегородил нам путь. Смоктуновский остановил свою машину, осторожно поставил ее на обочине. Гаишник застыл на дороге, как статуя командора, и грозно смотрел в нашу сторону. Лицо у него было красное, круглое, непреклонное. Тут Смоктуновский впервые после дорожного шока заговорил:

— Ну, Толя, придется мне покувыркаться, — сказал он.

Я ничего не понял. Смоктуновский же, бывший до того в лохматой шапке, стащил ее с головы и, держа ее в руке, полез из машины на холод. Согнувшись, вихляющей походкой длинный Смоктуновский шел навстречу гаишнику. У того лицо было по-прежнему красное, злое, непреклонное. Но вот, когда Смоктуновский остановился перед ними и, свершая виноватые экивоки, стал что-то говорить (только пар от дыхания клубился над его лысеющей головой), злая красная физиономия гаишника вдруг из круглой в секунду стала растопыренной, овальной, расплывшись в широчайшей улыбке. Видимо, гаишник узнал всеми любимого Деточкина из кинофильма «Берегись автомобиля». Дорожный инспектор почувствовал, должно быть, на минуту себя в ситуации народного фильма. О, лицо его никогда не могло быть злым, оно излучало само добродушие! Все кончилось тем, что гаишник и Смоктуновский ударили по петухам, т.е. пожали друг другу руки, и потенциальный виновник ДТП, создавший серьезную угрозу страшной аварии, потряхал назад к своей машине, на ходу торопливо натягивая на голову меховую шапку. Подбежав к самой машине, Иннокентий Михайлович посмотрел на меня через ветровое стекло,

состроил уморительную рожицу и показал язык. Усевшись за руль, он вздохнул глубоко и сказал с облегчением:

— Ну все, покувыркался.

Затем перекрестился, и мы поехали дальше. Проезжая мимо стоявшей перед нами патрульной машины, Смоктуновский погудел, а инспектор отдал ему честь по всей форме.

Мы долго ехали молча, каждый переживал недавно прошелестевший мимо смертельный миг по-своему. Я испытывал некоторую неприятную боль в горле, словно стояло там и саднило заостреннее кольцо, опоясывающая глотку ангина опухоль. Проглотить ее было невозможно, уйти от нехорошей боли никак нельзя, потому что совсем недавно смерть пролетела вблизи моего лица — ш-ш-шик! — и едва не задела его жестким крылом. Никогда еще я не испытывал такого беспомощного обреченного состояния, как в мгновение приближения смерти. Когда становится ясно, что если она вдруг явится перед тобой, от нее никуда не уйти... Но она прошелестела мимо, и только в горле застряло болезненное кольцо от ее внезапного мимолетного прикосновения.

Я оглянулся на Смоктуновского, он ответил тем, что бросил в мою сторону мгновенный взгляд и вновь исподлобья уставился на дорогу. И опять ехали молча, довольно долго. Вдруг, он произнес:

— Что, испугались?

Меня задел вопрос, особенно тон, в котором прозвучал, как мне показалось, знаменитый смоктуновский ехидный сарказм.

— А вы нет? — с плохо скрываемой досадой прозвучал мой собственный голос.

— Испугались... Но это зря, вам нечего было бояться, дорогой.

— Это даже интересно получается, — начал я заводитьсь. — Вы нас обоих чуть не угробили, а вместе с нами и людей из автобуса... И мне нечего было бояться?

— Совершенно верно.

— Это почему же, Иннокентий Михайлович?

— Да потому, Толя, что вы забыли, с кем вы едете.

— Я еду с великим Смоктуновским. Что с этого?

— Вы сердитесь, Толя... Извините. Я виноват, а вы неверно меня поняли...

Придется объясниться перед вами.

И после этого он начал свой рассказ, длиной почти до самого Суздаля.

— Мне много приходилось видеть самого жуткого на войне. Когда она началась, я еще учился в школе, в десятом классе. Отца в первые же дни забрали на фронт. Он у меня был большой, рыжий детина под два метра. Работал грузчиком. Когда колонна мобилизованных шла по улице к вокзалу, отец шел с краю правофланговым. Я бежал рядом с колонной и почему-то плакал, смотрел на отца и плакал. Отец не оглядывался, меня вроде бы и не видел, но вдруг вышел из строя и пошел прямо на меня. Остановился, очень строго посмотрел мне в глаза и сказал: «Ты чего? Смотри у меня!» — повернулся и опять возвратился в строй. С того дня я отца больше не видел. Он погиб в сорок втором году. А меня самого в шестнадцать лет военкомат отправил на войну, правда, полгода готовили на командирских курсах, а потом отправили на фронт. Я попал в степи за Сталинградом, там нас, пехоту, немцы окружили и взяли в плен. Отогнали от линии фронта и поместили в лагерь для военнопленных. Это было

огромное выгороженное место в чистом поле. Никаких бараков, просто кусок ровной степи, огороженный колючей проволокой. Вокруг со всех сторон горизонт под линеечку. У въезда какие-то строения, бараки для охранников. А пленных было тысячи. Уже пришла осень, холодные дожди начались, а мы под открытым небом. Рыли руками, щепками, котелками ямы, садились в них, сверху накрывались с головой шинелью. Ямы надо было рыть ровными рядами, немецкий порядок. Они патрулировали по лагерю, ходили по рядам с автоматами в руках, считали нас по головам. Каждый в яме должен был подниматься на ноги и стоять навтыжку, когда патруль приближался. Кто не поднимался, болен был или без памяти, или уже мертвый, получал короткую автоматную очередь, и двое шнырей из пленных должны были оттащить убитого за руки или за ноги к вахте, там бросить в общую кучу трупов. Один пленный, недалеко от меня, вырыл очень глубокую яму, а сбоку еще и пещерку, куда забирался с головой, прятался от дождя, и чтобы теплее было. И вот патруль подошел, немцы постояли, посмотрели вниз, потом один вытащил гранату, бросил в яму, все шарахнулись в сторону, присели, а граната грохнула и похоронила пленного в его собственной яме. Я заболел дизентерией. Кормили нас такой ужасной баландой, что ее не хотели жрать даже крысы, которые стаями бегали по лагерю. Я вынужден был сидеть в яме с приспущенными штанами, потому что из меня беспрерывно хлестало, хотя я почти ничего не ел. К баланде, которую приносили в огромных бадьях на палке, я и не подходил.

Как-то я увидел у одного из шнырей, которые помогали немцам, в руке буханку хлеба. Эти пленные, собиравшие по лагерю трупы и таскавшие их к вахте, выглядели лучше остальных, немцы их подкармливали. Этот шнырь заметил, как я смотрю на его хлеб, и предложил мне обмен. Он отдает буханку, а я отдаю свои сапоги. Я пришел на фронт совсем недавно, сразу же попал в плен, и у меня были почти новые крепкие сапоги. А у этого солдатики на ногах были резиновые чуни, наваренные из автомобильной камеры. Вот и предложил мне обмен: он отдает мне чуни с обмотками, а себе забирает сапоги, но в придачу отдает буханку черного хлеба. Обмен я этот тут же совершил, сапоги отдал, обернул ноги грязными обмотками и натянул чуни. Хлеб положил за пазуху, хотел щипать маленькими кусочками, чтобы растянуть надолго, но ничего не вышло. Как только отщипнул первый кусочек и положил в рот — так и не заметил, что было дальше. Опомнися, когда весь хлеб был съеден. И что тут началось! Все съеденное вылетело из меня жидкой дизентерией, я чуть не помер. А чуни эти меня крепко подвели в скором времени.

Наши пошли в наступление, и немцы решили перегнать пленных подальше от линии фронта. Это было кстати, уже выпал снег, и мы могли попросту замерзнуть в лагере. Нас построили по пятеркам в длинную колонну и погнало. Недалеко был захваченный немцами в летнем наступлении наш армейский склад амуниции, колонну подогнали к нему и на каждого пленного натянули по две шинели. Видно, вывезти трофеи у немцев не хватило машин, и они решили использовать пленных.

Мы шли колонной по пять, одетые в новенькие красноармейские шинели нараспашку. Я уже доходил от дизентерии, в глазах все плыло. Видел перед собой спины впереди идущей пятерки. И вдруг заметил, что когда от слабости я на какое-то время закрывал глаза, а потом открывал их — из заднего ряда на мое место в переднем ряду, от которого я отставал, быстро проскакивал кто-

нибудь из задней пятерки и занимал мое место. А я оказывался на ряд ниже по колонне. Через некоторое время у меня снова в глазах плыл туман, провал памяти — и снова я оказывался в следующем ряду сзади. А скоро я очутился в последних рядах колонны, вернее, там уже никто рядов не придерживался, и шли вперед, хватая руками воздух, хрипя и шатаясь, с безумными лицами доходяги.

И тут Смоктуновский стал показывать, в едином своем лице изображать шествие обреченных доходяг. Показывал он страшно... Я опять насторожился. Но Иннокентий Михайлович руля не выпустил.

— Я понял, что оказался в хвосте колонны, где скопились погибающие, потерявшие все силы. Тут услышал близкие выстрелы, оглянулся и увидел, как едут сзади две телеги, запряженные лошадьми. На эти телеги забрасывают шинели, снятые с упавших на дорогу пленных. Потом подходят к ним, пристреливают и оставляют на дороге. Она далеко просматривалась и вся была в темных лежащих трупах. Как только я все понял, то откуда только силы взялись — начал рваться вперед, обгонять других в толпе доходяг и вскоре догнал уже задние ряды пятерок. Но и тогда я продолжал рваться вперед, занимая место в передней пятерке, как только образовывалась там пустота после отставшего. И вскоре я оказался далеко от страшного арьергарда колонны. Мне ведь было семнадцать лет, и жить хотелось, и не хотелось умирать.

А после было вот что. Колонна вдруг остановилась. Причина была непонятна. Голова колонны уходила так далеко вперед, что ее не разглядеть. Моя часть колонны оказалось на мосту через какую-то небольшую речку. И тут я почувствовал, что страшно хочу пить. Внутри все горело. Я понял, что не смогу дальше идти, если не попью. Я подошел к конвойному немцу. Камрад, — сказал я, — камрад! Тринкен! Немец на меня посмотрел, ничего не ответил и только махнул рукой, сняв ее со ствола автомата. Мол, иди. И я вышел из колонны и пошел вниз по крутому берегу с нашей стороны моста. Снегу было по колено, и я сошел вниз без труда, не упал.

Внизу, выйдя на лед, я захотел разбить его ногой, но не тут-то было. Ноги мои были в резиновых чунях, к тому же я совсем ослаб от болезни, сил не хватало на хороший удар. Стою и плачу. Тут сверху спустился еще один солдат. Он разбил ногой лед, и мы попили. Я ему говорю: брат, я не дойду. Спрячь меня под мостом. А там стояли бревенчатые сваи, и вокруг бревен водой нанесло много мусора, камыша, сена, веток. Я прижался спиной к одной свае, но солдат испугался и быстро убежал назад. Когда он спускался сверху, то скатился по сугробу по моим следам и сравнял их. Когда он вернулся наверх, колонна уже тронулась. Но с другого края моста спустился на берег офицер с пистолетом в руке. Шинель мышинного цвета, одна пола заткнута под ремень. Он ступил на лед, поскользнулся и упал на колени. Пистолет вышибло из руки и прокатило по льду мимо меня. Офицер быстро пополз за ним, не стал даже подниматься с четверенек. Только тогда поднялся, когда догнал пистолет. Стал оглядываться, но с того места, где он находился, меня уже не мог увидеть, я был в мертвом пространстве, за сваями. И тут я стал молиться. Господи, спаси! Господи, помилуй! Офицер с пистолетом в руке полез наверх с моей стороны моста, назад на свою сторону не пошел, побоялся идти по льду. Колонна уже шла через мост.

На этом месте своего рассказа Смоктуновский прервался, глубоко задумался, потом выпустил из рук руль и широко перекрестился.

— Господи! Воистину ты существуешь, — с глубоким чувством произнес он. На секунду зажмурился, совершая крестное знамение, — так показалось мне. Я осторожно покосился на спидометр: машина шла под сто километров по ледяной дороге. Осторожно, ровным голосом я произнес:

— Руль, Иннокентий Михайлович...

— А? Что? — немного переигрывая, «пришел в себя» Смоктуновский.

— Руль держите...

— Вы про это. — Он положил руки на руль. — Но я вам уже говорил.... Не забывайте, с кем вы едете. Какая-то высшая сила все время спасала меня на войне. Я ни разу даже не был ранен. А ведь приходилось иногда под самым носом смерти плясать. Я много раз смотрел ей в лицо. И я знаю, что нас только Бог спасает. Мы сами ничего не можем.

— И все же, руль не надо выпускать, — мелочно препирался я. — Одна старушка в деревне говорила: Богу молись, а к берегу гребись.

— Очень мудро говорила ваша старуха. Я тоже так считаю. Конечно, надо молиться, но Бог ничего не дает, если не будешь до последнего хрипеть, выбивать у жизни свое спасение...

Когда я вернулся с войны, мне было двадцать три года, я дошел до Берлина и еще два года дослуживал в Германии свой призывной возраст. Вернулся в Красноярск, а там меня никто не ждал. Отец погиб, мать — рабочая косточка, братья карабкаются сами по себе. Мог ли я тогда мечтать о театре? Да я и не думал о нем, мне хотелось где-нибудь пристроиться, выучиться на кого-нибудь, чтобы прожить... Театр выскочил случайно. Встретился я со своим дружкой, он тоже после армии искал себе место и уговорил меня пойти с ним подавать в лесной техникум. Но ничего у нас не получилось, мы не смогли сдать экзамены, и тогда друг предложил пойти на годовичные театральные курсы при студии драматического театра. Там экзаменов никаких не требовалось, зато давали стипендию. Мы решили перекантоваться год, а на следующий снова попытаться в лесной техникум. Но через год дружок мой поступил-таки, а я остался при театре.

— Что-то почувствовали?

— Я вам говорил уже, что в детстве любил читать. А то, что было в жизни, особенно на войне, и то что было в книгах, настолько разное, что не хотелось того, что в жизни, а хотелось того, что было в книгах. А на сцене книга оживала. Жизнь же настоящая была настолько жуткой, что хотелось отвернуться от нее. Она была мне непонятна. Зачем все это? — вставал вопрос. Для такой жизни, какую я узнал к тому времени, мне не хотелось отдавать себя, свою молодость и красоту, а я был красивый малый, Толя. И тут мне раскрылся театр, в театр можно было сбежать, в театре можно было спастись. Да, да, лично я мог спастись только в театре, на любом другом месте я пропал бы. Бог меня привел туда, чтобы я не пропал. Бог меня всегда хранил и спасал... Неужели вы думаете, что после всего этого он дал бы мне погибнуть где-то на дороге в автокатастрофе? Когда я стал гениальным артистом, как вы говорите.

Он долго вел машину, молча исподлобья глядя на дорогу. Потом усмехнулся, бросил короткий боковой взгляд в мою сторону и продолжил:

— Не вы один это говорите мне, и я знаю, что ваши слова искренни, вам

незачем льстить мне. Но я и сам могу подтвердить, что некоторые мои работы гениальны. Говорю это без ложной скромности, как видите. Я не знаю, как это получается, но всегда знаю, когда играл гениально. И тогда мне все равно, кто как подумает и что скажет. Надо мной многие потихоньку смеялись, многих это раздражало, когда я так говорил о себе, а у некоторых это попросту вызывало чувство ненависти. Особенно не любил этого свой брат-актер.

Мы остановились в придорожном кафе, чтобы отдохнуть и перекусить, и разговор наш продолжался дальше за тарелкой борща и за шницелем рубленым натуральным с макаронами на гарнир. Мы с ним были совершенно одни в холодной едальне с дюралевыми столиками, с такими же стульями. Весь обед запивался мутным напитком, который шел за «кофе с молоком». Я закурил, тогда в кафе можно было курить, на столах стояли стеклянные пепельницы. Иннокентий Михайлович не курил, я за все время наших встреч видел всего несколько раз его с сигаретой в руке. Он после обеда не стал нахлобучивать шапку, чтобы его не узнавали, ведь в кафе кроме нас с ним никого не было. Глядя пустыми отсутствующими глазами перед собой, изображая полную сытость, отвалившись на спинку стула и вытянув длинные ноги в меховых ботинках, Смоктуновский говорил:

— О том, что сыграл гениально, я знал в тех случаях, когда не помнил того, как это происходило на сцене, на киноплощадке. Мое нутро, мое Я как бы умирало, — умирало и приходило другое Я. И оно делало то, чего хотело делать. На репетициях у меня каждый раз получалось чуть по-другому, чем раньше, и это раздражало режиссеров и партнеров. Я понимал, что могу нарушить целостность ансамбля, но ничего не мог с собой поделать. Ведь я мог сначала репетировать роль, а потом сыграть только в том случае, если сам исчезал, а во мне возникал тот, другой, которого я должен был сыграть. И очень боялся этого другого, потому что он был неизвестен мне и имел надо мной непонятную власть. Словом, он был не я, Смоктуновский, он был другой.

— Это опять-таки началось на войне... Я какое-то время находился в похоронной команде. Мы собирали по полю боя трупы погибших, свозили к братским могилам. Представляете, дело было летом, жуть несусветная, запахи, мы орудовали крючками на длинных палках, загружали конные фуры. Трупы укладывали штабелями, друг на друга. И вдруг из этой груды, из самой ее середины, раздался страшный стон и такой вот глубокий выдох: уа-а-ахх! Мы все, вся команда, бросились к фуре и стали стаскивать тела на землю, чтобы добраться до того, кто застонал. Мы думали, что он живой, и каждый представил, наверное, себя на его месте. Страшнее этого ничего не бывает. Это страх живым оказаться среди мертвых. Быть заживо похороненным. Оказаться среди мертвецов и остаться там безвозвратно, без всякой надежды вернуться к жизни. Мы высвободили из груды трупов этого человека, он еще раз сделал выдох через страшно разинутый рот — уа-а-а-хх! — и замер неподвижно. Это был такой же мертвец, как и остальные, но у него, видно, газы внутри накопились, и они вырвались наружу через глотку. И в ту секунду, Толя, я почувствовал, что во мне вдруг как будто умер я сам, а возник вместо меня тот, который на самом деле был мертв, но вздохнул как живой. Я не знал, кто он, но он был во мне. Настал момент перевоплощения. Это было первый раз. Было очень страшно, но именно этот страх моего собственного умирания приводил

меня к перевоплощению в другой образ. Я начинал жадно жить в этом образе, и никто — ничья воля не могла сбить меня с пути.

— С режиссерами бывали страшные конфликты. В «Гамлете» Козинцев отказался репетировать со мной, и я репетировал самостоятельно на дому с режиссером Розой Сиротой, и на площадку приносил готовое решение. О результатах вы имеете представление. Не знаю, многие ли актеры могли умереть сами, чтобы ожить в роли, но я это мог. И это была та моя плата за гениальность, о которой говорите вы, говорили другие. И когда это случалось, я железно стоял на своем и, как правило, — выигрывал.

— В Малом театре на «Царе Федоре Иоанновиче» был такой случай. Один заслуженный артист терпеть не мог меня, не здоровался даже со мной, люто ненавидел, — он играл боярина, а я царя. По ходу спектакля в одной сцене он должен был подавать мне реплики, — и это делал, повернувшись спиной ко мне, да еще и сидя на пандусе декорации! Это что же? Боярин царю подает реплики, сидя спиной к нему! Я обошел его, встал напротив, размахнулся и влепил ему здоровенную оплеуху. Он живо вскочил и уже подавал реплики как подобает... А зритель ничего особенного не заметил, наверное, подумал, что так и надо.

А в другой раз на этой же пьесе царю Федору сообщают об убийстве царевича. Мне стало дурно. В голове закружилось, я стал падать... Так вот ведь что — никто из моего царского окружения не подхватил меня, и я со всего своего роста грохнулся затылком на сцену. А ведь рядом стояли бояре, рынды и моя благоверная Аринушка! Никому из них не пришло в голову подхватить царя, потому что все они были не *в том* мире, где был я, царь Федор Иоаннович, а на маленьком пыльном пятачке сцены. И думали не о том, как бы помочь царю, а о том, что скоро спектакль кончится, они выйдут на поклон, затем быстро снимут грим в гримерной и разойдутся по домам.

Мы поехали дальше, и я уже не помню, какие еще важные откровения услышал в дороге от своего крестного. Это была моя первая с ним поездка, и впервые мне пришлось столь долго общаться со Смоктуновским наедине. Та далекая зима — неважно какого года XX века — была для меня чудодейственной, а я и не догадывался об этом.

Я как-то и не задумывался, что встреча с ним на лестничной площадке хрущевской пятиэтажки, на четвертом этаже, и крещение мое через семь лет, и поездка вместе с ним в Суздаль — это части единого Явления. Но тогда — кто же такой я, чтобы мне в деревне Немятово глухим ноябрем в убогой избенке явился сам Спаситель? Кто я такой, чтобы ко мне в дом вошел Смоктуновский, божественный актер, гений истинный, богоявленный? Вот ведь как получается, должно быть, и я такой человек, которому божества являются в ту минуту, когда он должен вот-вот погибнуть. Смоктуновский был в самом пекле фронтового ада, в гуще кровавого месива человеческих тел, разрываемых в куски чудовищными рваными тяжкими осколками снарядов и мин, наполненных стальной смертоносной начинкой, дьявольскими осами, укусы каждой из которых способен оставить сквозную пробоину размером с кулак в человеческом теле или снести полголовы. Какой заслон мог быть поставлен пред мягкой трепещущей юношеской плотью, чтобы уберечь ее от пулевого удара или осколочной пробоины? Да никакой! Только Божий покров, невидимый, непроницаемый, способен был скрыть тело будущего гения от алчных взоров смертоносных ос

воинства Сатаны. А лично я, спасенный Смоктуновским, я, пропадая от безнадежности и тоски в беспощадной Москве, был спасен, стало быть, тем же покровом. Накрыт краем того же боевого волшебного плаща, которым укутал его Господь на войне — от проникновения холодного оружия, от прожжения раскаленной пулей и от пробития тяжким ударом рваного осколка. Миллион их пролетело мимо нашего Гения, ни царапины не оставив на его теле. Множество роковых стрел пролетело и мимо моего одинокого отчаявшегося сердца, ни одна из них не попала в него.

Мы с Иннокентием Михайловичем пошли ужинать в ресторан туристического комплекса, в котором занимали секцию с гаражом. Смоктуновский с явным удовольствием влез в длинные серые деревенские валенки. Когда вошли в вестибюль ресторана, навстречу выдвинулся и встал перед нами швейцар, высокий седой дядька в ливрейном мундире и черной фуражке с галунами. Окая по-владимирски, он строго стал отчитывать Смоктуновского:

— Ты пошто в валенках сюда приперся?

— А нельзя? — взвился было Смоктуновский.

— Чай в ресторан пришел, не в кабак.

— Не пускаете значит в валенках?

— Неуж пушу! Поди сперва культурки наберись, деревня!

Тут уж я рванулся в бой:

— Да ты знаешь, кто перед тобой, дядя? — начал, было, я.

— Пойдите, Толя! Не надо, — остановил меня Иннокентий Михайлович. —

Я лучше схожу, переобуюсь, а вы подождите.

И Смоктуновский поспешно удалился, а я, кипя возмущением, стал вразумлять швейцара:

— Как тебе не стыдно, дядя! Это же артист Смоктуновский!

— Полно врать! Артисты в валенках по ресторанам не бегают! — железобетонно окая, стоял на своем швейцар. — Ты поговори, поговори! А то и тебя не пушу!

— Меня-то за что?

— А за то... Пьяных не пущаю!

— Это я пьяный?

— Пьяный в лоскуты. Возражаешь? Пиши заявление.

Я чуть не лопнул от возмущения. Во-первых, я не пью, во-вторых, с чего он решил, что я пьян? Может, с мороза у меня слишком красное лицо? Я потрогал ладонью щеку... Вскоре вернулся Смоктуновский. Он был в черных штиблетах. Как прошел в них по глубокому снегу? От ресторана до кампуса пройти надо было немалое расстояние через широкий, не очень хорошо освещенный двор... Смоктуновский остановился перед швейцаром, приподнял за штанины брюки, склоняя голову из стороны в сторону, стал любоваться на свои ноги в сверкающих штиблетах:

— А так хорошо? — спросил он.

— Так другое дело! Проходите! — разрешил дядька и, заложив за спину обе руки, величаво отвалил в сторону.

Мы недурно поужинали, уха и котлеты были хороши, Иннокентий Михайлович позволил себе рюмочку. И после ужина за чаем наш разговор, начавшийся в дороге, продолжился.

— Когда я бежал из колонны пленных, меня спасла одна женщина, пожилая хохлушка. Я простоял под мостом до самого вечера. Колонна уже давно прошла, а я все не решался вылезти из укрытия. Ох, вот когда мне стало по-настоящему страшно. Неужели удалось бежать? Неужели свободный? А вдруг они стоят на мосту? И снова схватят, вернут. Нет, они и возвращать не станут, а хлопнут сразу на месте. Ночью появилась луна, стало все видно на снегу. Недалеко от моста была деревня, несколько домиков. Оттуда появилась женщина с коромыслом и ведрами, подошла к проруби, недалеко от моста. Стала черпать воду. Я ей громким шепотом: «Тетенька, не бойся! Я русский!» Она ничего не ответила, не посмотрела даже в мою сторону. Потом чуть заметно махнула рукой и ушла, с ведрами на коромысле. Я ее понял и стал ждать, по-прежнему не выходя из-под моста. Нескоро, ох нескоро она вернулась! Когда все огни в деревне погасли. Луна круглая уже на другом берегу реки оказалась. Тетка прошла берегом до моста и, не спускаясь, сказала негромко:

— Як мисяц за тучку зайдэ, швидко беги витселя до крайней хаты.

Так я и сделал, выбрался наверх, когда стемнело, и по дорожке пробежал до деревни. Тетка меня встретила на углу и завела в дом. Простая женщина, хохлушка. Простые люди добрые, Толя, чем проще, тем добрее. Она уже нагрела в ведрах воды, налила в цинковую лохань, заставила меня скинуть всю одежду, сгребла ее тут же и вынесла куда-то. У меня от дизентерии одежда была вся нечистая, я весь был нечист, и вонь шла от меня страшная. Но тетка и виду не подавала, усадила меня в горячую воду, стала намыливать мне голову. А я сразу так разомлел, что стал засыпать в ванной. Силенки кончились, я не мог даже мочалкой тереть себя. Но тетка меня вымыла, дважды воду поменяла, потом достала мне чистую рубашу и кальсоны. Усадила за стол и дала совсем небольшой кусочек хлеба и маленькую беленькую кружку молока.

— Хлопчик, тобі много исты нэгоже. Заворот кишок будэ, — говорила она. И я мигом проглотил еду, и голод в животе как был, так и остался, казалось, что еще больше усилился. Но тетка отправила меня на теплую лежанку русской печки, не погасила лампу и сама куда-то вышла. Я лежал и чуть с ума не сходил оттого, что где-то близко пахло теплым хлебом! Я свесил голову с лежанки и стал нюхать. И тут увидел, что на полотах, под потолком, лежат несколько круглых караваев, накрытые полотенцем. Не помню уже, как это получилось, но я кинулся с лежанки на полати, схватил каравай и впился в него зубами. При этом не удержался на печке и свалился вниз вместе с хлебом. Прибежала хозяйка, стала отнимать у меня хлеб — заворот кишок, заворот кишок! — и мы стали драться. Но эта хохлушка была крепкая, сильная, она без труда справилась со мной, отняла хлеб. Я сидел на полу и плакал. Что-то я успел уже съесть, и еще сказалась борьба, но я почувствовал, что у меня начинается беда с желудком. Я быстро надел обрезанные валенки, стояли у печки, схватил на ходу со стены полушубок и выскочил из дома. За углом присел под завалинкой — и плачу, рыдаю, остановиться не могу. А прямо мне в лицо светит огромная луна. Рыдаю, а вместе с рыданиями с обратной стороны вылетает все то, что я успел съесть. Вы знаете, Толя, я сидел в сугробе и плакал так горько, как плачут, наверное, младенцы, когда голодны и им не дают молока из материнской груди. Я рыдал и плакал еще и потому, что понял: теперь-то буду жить...

Эта женщина прятала меня долго, пока я не выздоровел, потом ее родственник отвел меня в лес к партизанам.

— Так вы еще и партизанили! — поразился я. — И сколько времени?

— Это было не так долго, скоро подошла линия фронта, наш отряд влился в регулярную армию.

После поездки в Суздаль, когда Смоктуновский впервые рассказывал мне о своем военном прошлом, о плене и побеге из плена, у нас как-то не заходил разговор на эту тему, и я ничего не узнал, какова была фронтовая жизнь Смоктуновского в продолжении двух лет наступления нашей армии через Европу до Берлина. Неизвестно мне, как проходила его срочная служба в Германии после победы. Но я, сам прослуживший в армии три года, могу уверенно говорить, что реальная армейская жизнь отнюдь не приближает человека к Богу, и все божественное, заложенное в нем, дисциплинарно наказуется, если вступает в конфликт с воинскими уставами. И тому высочайшему, трепетному, тончайшему душевному состоянию многих его персонажей из кинофильмов и спектаклей, покоряющей власти смоктуновской духовной эманации, явленной через актерскую игру, — не могу найти корней в его реальной биографии. Она была груба, сибирское детство немилостиво, отец буйно пил, дрался в семье, с шестнадцати лет на войне, два года фронта и еще три — служба на чужбине, в оккупационных войсках... Откуда взялись те высокие, тончайшие энергии духа, которые покорили весь мир? В Англии он был признан лучшим исполнителем роли Гамлета за все времена. В Японии, на представлении «Чайковского», в котором он сыграл одноименную роль, зрители во всем огромном зале пали на колени, когда Смоктуновский вышел на сцену. Рассказывая мне об этом, он не без юмора добавил: «Я не ожидал этого — и совершенно непроизвольно сам тоже брякнулся на колени. Японцы на это отозвались дружным смехом, потом встали и очень долго аплодировали...»

Однажды в добрую, как мне показалось, минуту я спросил о том, какое значение в его жизни и творчестве имели для него те прекрасные женщины — актрисы, такие как Анастасия Вертинская, Алла Демидова, Маргарита Терехова и другие красавицы, с которыми ему приходилось играть в кино и театре и соприкасаться в жизни. Но минута оказалась вовсе не доброй для меня, и я получил неожиданный щелчок по носу:

— Никогда, Толя, никогда, вы слышите? — не задавайте мне больше подобных вопросов. Я не желаю ни с вами, ни с кем бы то ни было разговаривать на эту тему.

Мне стало стыдно до высокотемпературного жара на скулах, до слез жгучего стыда, я не мог найти слов оправдания и только пролепетал еле слышно: «Извините, крестный...» Представил себе тысячу японцев, бросившихся на колени перед ним, — и испытал в душе вторую, возвратную, волну стыда.

Здесь я должен сказать, что за двадцать лет близкого общения с ним он ни разу не обратился ко мне иначе, чем на «вы». Возможно, это говорит о том, что он не чувствовал дружественной близости ко мне, ведь я был намного моложе него. И вообще, дружбы как таковой между нами не было, как не было и никакой живой почвы, на которой она могла бы возникнуть... Ну и как при этом я мог задать ему вопрос об его отношениях с красавицами? Вот же болван!

Но прошло не очень много времени, возможно, всего дня два-три, мы вернулись с зимней прогулки, в мотеле крестный вскипятил электрочайник и

сделал горячий чай. И вдруг, он сам, совершенно неожиданно для меня, стал рассказывать.

— Из Красноярска я через год поехал в Норильск, за Полярный круг, там были двойные северные ставки, а мне хотелось заработать, приодеться. К тому же я купил фотоаппарат и стал фотографировать детишек в детсадах, приработок был неплохой. Норильский театр оказался очень хорошим, там работали ссыльные режиссеры и актеры из Москвы и Ленинграда. Там я с Георгием Жженовым встретился. В общем, все было хорошо — в Норильске я и прошел настоящую актерскую школу. Но вы знаете, Толя, было так холодно! И вот порой намерзнешься, наголодаешься — и какая-нибудь актриса сжалится и пустит к себе... Вдруг крик возмущения: «Ты что это молоток суешь!» — Какой молоток? Никакого молотка! Это у меня с голодухи так получалось. — Я с великим удивлением посмотрел на крестного. И впервые заметил, что передо мной крепкий, сильный, пролетарски здоровый жилистый мужик, а не расслабленный рефлектирующий интеллигент, каких порой изображал Смоктуновский.

Нет, мы не были и не могли быть близкими друзьями, слишком большая разница в возрасте и несовместимые социальные весовые категории, и весьма отдаленные друг от друга ареалы профессионального существования... Но ни с кем другим, как мне известно, он не ездил на отдых вдвоем — был Смоктуновский человеком достаточно сложным для личного общения и закрытым. Так почему я? Ведь видных друзей и близких возле него было великое множество, тех, которые запросто называли его Кешей. И все же — внимание его ко мне было бесконечно добрым, особенным. И он крестил меня. Я никогда раньше не задумывался над тем, почему из всего большого людского окружения, тяготеющего к его знаменитой личности, он одарил меня своим особенным добрым вниманием. Я просто радовался возможности человеческого общения с ним и был счастлив каждому случаю встречи с Иннокентием Михайловичем.

Зимой ли это было — встретились мы однажды в старом метро «Арбатская». Его жена и дочь, и я вместе с ними, шли, только что выйдя из поезда, вдоль привычно жутковатого провала путей метрополитена по малолюдной платформе. И он, одиноко стоявший на балконе, издали заметил нас и, воздев над головой руки, стал делать бурные жесты. Его жена и дочь были, видимо, привычны к подобному и шли молча, безответно, лишь радостно, снисходительно, одинаково улыбались. Я же заразился энтузиазмом и тоже вскинул руки в приветственном семафоре... В ответ он что-то такое сотворил со своими руками и вздернул их еще выше, так что торчавшие из рукавов куртки длинные кисти заматались уже под самым потолком станции подземки.

В это время с тылу к нему подступил откуда ни взявшийся милицейский служитель, он приблизился вплотную и стал внимательно наблюдать, не кроется ли за этими странными маханиями каких-нибудь преступных намерений. Он, вообще чуткий интуитивист, ощутил на спине чужой взгляд, мгновенно насторожился, медленно опустил руки. Затем резко через плечо оглянулся и на секунду замер — испуганно, как мне показалось, уставившись на стража порядка. Но спустя эту самую секунду, отвернувшись от милиционера, Царь замахал еще усерднее. Однако в его движениях уже не было чистоты непроизвольной импровизации и чувствовались некое принуждение и скрытый вызов гордого духа: нате-с, я вот так еще махну и вот этак...

Милиционер (видимо, тоже интуитивист) молча понаблюдал за ним и ушел,

не придравшись, с миром унес свой покатый служебный живот. И уже вскоре мы встретились с Иннокентием Михайловичем на площадке переходного балкона. И я, в качестве добровольного провожатого и конвоя, «сдал» ему его женщин, которых он и вышел встречать в метро. Они жили тогда на Суворовском бульваре. Откуда мы ехали, и почему я оказался в тот поздний час с ними — не столь важно. Я проводил их по его просьбе.

Он ушел, радостный и светлый в тот вечер, с двух сторон подхваченный женою и легконогой, высоконькой дочерью.

В этот день с утра мы ездили на машине по расчищенным дорогам вокруг Суздаля. Стоял солнечный день с небольшим морозцем. Ярко-белый снег, голубое небо, редкие светлые облака в широком небе, белые освещенные солнцем стены попутных храмов. К одному из них Смоктуновский подъехал как можно ближе, снял шапку, выскочил из машины и побежал к воротам. Храм был закрыт, вход заколочен, по всем признакам он был недействующим, как и большинство храмов по России в то время. Смоктуновский по глубокому снегу подбежал к боковому приделу и, склонившись вперед, приложился к белокаменной стене.

Когда мы поехали дальше, я увидел, как через дорогу перебегают стая белых куропаток. Они, видимо, машин не боялись и довольно близко подпустили нас.

— Смотрите, смотрите! Видите? — закричал я, указывая рукой.

— Что за птицы? Голуби?

— Да куропатки это, Иннокентий Михайлович!

Лицо его расплылось в умильной улыбке.

— Куропаточки! Такие славные!

Он остановил машину, и мы стали смотреть на то, как стая бегом строчит через белое поле. Иннокентий Михайлович вылез, стараясь не стукнуть дверцей, со своей стороны, но куропатки тут же с шумом снялись и полетели прочь, свистя крылами...

Он стоял на морозе без рукавиц, без шапки и смотрел вслед улетающим птицам с таким сожалением, даже болью в глазах — что совершенно не связывалось с обыденными реалиями: зимняя дорога, сверкающий белый снег, улетающие птицы... Стая отлетела не так уж далеко, снова бухнулась на снег и потекла дальше темной строчкой...

Он спокойно говорил: «Я гений». Многие его работы в кино и особенно в театре, бесспорно, были гениальными. Но человек Смоктуновский никак не смотрелся гением. Гением смотрелись его Гамлет, Чайковский, Иванов, Царь Федор, Иудушка Головлев, Скупой Рыцарь... Я все это видел, все эти его работы, этих людей, в кого он перевоплощался. Но я видел также на протяжении двадцати лет конкретного человека и ничего «гениального» в нем не заметил. Он был для меня простой, добрый, искренний человек. Мой крестный. Он был понятный. Близкий мне тем, что в общении со мной не скрывал шероховатостей своего характера, не умалчивал и о том, какие слабости просматривал у меня. И всегда говорил мне «вы».

Когда вышла первая моя книга в издательстве «Советский писатель» — в 1976 году (три года спустя после явления Смоктуновского в мою жизнь), я устроил домашнюю презентацию у себя на Академика Павлова, 36. На праздник

всей моей жизни я пригласил Смоктуновского, соседей Горшманов, также и Владимира Германовича Лидина, своего учителя по Литинституту (он писал записку в редакцию «Советского писателя», по которой мою рукопись там и приняли во внимание), редакторов отдела прозы, несколько моих друзей. Гости именитые и не очень, но все близкие мне. И вот на этом своем главном празднике я не заметил как, но напился. По природе своей мой органон не воспринимает алкоголя, от пары рюмок водки я могу уснуть прямо за столом. В тот раз я пошел кого-то проводить до метро, а потом возвращался, классически пошатываясь из стороны в сторону, и это мне почему-то очень нравилось. А у своего подъезда я сел на скамеечку передохнуть и отключился. Проснулся я от того, что кто-то сильно тряс меня за плечо. Передо мной стояли, интеллигентно глядя на меня, старенький профессор Лидин, рядом с ним Иннокентий Михайлович. Других я и не заметил, потому что понял: я пропал. Опозорился, как последний сукин сын. Но честная публика, собиравшаяся уехать на «Москвиче» Лидина и на «Волге» Смоктуновского, довольно добродушно попрощалась со мной, расселась по машинам и отбыла, оставив меня одного умирать у подъезда, с мутной головой и позором на душе.

В следующий раз, встретившись со мной, Смоктуновский говорил неприлично для меня сдержанно, строго, серьезно.

— Никогда больше не пейте, Толя. Вы это не умеете, вы можете не только попасть в неприятности, но и в настоящую беду. Потому что вы слабый, а слабым пить нельзя!

— Почему же это я слабый? — самолюбиво покривился я. — Я не считаю себя слабым.

— А я считаю себя слабым! Никто не должен считать себя сильным. Потому что все на самом-то деле слабые. Нет таких — сильных, а те, что считают себя сильными — как раз самые слабые. У тех, кто считает себя сильными, надо брать то, что тебе хочется. Но это не так просто! Потому что эти слабые — сильные мира сего еще и очень хитрые и жадные. Им хочется все себе забрать, другим не давать, самим владеть, им там наверху хорошо, они никого не желают подпускать в свой круг. И надо научиться вам правильно вести себя, Толя, чтобы они подпустили вас к себе.

— А может и не надо этого, Иннокентий Михайлович?

— Надо, Толя. Вот вас десять лет не хотели печатать, почему? Потому что вы плохо написали? Нет, у вас замечательные рассказы. Талантливый, высокий язык. Но вы были не из того круга, понимаете? Я принес ваши рассказы в журнал и сказал: вот вам гениальные рассказы, читайте. И в тот же вечер из редакции звонят мне и, вырывая трубку друг у друга, благодарят. Сначала я подумал, что благодарят за мои статьи, которые в тот же день приносил им, но потом понял, что они за ваши рассказы благодарят. Вот видите, когда вы сами носили их по редакциям, никто ведь не хотел принимать.

— Но вы все равно рисковали, Иннокентий Михайлович.

— Как видите, нет. Надо вам и самому так действовать. Вы можете никому ничего не говорить, но должны сами знать, что ваша работа гениальная, — если она на самом деле гениальная. Потому что вы этого только и хотели, ничего другое вас не устраивало, и вы добились наконец своего. С этой уверенностью вы и заходите в редакцию, ничего не говорите, молча кладите рукопись перед редактором. Смотрите спокойно на него. И все время помните, что работа ваша

хороша. Очень хороша! Там, наверху, ничего не понимают в том, какая наша работа гениальная, какая нет. Их надо убедить в этом, им же ведь все равно. Также у них не дрогнет душа, когда перед ними предстанет настоящий шедевр. А уже на самом верху попросту не понимают, что такое шедевр. Конечно, некоторые могут даже поговорить о музыке или даже вмешаться в творческий процесс, одним пальчиком наигрывая на рояле. Могут дать другое название: «Жизнь за царя». Могут посоветовать самой Плисецкой как-то поприличней раскрывать ноги. Это самоуверенные люди. Только вот, к сожалению, от них-то и зависит, жить нам с вами или не жить, получать награды и почести или в Сибирь, в глушь в Саратов, на Кавказ, на Колыму. Вы бы видели этих... «из самых верхов». Кожа на лице гладкая, как натянутая, сразу видно, что кушают они только самые лучшие продукты, каждый волос на голове, каждая морщина на лбу тщательно промыты. И сразу видно — они живут лучше всех остальных, и им хочется всегда так жить. Вы понимаете, Толя, что все эти верхние — это из самых отчаянных мещан, им до наших шедевров никакого дела нет. Поэтому, дружок, вы не должны стесняться и брать от них все, что возможно. Это не так просто, они всякие блага и награды дают не за шедевры, а за свою любимую рыбку, которую хотят скушать. Вот вы и должны их перехитрить — закинуть удочку, на крючок насадить что-то похожее на такую рыбку. И когда клюнет — вы раз! — подсекайте свою добычу! Впрочем, что это я вам говорю всякие непонятные вещи. Вот скоро в газете «Правда» выйдет моя большая статья, прочтите ее и все поймете. А я через некоторое время получу Госпремию...

Действительно, Смоктуновский через некоторое время получил Госпремию. А статью я читал — не дочитал... Он получил и Ленинскую премию, и Героя соцтруда, и другие самые высокие премии и награды... Может быть, он и был прав, говоря об удочке и наживке, но совершенно не убедил меня в том, что его гениальные работы в кино и театре явились приманкой, наживкой для удачного ужения Большой рыбы. Он сыграл в одном фильме роль Ленина, возможно, она и была «наживкой», но в то сложное время, насквозь пропитанное миазмами идеологической лжи и лицемерия, это была не самая отвратительная наживка, использованная умелым Рыбаком. В те времена поймать Большую рыбу гениальному художнику было весьма сложно, Иннокентий же Смоктуновский ловил и зацепил не одну, я не знаю другого такого случая. И от души радуюсь за удачливого Рыбака.

Может быть, в связи с получением Госпремии или по случаю другого триумфа Смоктуновского он давал банкет в гостинице «Россия». Пригласил и меня, но не обычным существующим способом, присылкой заранее приглашительного билета, а телефонным звонком прямо в день банкета:

— Приезжайте ко мне, и мы поедем с вами на одно славное мероприятие. Постарайтесь одеться понаряднее.

Я приехал весьма заинтригованный, и он привез меня к «России», возле самого Кремля. Я никогда раньше в этой колоссальной гостинице не бывал, да и после, вплоть до знаменитого пожара в ней и сношения ее, был всего пару раз на каких-то торжественных мероприятиях. Смоктуновский привел меня в огромный банкетный зал, где были уже накрыты столы. Его узнали, подошли какие-то официальные гостиничные служители, крестный немного «покувыркался» с ними. Затем повел меня вокруг столов, как бы осуществляя осмотр и

степень готовности праздничного парада. Закончив обход, он пригласил меня присесть рядом с ним на конце стола:

— Давайте, Толя, закусим заранее. А то начнется торжество, и я так и не смогу нормально покушать. Начнутся тосты, объятия.

— А можно так, Иннокентий Михайлович? — оробел я.

— Думаю, что можно. Никто нам ничего не скажет. Ведь я хозяин сегодня.

И как же он оказался прав! Когда через некоторое время показались в дверях гости, повалил густой звездопад самых маститых знаменитостей отечественного кино — Ефремов, Табаков, Мордюкова, Терехова, Глебов и т.д. — крестный упорхнул навстречу им, стал частью грандиозного звездопада. И я, совершенно ослепленный его нестерпимым сиянием, не заметил того момента, как потихоньку покинул триумфальный зал и уехал домой.

Но сколько бы раз потом ни видел Смоктуновского на всяких торжественных мероприятиях, никогда не висело на его пиджаках сверкающего иконостаса наград. После его смерти жена Суламифь показала мне обувную картонную коробку, в которой, как она сказала, Иннокентий Михайлович хранил все самое дорогое для себя. В коробке было много чего, но я запомнил две вещи: это солдатская медаль «За отвагу» и пожухлая фронтовая газетка времен войны, в которой была напечатана статья «Подвиг ефрейтора Смоктуновича». В ней рассказывалось о том, как он со своим отделением переправился через реку и, закрепившись, долгое время удерживал плацдарм.

Я уже не помню, при каких обстоятельствах Смоктуновский говорил мне:

— Если я почувствую когда-нибудь, что самое лучшее уже сделано и что отсюда вот сюда уже больше ничего не поднимается, — он сделал такой жест: составленные ладонями вверх руки, прижатые к животу где-то у солнечного сплетения, поднял к самому горлу, отчего плечи его пошли изломом кверху, — я не стану стреляться или вешаться, а просто буду спокойно зарабатывать деньги. Деньги еще никому не помешали, денежек лишних не бывает, и чем больше их у тебя, тем спокойнее на душе.

— А в моей деревне Немятово мужики говорили: всех денег не заработаешь, — ответил я ему. — Сколько принесешь домой на ляжке, то и гожо.

— На ляжке? — удивился он.

— Мужики немятовские были потомственные плотники-отходники. Они осенью уезжали в отход, в другие края, строили там, а потом, к весне, возвращались домой с заработком. Деньги хранили в кармане штанов, зашпиливали булавками. Вот и говорилось: принести на ляжке.

— Я их понимаю и тоже считаю, что сколько заработаешь, то и гожо. Вы не подумайте, что я жаден к деньгам. Мне доставляет удовольствие их зарабатывать. Вот, моя Соломка (*его жена Саломея, Суламифь. — А.К.*) ругает меня, что я часто соглашаюсь выступать где-нибудь в Доме культуры, мол, зачем губить здоровье за какие-то гроши. А когда вернусь домой, спрашивает: сколько?

Однажды пришлось видеть уморительную сценку. Иннокентий Михайлович заехал к своей теще сразу после расчета на киностудии. Дело было зимой в декабре. Он был в просторном свитере с широким воротом. На столе лежал целлофановый мешочек для продуктов с запечатанными банковскими пачками в крупных купюрах. Смоктуновский одиноко сидел за столом на кухне, мы с

Широй Григорьевной стояли в дверях, на пороге, заглядывали из коридорчика, изображая зрителей. Иннокентий же Михайлович сидел, пригорюнившись, с наигранной тоской смотрел на мешочек. (Я замечал, что он почему-то деньги и какие-то документы носил в целлофановых мешочках.) И вдруг изрек:

— Ну, все, ребята. В этом году денег уже больше не будет.

Впервые за границу мне пришлось ехать в Болгарию, где вышла моя книга в переводе на болгарский. А Смоктуновский этим же годом, летом, прожил там довольно долго по приглашению главы социалистического государства Болгария. И вот узнав, что я еду туда, Смоктуновский посоветовал:

— Возьмите побольше денег. Там много хороших товаров, дешевые дубленки, кожа, чудная обувь. Привезете своим девочкам подарки.

— Но разрешено вывозить только двести рублей.

— А вы возьмите больше! Только спрячьте на самое дно чемодана, знаете, вот так — горизонтально. — И он с ликующим видом удачливого контрабандиста, сверкая своими лазурными глазами, опять показывал характерным жестом своих сверхвыразительных рук, как надо укладывать на боковое дно чемодана контрабандные купюры.

— Но у меня и денег больше нет! — попытался я увильнуть.

— А я вам дам! Можете после вернуть.

И Смоктуновский полез на книжную полку, встав на стул, и достал из-за какой-то книги пачечку денег. Он отсчитал пять сотенных и протянул мне щедрым жестом. И я, разумеется, не посмел отказаться, деньги взял, но, придя домой, перепрятал всю пачечку в свою секретную книгу на своей книжной полке. Возвратившись из Болгарии, я тотчас вернул деньги крестному.

В загадочной теме «гений и деньги», а конкретно — Смоктуновский и деньги — я разобрался мало, видел только то, что видел, и эти эпизоды, происходившие на моих глазах, были скорее забавными, чем поучительными. Как-то зашел я к соседям Горшманам и застал там за каноническим в те советские времена кухонным столом Смоктуновского и какого-то крепкого молодого человека. Вид у обоих был беспокойный, напряженный, Смоктуновский натянуто улыбался, но это была отнюдь не его «кувыркающая» улыбка. Молодой человек не улыбался, но был как будто сердит, взъерошен, с красным лицом. Иннокентий Михайлович ядовито-ласковым голосом говорил:

— Ну что скажешь, брательник, хорошо тебе? Приехал, живешь на всем готовеньком, да еще и машину купил задешево, дешевле и не бывает. А ты знаешь, за сколько я ее мог бы продать? Знаешь? То-то же...

Как я впоследствии понял, Смоктуновский продал родному брату старую машину «Волгу», себе брал новую, модернизированную, из самого Горького. А шуточки с братом, коих я был свидетелем, были отголоском каких-то былых, чуть ли не детских, взаимоотношений братьев.

История с его новой «Волгой», самой престижной советской машиной для того времени, оказалась драматичной, едва ли не трагичной. Смоктуновскому как герою фильма «Берегись автомобиля», создавшему лучшую рекламу для этого автомобиля, Горьковский автозавод прислал прямо с конвейера новую машину. И вот счастливый хозяин поехал от своего дома, куда доставили на автоплатформе «Волгу» в смазке, выехал на проезжую часть — и тут сорвался незакрепленный карданный вал, передним концом ударил в асфальт, пробил днище и чудом не покалечил водителя. Скандал этот был улажен быстро —

на следующий день из Горького доставили другую новую машину, причем сопроводил ее сам директор автозавода, приехавший с извинениями. И должно быть, для машины с конвейера была сделана солидная скидка, к вящей радости Иннокентия Михайловича.

Считать его жадным к деньгам — в теме гений и деньги — было бы попросту глупо. Был ли жаден к деньгам Микеланджело? Леонардо да Винчи? Бетховен? Деньги они умели зарабатывать, и деньги у них водились. Но вот таинственный вопрос: какое реальное благо принесли деньги в жизнь этих гениев? У всех троих не было семьи, детей, не владели они дворцами. Все трое умирали в одиночестве, в тягости душевной.

Смоктуновский получил все самые крупные премии государства, многие зарубежные премии, все высшие награды страны, получил квартиры в Ленинграде, в Москве, на Суворовском бульваре и на одной из Тверских-Ямских. У него была дача, были семья, жена, двое детей. Но как же так случилось, что к концу жизни он едва ли не оказался в нужде? Правда, было такое время очередной глобальной катастрофы России, когда все в стране, кроме проходивцев, рвачей и жуликов, вмиг впали в нищету. Но работяга-крестный мужественно боролся с невзгодами времени, хватался за любую работу, шел на любой проект, нравилось это ему или нет. У него было не очень здоровое изношенное сердце, слабые глаза, были головные боли, сильно расшатанная нервная система, но он работал, не жалея себя, зарабатывал на семью в окаянную пору перестройки социализма в капитализм и предательской капитуляции коммунистов в России. Смоктуновский умер, оставив семье какие-то деньги, немалую часть которых украл у нее некий жулик-скульптор, обещавший изготовить памятник на могилу великого артиста. Кроме денег он оставил большую квартиру у Белорусского вокзала, дачу и машину «Волга».

За год до его смерти я приехал в Москву из Кореи, где работал по контракту в университете. Были летние каникулы, я заехал к крестному. В его огромной квартире было много пустого пространства и мало уюта — какое-то безликое жилище, обставленное незапоминающейся мебелью. Я пришел к крестному со своей новой женой, с которой бракосочетался в ЗАГСе, расположенном в том же доме, где была последняя квартира Смоктуновского. Вот опять судьбоносное совпадение — уже которое! Иннокентий Михайлович приходил на церемонию бракосочетания и даже снял ее на свою видеокамеру, сопровождая запись комментариями, произнесенными знаменитым смоктуновским голосом... Но на свадьбу он не пошел и к себе после церемонии в ЗАГСе не пригласил, хотя это происходило едва ли не в соседнем подъезде. Его жена Суламифь, дружившая с моей первой женой Зоей, не желала принимать меня с новой супругой. А он сочувствовал мне и как-то по-доброму, грустно смотрел на мое счастье — женитьбу пятидесятилетнего писателя на тридцатилетней поэтессе. И вот мы с этой поэтессой заявили к нему через несколько лет прямо из Сеула. Он был дома один, повел нас на кухню, и там, смешно хлопая ладонями себя по бокам, быстро, весело заговорил:

— Вот, ребятки, чаем бы надо вас угостить, но чаю-то нет и ничего нет. Соломка поехала куда-то чего-нибудь добыть на другой край города, может быть, что-то и привезет. А возле нас в магазине ничего не найти, ну ничего-ничегошеньки, одна минеральная вода «Ессентуки».

— А нет ли поблизости валютного магазина? — спросил я.

— Валютный-то есть, да валюта вся вышла, ха-ха-ха! — театрально хохотнул Смоктуновский. — А вы что, Толя, при валюте?

— Можем себе позволить такую пакость, крестный!

И мы отправились, где-то недалеко на Второй Тверской-Ямской зашли в незаметный с улицы валютный магазин. И там начался спектакль одного актера — и этот спектакль видел только я, и мне грустно вспоминать его, тем более что всего через год после этого Смоктуновский умер, шестидесяти девяти лет. (А я еще жив, и мне уже семьдесят пять, я намного пережил крестного. Мы с ним были знакомы на этом свете почти двадцать один год...) Он бегал от полки к полке, набирал в корзину банки, пакеты, коробочки в ярких упаковках. Он изображал ошеломленного невиданными возможностями счастливца, которому неожиданно выпала великая удача.

— О, кофе! Натуральный бразильский. Можно я баночку кофе возьму? А можно две? Вот сыр... о, швейцарский сыр! Сыр я тоже люблю, ребята. Можно, возьму двести грамм? Что? Четыреста? Да вы что, Толя?

— Иннокентий Михайлович, берите четыреста, ведь на семью берете.

— Ах, Толя, вы очень-очень щедры! А можно еще буженинки возьму?

— Конечно, крестный.

— А вот белорыбица отварная. Рыбку я тоже люблю. Можно?

— Берите рыбу.

— Нет, Толя, вы чересчур щедры!

— Дорогой крестный, ну не мучайте меня! Берите все, что вам хочется, только не благодарите!

— Но уже долларов на двести набрали!

— Ничего, справимся!

Вот такой был спектакль, в главной роли — великий Смоктуновский. К тому времени я уже обладал абсолютным пониманием того, что Смоктуновский гений. Что он будет вечно жить, как живут Ван-Гог, Сезанн, Модильяни. Но вот одно — знать, что мой крестный такой же гений, небожитель, как и они, и другое — покупать ему отварную севрюгу и буженину! Две реальности никак не схлопывались. Какой же он небожитель, если ты покупаешь ему палку копченой колбасы и банку кофе? Когда контакты этих двух реальностей замыкаются, происходит взрыв огромной силы, в котором сгорает, дематериализуется, уходит в аннигиляцию — и понятие человеческого гения, и вкус отличной московской буженины. То есть, перефразируя поэта, — гений и буженина несовместны.

Мне очень и очень грустно, что последняя моя встреча с живым Смоктуновским состоялась при таких обстоятельствах. Через год, когда вновь на каникулах вернулся в Москву, я увидел Смоктуновского в гробу на сцене МХАТа, — неузнаваемого, как и все покойники, обложенного тяжелой горой траурных цветов...

С тех пор живым вижу его только на экранах телевизоров, на дисплее ноутбука — и когда увижу, всегда мысленно здороваюсь: «Ну, здравствуй, крестный». Но дороже этих встреч на экранах вечности были для меня те реальные встречи в бренной жизни, когда он проявлял дружеское внимание ко мне, только лишь ко мне. И были у нас всякие приключения, о которых я никогда не забуду.

В далеком прошлом, задолго еще до его ухода в бессмертие, случилась еще одна поездка в Суздаль, также зимой. Смоктуновский взял с собой и сына Филиппа, у того были зимние каникулы в Щукинском театральном училище. На этот раз мы поселились в том же самом мотеле, но бокс взяли на одну комнату больше. Я настоял на том, чтобы за кормление мы оплачивали пополам: день платить крестному, другой день мне. Такое решение принял я потому, что Иннокентий Михайлович вначале установил, что утром завтракать в ресторане мы не будем, обойдемся чаем с домашним вареньем, привезенным с собой, и остатками белого хлеба от вчерашнего ужина в ресторане. Крестный встал пораньше, и пока мы с Филиппом еще валялись в постелях, в трехлитровой стеклянной банке согрел электрическим кипятильником воду. Заботливо намазав вареньем зачерствевшие кусочки хлеба, он разливал по кружкам заваренный чай, держа в руках обернутую в полотенце стеклянную банку. Мы с Филиппом, как замороженные, смотрели на его действия, потом переглянулись, я подмигнул ему, и Филипп улыбнулся, широко осклабившись. Заметив это, крестный невозмутимо произнес:

— Ничего особенного. Хлебушек нельзя оставлять. Утром чай, а в обед накормлю вас от пуза!

И действительно, в обед он накормил нас «от пуза». Однако после ужина я и сделал предложение, что на другой день кормлю я, и пусть так и будет дальше — кормежная чресполосица, так сказать...

Вечером, сидя в большой общей комнате, где располагался спать на диване Филипп, мы разговорились, и я почему-то рассказал семейную историю, связанную с моим отцом. (Отец давно умер, Андрею Александровичу сейчас было бы больше ста лет. Царство ему небесное!) А история была вот такая. Отец родился в России, куда нелегально перебрался мой дед, принявший крещение, в надежде получить российское подданство и земельный надел. Землю он так и не получил, но у него родилось трое детей, три сына. Безземельный дед батрачил, та же участь ожидала и сыновей, но тут пришла революция в Россию, дед умер, а средний сын Андрей, будущий мой отец, обучился на рабфаке, потом поступил в педагогический институт и, закончив его, стал преподавателем русского языка и литературы. И вот он рассказывал, что в институте среди студентов-корейцев был один «перестарок», человек лет за тридцать, которому очень тяжело давался русский язык. Ему помогали его земляки, на экзаменах писали шпаргалки, засовывали их в самодельные матерчатые тапочки, в которых в тридцатые голодные-холодные ходили студенты-корейцы, — этих «коней» перегоняли ногами под столом к потному от страха студенту-перестарку, которого звали, скажем, Син Пен-Хва. И этот Син Пен-Хва с божьей помощью и помощью друзей закончил институт и вдруг исчез с их поля зрения. А пришел 1937 год, когда всех корейцев репрессировали и перегнали в эшелонных конвоях на землю Средней Азии и Казахстана. Я и родился в Южном Казахстане, в селе русских ссыльных староверов Сергиевке, куда после окончания пединститута был распределен на работу мой отец. Спустя много лет он был направлен на работу — сначала на Камчатку, оттуда на Сахалин — директором корейской школы. И вот в те годы совершенно неожиданно к нему пришло письмо от давно исчезнувшего товарища Син Пен-Хва. Оказалось, что он каким-то невероятным образом очутился в Москве, избежав всеобщей участи репрессированных корейцев 1937 года, и работал в

Учпедгизе, издательстве учебно-педагогической литературы! Этот Син Пен-Хва написал отцу, что от имени народного образования бросает клич бывшим своим однокорытникам по пединституту, чтобы они объединили, под его руководством, свои усилия в благородном деле — перевели на корейский язык учебники «Родной речи» для корейских школ, которые были открыты на Сахалине, Камчатке и Курильских островах. Отец готовно отозвался, перевел за зиму, усердно трудясь по ночам, «Родную речь» за какой-то класс и отправил рукопись Син Пен-Хва в Москву. Так же сделали еще несколько знакомых отцу учителей-корейцев. И тут почтенный Син Пен-Хва снова исчез на долгие годы. Сведения о нем получил отец много лет спустя от корейцев — москвичей, с которыми вместе учился во Владивостоке. Они рассказали, что Син Пен-Хва издал под своим именем в Учпедгизе несколько учебников миллионным тиражом и стал сказочно богат. От такого материального преуспевания товарищ Син Пен-Хва маленько свихнулся, должно быть, потерял чувство реальности, купил в Валентиновке огромную двухэтажную бревенчатую дачу, и когда у него раздавался телефонный звонок, он нетерпеливо, рывком хватал трубку и с невероятно хамским акцентом орал: «Я Син Пен-Хва! А ты кто?!»

Эту забавную историю я рассказал в тот вечер, когда вернулись из ресторана в мотель. А наутро, проснувшись, я услышал из соседней комнаты, где спал Смоктуновский, его знаменитый голос, произносивший на разные лады:

— Я СИН ПЕН-ХВА, а ты кто?

Проходила небольшая пауза, затем следовало повторно:

— Я Син Пен-Хва, А ТЫ КТО? — снова небольшая пауза, затем хохот, и новый вариант: «Я Син Пен-Хва...»

Это Иннокентий Михайлович по своему актерскому обыкновению утром разогревал голос.

Днем после обеда в вестибюле ресторана к нам подошли две местные девушки, едва живые от робости. Заикаясь, краснея и бледнея, поздоровались со Смоктуновским и представились, что они из Суздальского самодеятельного народного театра. Стало известно, что Смоктуновский приехал на отдых в Суздаль, и вот народный театр приглашает его встретиться с актерами. Я подумал: сейчас возникнут сложности, потому что Иннокентий Михайлович как раз и сбежал из Москвы, где его беспрерывно приглашали на всякие благотворительные мероприятия для народа. Но Смоктуновский очень мило, потечески обласкал оробевших суздальчанок и согласился придти вечером, после ужина.

Мы пошли втроем, Смоктуновский пригласил и меня с Филиппом. Шли через широкое снежное поле, вдали горели огни центра Суздаля, где должен был находиться театр. Девушки, приходившие отвести нас, убежали вперед, мы вольным строем следовали сзади, и почему-то нам было весело. А мороз был хорош, под ногами звучно скрипел снег. Смоктуновский был в своих излюбленных валенках. Филипп озяб и, ссутулившись, убежал вперед догонять девушек. Мы с Иннокентием Михайловичем стали обсуждать, как ему представить нас с Филиппом.

— А как представить? Ну, скажу, что Филипп мой сын, а вы мой друг.

— Нет, Иннокентий Михайлович, так не интересно. Вы крупная персона, вы не можете путешествовать без эскорта. Вот давайте мы с Филиппом будем ваш эскорт.

— Как это?

— Мы будем вашими секретарями, — вдохновенно импровизировал я. — Филипп будет секретарь по внутренним делам, а я секретарь по внешним, иностранным, я отвечаю за связи с заграницей.

На том и порешили, весело посмеиваясь, но когда мы пришли в народный театр и нас троих посадили за длинный стол рядком, — Смоктуновского посередине, — и публика с близкого расстояния уставилась на нас восторженными глазами, крестный неожиданно для меня сказал следующее:

— Дорогие друзья, разрешите представить вам моих спутников. Вот слева сидит мой сын Филипп, студент театрального института...

Вот оно как! Сына не захотел «сдавать», а вот как он обойдется со мной?

— Справа от меня мой личный секретарь, друг и сват и кум Син Пен-Хва! — и лукаво скосил на меня глаза.

От неожиданности я глупо захохотал, но спохватился, взял себя в руки и, полуобернувшись к Смоктуновскому, громко захлопал еще не разогревшимися с мороза холодными ладонями. Публика с энтузиазмом подхватила мои аплодисменты. А когда Иннокентий Михайлович закончил свое недолгое импровизированное выступление и предложил вопросы из зала, сидевший в первом ряду молодой человек, корреспондент местной газеты (как он представился) спросил:

— Можно, я задам вопрос вашему секретарю?

— Задавайте, если вам нечего спросить у меня, — широким жестом указывая в мою сторону, произнес «кувыркаясь» Смоктуновский. В зале прошел смешок.

— Нет, это я... Это мне, — начал, покраснев, смутившийся корреспондент. — Нам стало известно, что у вас скоро выходит книга... Так я хотел узнать, когда выйдет книга...

И тут Смоктуновский, немного растерявшись и чуть даже подскочив на месте, всплеснул своими длинными руками и воскликнул:

— Друзья мои! Я забыл сказать, что мой друг секретарь и сват и кум Син Пен-Хва не только мой секретарь, но и великий русский писатель Анатолий Ким!

Тут уж я расхохотался так, что чуть со стула не слетел, и публика, заразившись от меня, тоже захохотала. Не знаю, правда, отчего... А я, наклонившись к крестному, прокричал ему в ухо:

— Ну, вы даете! Если у вас в секретарях великий русский писатель, то кто тогда вы сами? Гений из гениев?

— Ну да, гений! — не моргнув глазом, парировал Смоктуновский, весело глядя на меня.

И тогда я громко ответил корреспонденту:

— Да, великий Иннокентий Смоктуновский не только гениальный актер, но и талантливый писатель. И у него через два месяца в издательстве «Искусство» выходит его первая книга ...

Только тут Иннокентий Михайлович сообразил, что произошел некий прокол, когда он «кувыркался». У него и на самом деле должна была выйти его первая книга под названием «Бремя надежд», рукопись которой помогал выправить ему я. Книга и вышла вскоре, но издатели назвали ее все же побанальнее, спокойнее: «Время надежд». После смерти Смоктуновского она

переиздавалась с моим предисловием в 1999 году, под названием «Быть!» — в самом конце прошлого тысячелетия.

Он ушел незадолго до Миллениума-2000. И он не знал про одиннадцатое сентября 2001 года. Его душа покинула земной мир, в котором я все еще пребываю, и по возрасту я уже старше своего крестного. Но остались после него неисчислимые виртуальные клоны, и когда вижу на экране телевизора кого-нибудь из них, я с радостным сердцем приветствую: «Здравствуй, крестный». И то, что он был гением, как и многие другие люди на земле, стало для меня фактом очевидным и ничуть не волнует меня. Также не волнует и то, что и я как писатель стал, по мнению некоторых моих преданных почитателей, тоже гениальным. Я с грустью вспоминаю, как Смоктуновский то ли в шутку, то ли всерьез говорил: «Я гений». Мне грустно от того, что всякая гениальность в нашем земном человеческом мире, — в том числе и его, и моя собственная, — выглядит столь жалко, грустно, убийственно беспомощно.

Но я с удовольствием и в большом веселье души вспоминаю о наших встречах — пока он был жив, пока я был жив и пока я еще жив — и все самые маленькие черточки и детали в картинах воспоминаний о моем крестном представляют для меня ценность неизмеримую, сладость неизъяснимую.

Чем больше я убеждаюсь, глядя на его работы, в подлинности этого гения, тем понятнее для меня и дороже все проявления его человеческих достоинств и слабостей, которые пришлось наблюдать за ним. Они суть такие же, как плюсы и минусы любого характера — гения или не гения на земле. Однако жизненные проявления характера Смоктуновского-бессмертного были выше обычных слабостей и намного сложнее добродетелей человеческих.

Вот он любил своего сына Филиппа, моего крестного брата, но тот приносил отцу много огорчений и страданий, за что родитель свирепо ругал своего отпрыска. Пусть простит меня Филипп, мой крестный брат, за то, что рассказываю сейчас.

Однажды, Иннокентий Михайлович зашел ко мне очень удрученный, долго не заговаривал о том, с чем пришел. Затем начал издали:

— Вы знаете, Филипп хороший мальчик, добрый, мягкий, отзывчивый. И очень талантливый. Когда был еще маленький, участвовал в школьном спектакле, ему по роли надо было размахивать флагом. Он потом спрашивал, как получилось? — мол, только я начал размахивать флагом, так все вокруг исчезло, и я не помню, что было дальше. Наверное, это было вдохновение? — спрашивал... У него талант, несомненно. Но он слабый, Толя, у него нет воли ... Одним словом, я прошу помочь мне... Из-за границы я привозил много дорогих пластинок. Я вас прошу, Толя, спрячьте здесь у себя кое-что, и если придет Филипп и спросит, не приносил ли я пластинки, скажите что нет, ничего не знаете...

Я попал в очень затруднительное положение. То что он просил, было так понятно... Однако, я не дал согласия, хотя и не отказал.

— Вещи я возьму и спрячу, но если Филипп придет ко мне и спросит, у меня ли они, я не смогу сказать, что не у меня.

— Почему? Вы так честны, что не сможете сказать маленькую ложь ради меня?

— Иннокентий Михайлович, ради вас я готов сделать что угодно на свете... Но перед Филиппом не могу... Вы нас крестили вместе. Он мой крестный брат.

— Но он мой сын! И я прошу вас сделать это для него же!

— Я могу не отдавать пластинки... Но если он спросит, не у меня ли они спрятаны, сказать «нет» не смогу, Иннокентий Михайлович. Простите меня.

— Бог простит. Ну ладно, если бы я знал, что вы откажете, не стал бы обращаться к вам, Толя. Неловко получилось. Но я никак не ожидал...

Он молча посидел минуту, мерно покачивая ногой, закинутой на другую ногу. Потом надул губы, шумно выпустил воздух сквозь них, встал и вышел, кивнув на прощанье головой. А я остался сидеть, испытывая гадкое чувство стыда — стыда за поступок, который совершил вроде бы по совести, а оказалось, что поступил бессовестно, явил черную неблагодарность к своему судьбоносному благодетелю. Но взяв вину и грех на душу, я и по сей день не представляю себе, что мог бы поступить по-другому.

Об отношениях отца и сына, сложившихся между ними по воле рока, я не хочу и не смею судить, да и не знаю об этом в достаточной мере, но по прошествии большого времени знакомства с этой семьей я могу без преувеличения сказать, что они суть высокая драма, даже трагедия шекспировского уровня. Поразительным образом эти отношения косвенно отразились в сценах между Герцогом и Скупым Рыцарем в маленьких трагедиях Пушкина, постановка Михаила Швейцера. Герцога играет Филипп Смоктуновский, барона Иннокентий Смоктуновский. Хочу сказать, что в этой единственной большой, насколько я знаю, роли сын предстал на художественном уровне, равном своему знаменитому отцу. Филипп, мой крестный брат, по моему мнению, высоко одаренный человек, и бесконечно жаль, что почему-то его актерская судьба не сложилась... В фильме поражают глаза обоих артистов, их взгляды, которые обращаются друг к другу по ходу действия. В этих глазах, в их взглядах выразилось столько отцовской тревожной страсти к сыну и такая нежная, великая, несказанная любовь сына к отцу... Я говорю не о любви персонажей трагедии — по сюжету они не были в родстве — я говорю о подлинной, великой, непростой любви отца и сына Смоктуновских, которая осталась для мира безвестной, но была выказана глазами этих актеров в небольшой сцене пушкинской трагедии.

Через некоторое время я все же был прощен, и Смоктуновский по-прежнему заходил ко мне, когда он бывал у своих, тещи и тестя Горшманов. Как и раньше, приглашал меня к себе в гости по праздникам, дарил контрамарки на спектакли со своим участием в Малом театре, в МХАТе. И я мог снова и снова видеть проявления истинной гениальности этого человека в высоком артистическом деле, — а также видеть его в житейских проявлениях, где ничего «гениального» не было.

Как-то во время визита к родным Иннокентий Михайлович с женой Суламифью и дочерью Машей зашел на недолгое время ко мне, я хотел угостить их какими-то корейскими блюдами, до которых знаменитая семья была охоча. Это я их приучил, разумеется, а моя жена Зоя отменно готовила корейскую еду. И я всегда от души радовался, когда удавалось вкусно накормить знаменитую семью. Но на этот раз вышло все по-другому: Смоктуновские поблагодарили и отказались от нашего угощения. Сам Иннокентий Михайлович объявил, что они все перешли на с ы р о е д е н и е по методу какого-то знаменитого иранского

профессора. Как я понял из пространной лекции Смоктуновского, метод этот был проявлением самого строгого вида вегетарианства, когда не только никакого мяса, но и ничего вареного нельзя было есть! Мясо нельзя было потому, что во время убийства животного в его плоти от мучений, шока, страха и, главное, безысходного протеста и ненависти к убийцам вырабатывается страшный яд, который медленно убивает мясоеда — свершается праведная месть поедаемых травоядных. А последние, как известно, никогда не варят, не пекут в огне свою травяную, фруктовую, ореховую, корнеплодную еду! Поэтому всегда здоровы, красивы, энергичны: олени, горные муфлоны, буйволы и так далее. Иранский профессор и всех нас призывал следовать примеру природных вегетарианцев. Надо брать на рынке зелень, орехи, изюм, курагу, свежие фрукты всех видов и есть их сырыми, лишь помыв чистой родниковой водой. Ею же и только ею — природной некипяченой водою — и запивать хорошо прожеванную растительную массу.

И тогда человек может прожить весь свой биологический ресурс без болезней и спокойно выйдет на рубеж столетия. Так и сказал мой крестный: сто лет проживете без всяких проблем и старости не будете знать... Признаться, мне тут же захотелось последовать примеру крестного, об этом я и сказал своей жене. Но кроткая моя жена только молча посмотрела на меня, потом пошла на кухню готовить любимое мое блюдо — «хе» из сырой говядины. И я тут же был опрокинут, смят в первую же минуту битвы за столетнее существование, к которому призывал Смоктуновский, для чего и заходил ко мне.

Битва же Смоктуновского продлилась, наверное, около месяца. Может быть, чуть больше, может покороче. Летом это началось, лето еще не кончилось, когда мы снова встретились — у Ширы Григорьевны. Вид у крестного был плачевный. Ни проблеска жизненной радости не было на его лице. Он тяжело вздыхал и, ссутулившись, сидел за кухонным столом тещи. Перед ним стояли три чашки. В одной была оранжевая курага, в другой темно-синий изюм, в третьей — очищенные мозги грецкого ореха. Крестный внимательно смотрел на весь этот великолепный продукт, дары солнечного Узбекистана, не столь отдаленного от солнечного же древнего Ирана, где проживал великий ученый, чудесный маг натурального с ы р о д е н и я. Но, видимо, маг и просветитель Смоктуновского не принес ему большого счастья. Тогда я, движимый великой жалостью к крестному, от всей души, безо всякой подспудной подлости и без злорадства осмелился предложить ему: «Может быть, пойдёмте ко мне? Есть чем вас угостить». Он встрепнулся, поднял на меня глаза — о, какой же это был взгляд, сильный, осмысленный, глубочайший, почти такой же, как в «Гамлете», в сцене с флейтой: «На мне играть нельзя-а-а!» — казалось, произнесет сейчас он, и я буду уничтожен на месте, как Гильденстерн и Розенкранц — вместе взятые. Однако крестный сказал нечто совсем другое. Кротким голосом он молвил: «Ну, хорошо... Пойдёмте». И тут в кухне появилась Суламифь. «Как тебе не стыдно, Кеша!» — прозвучал ее резковатый, чуть в нос, волевой голос. — А вы, Толя, как вам не стыдно соблазнять слабого человека!» — и так далее. Смоктуновский не смотрел на жену, отворачивал от нее лицо и что-то бормотал, — совсем как Юрий Деточкин из кинофильма «Берегись автомобиля»... Словом, он пошел со мной, и я на славу угостил любимым его блюдом — корейской лапшой «куксу», в заправке которой были тонко нарезанные ломтики мяса, яичная крошка и свежая огуречная зелень, настроганная нежными пахучими кружочками. Он

сидел у меня за столом, наворачивал большую чашу кукусу и отнюдь не выглядел несчастным... Было и такое.

Были и другие дела. Мне через многие и многие годы нищеты и безнадежности наконец-то, с легкой руки Смоктуновского, стало везти, печатали почти все толстые журналы, стали выходить книги. И пришла пора первоначального накопления капитала — выпало немного денег за переиздание моих произведений. И я сразу же решил приобретать автомобиль, ибо добираться до своей деревни Немятово прежним способом — на автобусах, затем местными попутками — стало уже невозможно. Я мечтал о вездеходе-внедорожнике, который мог бы преодолевать жуткие грязи мещерских дорог. И вот (о везение!) — такая возможность появилась! Некий директор одного московского совхоза, мой знакомец, соплеменник-кореец, предложил мне за бесценок взять у него списанный «Газик», маленький вездеход, но не с брезентовым верхом, а с наваренным самодельно металлическим!

Это был уникальный вариант счастья, но всплыл один роковой момент, который стал на пути к этому счастью. Дело в том, что в ту пору советской жизни вездеходы-внедорожники стояли на особом учете, и в случае военного положения подлежали мобилизации. И чтобы купить такой вездеход или продать его, нужно было получить специальное разрешение в одном военном ведомстве. А получить такое разрешение или добиться аудиенции у начальства было мне, ничтожному, совершенно невозможно. И я, мелкий негодяй, обратился к Гению с просьбой пойти со мной в военное ведомство к какому-то майору Прохоренко и молвить за меня словечко. Выслушав меня, крестный только вздохнул и, нацепив какие-то ордена на пиджак, отправился «покувыркаться». Поступок этот тем более неблагоприятный с моей стороны, что я, с помощью Смоктуновского получив разрешение от начальства, почему-то не воспользовался им, и вездеход этот, ГАЗ-69, так и не был куплен мной.

Когда же я купил свою первую машину — по его совету, — советский внедорожник «Ниву», Иннокентий Михайлович давал мне уроки практической езды, и вот как это выглядело. Сидя рядом на переднем сидении, он наставлял:

— Учтите, Толя, наши машины такие слабенькие, не скоростные — никогда не разгоняйтесь. Не выходите на скорость выше предписанного, на трассе и в городе. В городе ваша полоса — вторая, держитесь на шестидесяти километрах, и не надо больше! Вам будут гудеть, обгонять вас и смотреть на вас с презрением, не обращайтесь внимания. Но тот, кто понимает правильную езду, будет только уважать вас. Будет ехать сзади и думать: вот парень ездит грамотно, молодчина!

Однажды он высказал мне комплимент, при воспоминании о котором до сих пор, чувствую, как краснею от удовольствия. Мы по бульварам подъезжали к улице Горького, и перед самой Пушкинской площадью загорелся красный светофор. Я вовремя заметил и затормозил, постаравшись сделать это как можно мягче, ведь я же вез крестного! И он похвалил:

— Замечательно, Толя! Как роскошно вы тормозите!

О, было чем мне гордиться!

Летним чудным днем мы отправились со своими детьми на прогулку через березовый лес у Рублевского шоссе. За лесом был Серебряный бор, но с другого берега Москвы-реки, не со стороны знаменитого городского пляжа. Рублевский лес был тогда свободен для прохода, вольготно стояли старые рослые березы,

зеленые пролеты леса далеко просматривались. В этом лесу я зимой и летом прогуливал свою собаку Орлана, высокородного зверового принца из рода западносибирских лаек. Мы с ним часто гоняли белок, натывались на взрослых лосей — ходили они тогда по Рублевскому лесу. В оврагах мы даже натывались на кабанов. Тогда не было там, вдоль Рублевки, никаких четырехметровых заборов, отгораживающих дворцы ново-русских богачей, и от шоссе до самого Серебряного бора, до Москвы-реки, можно было пройти пешком за какой-то час.

Мы шли с девчонками — Машей и Диной, моей было лет пять, Маша чуть постарше. Было радостно и светло идти по чистому от подлеска зеленому изволу плавного бугра, постепенно продвигаясь к реке. Дети наши, как и всякие дети на свете, неутомимо бегали под огромными белыми берегами. Иннокентий Михайлович подходит к ним и, запрокинув голову, с восхищенным видом разглядывает вершины, тихо раскачивающиеся и негромко ропчущие листвою в вышине под ветром.

— Ах вы миленькие! Славные! Какие же вы красивые! — бормотал он, и улыбка у него на лице была вполне счастливой.

Мы добрались до реки, устроились на высоком бережку, расстелив одеяла на траве и усадив на них девочек. Только мы сами разделись, собирались окунуться в воду, как случилось что-то непредвиденное. Совершенно неожиданно среди ясного солнечного дня стремительно налетела гроза с молниями и громом. Полил обвальным холодный ливень, быстро перешедший в довольно крупный град. Мы завернули детей в одеяла с головой и усадили на землю на корточки. Сами, мокрые, встали над ними, совершенно растерянные и беспомощные. И вдруг я увидел, как возле детишек на земле поползли рукава дождевых ручейков, неся на себе бумажки, травяную труху. Иннокентий Михайлович с мокрыми, прилипшими к лицу волосами, в мокрой расстегнутой рубашке, начал ходить взад-вперед возле детей и, сложив руки на груди, поднял лицо к небу, стал молиться: «Господи, помоги! Господи помоги!»

И тогда я вспомнил, что не очень далеко расположена некая автобаза, и предложил Смоктуновскому: «Хватайте детей за руки и к автобазе!» Мы так и сделали — и вскоре с мокрыми испуганными замерзшими детьми забежали в будку проходной автобазы. Там женщины разохались, перехватили у нас детей, раздели и начали осушать полотенцами. Нам со Смоктуновским выдали старые ватные телогрейки, и мы, скинув мокрые рубахи, живо влезли в замасленные сухие ватники. Не знаю, как выглядел я, но Гений смотрелся весьма экзотично в мокрых подвернутых штанах, из-под которых торчали жилистые босые ноги с тонкими щиколотками, в просторной распахнутой телогрейке, из которой проглядывала худая волосатая грудь.

Собрался вскоре народ, артиста, видимо, узнали. Женщины, молодые и не очень, смотрели на него восторженными глазами. Мужики смотрели более сдержанно, но один из них, здоровенный работяга в спецовке, подошел к нему и с игривым выражением на лице слегка толкнул его в плечо своим плечом, и спросил:

— Деточкин, что ли?

— Да, да! Я Смоктуновский! — обрадовано произнес он и тут же, без паузы, торопливо выпалил:

— А нельзя ли машину достать?

— А чего нельзя? Можно. Сейчас такси вызовем.

И вскоре мы, одетые в высушенные рубахи, девочки в сухих платицах — где-то быстро выпарили нашу одежду — садились в машину с зеленым глазком на переднем стекле, а толпа народу, собравшаяся провожать нас, обступила ее с двух сторон. Собираясь сесть в машину, Смоктуновский, уже поставив одну ногу в салон, замахал обеими руками над головой и провозгласил торжественным голосом:

— До свидания, друзья! До свидания! Спасибо за все!

И действительно, казалось, что он прощается с лучшими друзьями, у которых славно погостил. А я смотрел на эту сценку, испытывая смешанное чувство умиления, что Гений так запросто общается с простым народом, и досадой, что он делает это излишне театрально, не совсем искренне — «кувыркается» не к месту, словом...

А ведь народ его любил... Любил и не любил. Я знал его фанатичных поклонников и среди самой рафинированной творческой интеллигенции, и среди так называемого простого народа, не имеющего к так называемому творчеству никакого отношения. Знал среди «интеллигентов» и лютых (почему-то!) ненавистников Смоктуновского, а среди «простых» — беспредельно, почти религиозно приверженных к нему фанатов.

Вот рассказ об одном из них, вернее — одной из них. Была такая девушка из приволжского города Хвалынска, которая бросила мужа и приехала в Москву только затем, чтобы иметь возможность увидеть его живого, не экранного. Никаких изначальных особенных надежд у нее не было, она просто хотела живым лицезреть свое божество и убедиться, что оно реально ходит по земле. В Москву из Хвалынска она приехала уже подготовленная, довольно образованная в «смоктуноведении». Она и просветила меня, что по всему Союзу ССР созданы и существуют подразделения «секты смоктунов». Это такие общества фанатов Смоктуновского, отделения которых действовали в Москве, Ленинграде, в Киеве. Фанаты переписывались, обменивались материалами, устраивали фестивали. Назовем ее, скажем, Анна. Она приехала в столицу с небольшой папкой, наполненной материалами «смоктуноведения»: фотографиями с его автографами, вырезками из газет и журналов, где были рецензии, интервью, статьи самого кумира. Анна пошла работать на стройку, чтобы получить временную прописку лимитчицы в Москве, жила в общежитии. Через некоторое время устроилась дворником в ЖЭК, получила служебную комнату в полуподвале. И наконец, в апофеозе своей подвижнической деятельности, Анна устроилась уборщицей на «Мосфильм» — и это для того лишь, чтобы как-нибудь увидеть Смоктуновского, проходящего по длинному коридору киностудии, и поздороваться с ним: «Здравствуйте, Иннокентий Михайлович». Он вежливо, с широкой смоктуновской улыбкой отвечал ей и проходил мимо. Так продолжалось много лет, Анна постарела, подурнела, потеряла все зубы, осталась одна-одинешенька, зато вся ее дворницкая комната в полуподвале, все стены были тесно залеплены его фотографиями, портретами с автографом. Их у Анны набралось тысячи... И за много лет всякого печатного материала у нее накопилось несколько солидных папок. Все они были пронумерованы и рассортированы по жанрам — интервью, рецензии, его воспоминания, собственные статьи... Вот такая история.

В воспоминаниях «Три ступеньки вниз», текст которых я подготавливал к печати, есть такое место: «Когда же вдруг на улице, у выхода из театра или у подъезда моего дома меня перехватывают взволнованные юноши, девушки, или

читаю полные тревоги письма с просьбой совета — как попасть на сцену, стать артистом — я знаю наверное, что все это было, было, что это именно я проник сквозь жестокое горнило непонимания и выстоял потому только, что я шел, зная, чего хотел... И единственным советом... в этом прекрасном, но тяжелом пути к самому себе были Вера, Надежда и Любовь».

Однажды после его приглашения на спектакль «Царь Федор Иоаннович» я подошел к служебному входу Малого театра, куда он вынес мне контрамарку. Когда он передавал билет, откуда-то сбоку подошла девушка, миловидная, молоденькая, по неуловимым признакам явно провинциалка, вся трепещущая от волнения, — и безмолвно протянула Смоктуновскому три алые розочки. Она была небольшого роста, Иннокентий Михайлович буквально навис над нею, когда, принимая от нее двумя руками протянутые цветы, говорил вздрагивающим от волнения голосом:

— Милая! Хорошая! Ну, зачем вы это делаете! Ведь я вижу вас не впервой, заметил давно! Цветы нынче такие дорогие! Зачем тратитесь, милая...

Было в его голосе столько искреннего чувства, столько сердца, такое понимание безнадежного устремления юной души к своей безнадежной любви и мечте, что мне, постороннему, стало не по себе...

Но были люди и другого порядка, ярые ненавистники Смоктуновского. Один из них, некто Г-в, мой однокорытник по Литинституту, просто сотрясаясь в мелкой дрожи от ненависти, когда при нем речь заходила о Смоктуновском. А парень он был весьма толстый, рыхлый, с пузиком и вторым подбородком, и все это довольно неприглядно дрыгалось из стороны в сторону, когда он, не сдержав сердца, вскакивал с места и начинал изображать какую-то несуществующую походку ненавистного артиста, подсаживаясь то на одну ногу, то на другую, приговаривая при этом:

— Христосик... Христосик...

Не знаю, чем не угодил бедняге Г-ву мой крестный, но ненависть Г-ва к артисту была велика, и она смахивала на желание свести с Гением какие-то личные счеты. Хотя какие личные счеты могут быть между карликом и титаном? Между рабом и Царем?

Мой Добрый Царь. Так я стал называть его после спектакля в Малом театре, когда мне удалось наконец-то посмотреть «Царя Федора Иоанновича».

Голос, четкая дикция, неразмеренные, торопливо догоняющие друг друга, но всегда внятные периоды речи, фигура и осанка — все это было мне известно, дорого, я уже давно знал актера и человека Смоктуновского. Но вот появился на сцене Царь в длинном плаще, в ботфортах. И я совершенно забыл о том, что еще накануне днем вместе с этим человеком гулял по березовому лесу, и с нами были наши девочки-дочурки...

Царь хромал, его ушибла лошадь. Опираясь на жену-царицу, он шутил, разговаривал с Борисом Годуновым, потом ушел обедать.... Ушел, но осталось после него впечатление, — по тому, как он опирался, тяжело наваливаясь, на царицу, как расслабленно двигался, — что Царь слаб духом и плотью, возможно, чем-то болен. И тайный телесный недуг будет неумолимо вершить свое дело, и вполне разумная жестокость, затаившаяся вокруг него, погубит доброго Царя.

Ощущение надвигающейся беды, трагическое подсознание пробудились во мне, глухая тревога не отпускала сердце. В антракте я пошел курить, нечаянно

взглянул в зеркало — и на фоне дымной полумглы курительной увидел свое несчастное лицо. Я поправил галстук и скорее пошел в зал, чтобы дальше мучиться в тревоге, и в этой тревоге за человека ощутить самое сокровенное своей собственной души.

Финал пьесы как финал любой судьбы. Человек рухнул у нас на глазах, его подружили. С ним вместе пала на землю и была растоптана прекрасная, но незащитная доброта. Однако сама погибель, отчаянное и беспомощное поражение его породили из огня и пепла катарсиса чудную силу в наших душах. Мы постигаем свою сущность божественных творений благодаря наличию в душе этой силы — доброты.

Мы, его современники, в течение многих лет могли наблюдать, как зарождалась и утверждалась его династия. Мы, имя которому легион, слышали, видели этих всегда странноватых, разноликих, но с яркими фамильными чертами представителей династии. Вот имена, вернее, гражданские псевдонимы некоторых из них: Илья Куликов, Лев Мышкин, Гамлет, Деточкин, Чайковский, чеховский Иванов... Необычный царствующий дом безграничного, в сущности, государства, граждане которого именуются зрителями.

Всякая ветвь человеческая, лелеемая в первозданной чистоте, обладает своими собственными качествами, родимыми пятнами, своеобразием стати или причудами души. Потомкам нашего Царя также были свойственны неповторимые признаки рода: своевольная пластика движений, чуждая театральной позы, и голос, говор — то замедленный, затухающий, то взволнованно скоропалительный, и особая физиономия чувства, выраженная игрою лица и, главное, безмолвным языком поразительных мечущихся глаз.

Я ставлю царя Федора Иоанновича во главе династии не по хронологии и не по ранжиру творческого уровня созданных артистом художественных образов на сцене и на киноэкране. Я отношу Царя к корню генеалогического древа всей Смоктуниады потому, что в этом его образе явлены самые яркие признаки рода. Основой их является доброта человеческая.

«Моего Гамлета во многих рецензиях называют д о б р ы м Гамлетом (*разр. Смоктуновского*), — пишет он сам, — это, мне кажется, справедливо.... Именно в этой-то доброте многие видели новое, современное прочтение».

Таковыми были не только Гамлет, но и князь Мышкин, и Деточкин, и Чайковский — добрые, страдающие в этом мире через свою доброту, но вдруг приходящие в ярость... и опадающие, никнувшие в печали и философской отрешенности.

Но царь Федор в исполнении Смоктуновского открывает нечто большее, чем каноническая христианская кротость. В этом образе предстает человек, в котором содержится космическое, вселенское начало доброты. То начало, что проявилось в человеке и через человека как знак его Божественного происхождения. Это обнаружилось в людях гораздо раньше христианства — раньше всяких религий, установленных нравственных гуманистических норм и законов. Великий актер и великий человек — Иннокентий Смоктуновский — своим творчеством показал, что доброта была заложена в человеке — она была запрограммирована Творцом как фундаментальная основа нашей духовной эволюции.

И тайна необычайного воздействия на современников, тайна его царской власти над зрительскими душами заключается в том, что все лучшие образы не

только раскрывают доброту как движение и устремление человека, но постоянно, в каждом мгновении своего эстетического бытия пребывают в ней, выказывая его пластическую, музыкальную, психологическую конкретную сущность.

Все мучения, даже гибель носителей этой доброты, не проходят для нас бесследно. Кажется, примеры их поражений и падений чем-то даже увеличивают нашу собственную сопротивляемость, нашу решимость противостоять злу. Таковы для нас уроки катарсиса, усвоенные через трагедии князя Мышкина, принца Гамлета, царя Федора.

Посмотрев «Царя Федора Иоанновича», я, потрясенный, вернулся домой и всю ночь до утра не спал, писал статью об увиденном театральном шедевре, о великой роли, сыгранной Смоктуновским. Статью эту вскоре напечатали в одном из «нетолстых» литературных журналов, главным редактором которого был некто из амбициозных писателей-чиновников, были такие в советские времена. Я был этой статьей доволен, те, что читали, тоже были довольны, но вдруг редактор-писатель вызывает меня к себе и предлагает, чтобы я привел к нему Смоктуновского. Для чего? А для того, чтобы он пришел в редакцию и выразил свое большое удовлетворение тем, что статья появилась в журнале. Но зачем это Смоктуновскому — выражать свое удовлетворение? И тогда редактор раскрыл карты: из ЦК Комсомола последовал звонок, там почему-то сильно недовольны статьей. Но все же — причем тут Смоктуновский? А оказалось, что если он самолично придет в журнал и скажет, что очень доволен статьей, об этом можно доложить на самый верх ЦК ВЛКСМ — тем самым журнал сумеет избежать неприятностей... Мне пришлось рассказать об этом крестному. Он только вздохнул, — все понимая, посадил меня в машину и поехал «кувыркаться» в журнал... Но редактор, этот природный конъюнктурщик и трус, одновременно самый отважный боец за каждый новый властный режим, устанавливавшийся в стране, чудовищно унизил меня и, главное, унизил моего великого крестного! Сидя за своим редакторским громадным столом, он даже не оторвал свой конъюнктурный зад от редакторского кресла и лишь величественным движением руки показал на стул перед собой: «Здравствуйте, Иннокентий Михайлович! По какому случаю к нам?» Мне нужно было бы тут же пристрелить его на месте из пистолета, но, к сожалению, я забыл дома пистолет. Добившись необходимого прецедента, позволяющего ему доложить наверх, что сам Смоктуновский, герой соцтруда и лауреат, был у него и благодарил за статью, писатель-чиновник-редактор даже чаю не предложил Смоктуновскому.

А теперь об очень важном для меня. Дело в том, что я его совершенно не узнавал, — так сказать, физически и психологически, — когда он готовился к новой роли и заранее глубоко погружался в эту роль, перевоплощался в героя. Перемены во внешности, в поведении, походке и даже росте были разительными — все это изменялось в нем, и я не узнавал Смоктуновского.

Вот однажды я зашел к соседу Горшману и говорил с ним о чем-то, стоя в узенькой, метр шириною, проходной на кухню. Из комнаты вышел и направился туда какой-то лысый, толстый человек в розовой рубашке навыпуск. Не понравилось мне одутловатое, закрытое, отчужденное лицо этого человека, глаза не понравились, жесткие, неприятные. Ко всему этому он, проходя мимо нас с Менделем Хаимовичем, бесцеремонно толкнул меня корпусом и, как-то некрасиво, не по-мужски оттопыривая зад, унес его в кухню. Я, стараясь не выдавать

голосом свою неприязнь к незнакомому гостю соседа, спросил у него: «Кто это у вас?!» Мендель Хаимович на это ответил сначала удивленным взглядом своих черных глаз, потом молвил: «Вы что, Кешу не узнали?»

Да, Кешу я не узнал, и это потому, что он тогда готовился сразу к двум ролям в кино — Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» и эпизодического Гения из «Живого трупа». В обеих этих ролях я узнал того самого неприятного типа в квартире Горшманов, который толкнул меня в тесном коридорчике, проходя на кухню. А в кинофильме «Преступление и наказание» я услышал, что Порфиша страдает геморроем и походка, стало быть, у него оттого и специфическая. В «Живом трупе» эпизодический персонаж из кошмара Федора приближен к дьявольскому образу и оттого метафизически неприятен. Словом, фактурно — по внешности — два образа были похожи, актер перевоплотился в малопривлекательного на вид одутловатого человека с вывернутыми губами. И буквально столкнувшись с ним в проходе на кухню у Горшманов, я совершенно не узнал в нем крестного.

В том и заключалось свойство Смоктуновского-актера — умение настолько перевоплощаться в образ, растворяться в нем, что совершенно исчезал куда-то облик самого Смоктуновского, его человеческий оригинал.

Как-то я шел по дорожке от дома к метро «Молодежная», недалеко от которого и находился квартал «хрущевок» и наш дом по Академика Павлова. Дорожка была извилистой, входила в купу деревьев, и вот оттуда, из аллеи, появился навстречу высокий человек. У него была летящая походка, как бы устремленная ввысь, он был бородат, крупно-курчав, очень красив. Сблизившись со мной и проходя мимо, он неожиданно откровенно нагло выставил локоть и довольно сильно толкнул меня в бок. Я живо обернулся, мгновенно расвирепев, и раскрыл рот, чтобы достойно по-русски обложить этого интеллигентного с виду человека, который схамил, чувствуя себя, видимо, намного статуснее меня, неважно одетого нацмена азиатского облика. Но я ничего не успел произнести, потому что услышал знакомый голос с любимыми, дорогими для меня звучными модуляциями:

— Что это вы, Толя, не хотите со мной здороваться? Что случилось, я вас чем-то обидел?

Передо мной стоял Смоктуновский, в прекрасном костюме, с галстуком, прищурившись, хитро улыбался. Он решил, видимо, «покувыркаться». Вид у него был торжествующий. Ему было приятно, должно быть, что он так хорошо «спрятался» за свою новую личину. Он тогда готовил роль Чайковского в одноименном фильме. А я мгновенно проникся догадкой, в чем суть его гениальности как актера...

Никакого ведь у него особенного театрального образования не было — только год на каких-то «актерских курсах» в студии послевоенного Красноярского театра. Не усваивал он в упорных сценических тренингах ни системы Станиславского, ни школы Михаила Чехова. А просто он, как говорил мне, на войне не раз смотрел в лицо смерти. И заглядывая в ее темные глаза, — именно в то мгновение, — молодой сибирский паренек, длинный, худой, синеглазый, обретал навыки переселения в иные души. Смертельная угроза и смертная мгла, наваливаясь на человеческую душу, подвигают ее к реинкарнации и метаморфозам. При готовности перехода в другое состояние, у порога смерти, душа и обретает возможность преображения. Способность полного духовного перевоп-

лощения и есть свойство гениальности. Она в том, что, будучи живой, душа преодолевает порог смерти и восходит к б е с с м е р т и ю. И человек-гений обретает безграничную творческую свободу — состояние существования души без смерти. Потому — и б е с с м е р т и е.

Но любой Гений — человек, а человек смертен. Умер и Христос, в которого Смоктуновский верил, «как темная деревенская бабка», по словам моего крестителя, отца Владимира Рожкова. Не знаю, какова была у крестного воцерковленная жизнь, но я видел и чувствовал, что верует он глубоко, беззаветно и благодарно. Он не раз говорил, что в самых страшных смертельных обстоятельствах чудовищной войны, в которой ему пришлось участвовать с семнадцати лет окопным солдатом, командиром отделения автоматчиков, — за все годы фронта он ни разу не был серьезно ранен. Он смиренно, просто и без всякого мистического пафоса говорил, что его берегла высшая сила.

Иннокентий Михайлович однажды пригласил меня на первую репетицию в театре (не помню уже, в каком), где ему предложили поставить «Царя Федора Иоанновича». И вот, набрав труппу, он созвал актеров на первую установочную встречу. Почему он меня пригласил, я не знаю, потому что в театральном мире я еще был никто, пьесы мои должны были появиться на свет нескоро, а до постановки их на театре, стало быть, было мифически далеко. Смоктуновский серьезно решил попробовать себя в режиссуре и в труппу спектакля собрал хороших актеров. И вот первая встреча — она продлилась совсем недолго. Смоктуновский начал с того, что спросил, знают ли актеры и актрисы «Отче наш». Коллектив, как говорится, замер на продолжительное время в почтительном молчании. Тогда Смоктуновский, словно в своей роли в Малом театре, пристально обвел испытующим, напряженным взглядом царя Федора лица окружающих его актеров. Напряженное молчание затягивалось. И он обратился к одному, не старому еще актеру В.:

— Вот вы, скажите, пожалуйста, знаете «Отче наш»?

Молчание. Отрешенный, очень сложный, ускользающий в сторону взгляд темных красивых глаз артиста В... И тогда Иннокентий Михайлович объявляет:

— Ну, друзья мои, на сегодня все. К следующей встрече я всех прошу выучить «Отче наш», просьба, разумеется, к тем, кто ее не знает. Вы хотите участвовать в пьесе, которая является истинно христианской, как вы сможете играть в ней, не зная этой молитвы?

Не помню, были следующие встречи или нет, но я больше не устаивался быть приглашенным на них. Кажется, дело это — постановка Смоктуновским «Царя Федора Иоанновича» — так и не состоялось.

Однажды во время летнего деревенского проживания в Мещере, в Немятово, я заразился отвратительной болезнью — опоясывающим лишаем. Это было так мучительно! Герпесные пузырьки выскочили на голове, шее, на пояснице, я от них криком кричал. Бедная моя жена Зоя ухаживала за мной с испуганным лицом, приносила еду на веранду, которую я построил своими руками и где лежал в одиночестве на мучительном одре болезни. Крестик, которым благословил меня мой крестный, я снял со своей уязвленной волдырями шеи и положил на деревянную табуретку у изголовья постели. И вот однажды крест куда-то бесследно исчез. Никто, кроме жены, ко мне на веранду не входил. Крестик был самый дешевый, оловянный, на простом шнурочке, который когда-то мой

крестный вддел в его ушко, озабоченно оттопырив нижнюю губу, нацеливаясь сквозь стекла старушечьих очков...

Слав Богу, благодаря слезным ночным молитвам я вылечился от этого жуткого недуга. Когда осенью вернулся в Москву и мы встретились с Иннокентием Михайловичем, он ошаршил меня следующим признанием:

— Вы знаете, Толя, я потерял свой крестик. Купался, отплыл недалеко от берега, а когда вернулся, его не было на шее. Жаль, это был дорогой крестик и цепочка золотая...

Я ему сообщил и о своей потере. Он ничего не высказал по поводу такого странного совпадения, я тоже не нашелся что сказать. Так до сих пор не могу разгадать, к чему было такое знамение для нас. Ни к какой мистической загадке я не хочу этот случай подводить — я просто рассказал о том, что произошло.

А после произошло и многое другое, вдребезги развалилось могучее государство. Я своей рукой разбил свою семью, пережил на одной поэтессе, уехал с нею в Корею. Там прожил четыре с половиной года, а когда вернулся в Москву, крестный умер...

Мой крестный умер в 1994 году, но он давно и всегда жил б е с с м е р т н о, широко, вольготно, вне времени, потому я и встретил его совсем недавно, когда пересматривал кинофильм «Чайковский» по телевизору. И я поздоровался: «Здравствуй, крестный!» В этом фильме я узнал того самого красивого, возвышенного человека, который шел навстречу мне по дорожке к станции метро «Молодежная» и подшутил надо мной, и невинно торжествовал по тому случаю, что я, как последний простофиля, попался на его розыгрыш. Помните, как «покувыркались», разыграли меня, Иннокентий Михайлович? Встреча с вами и пример всей вашей жизни открыли для меня философию б е с с м е р т и я. Она была в том, что человек живет свой срок и умирает, но остается в вечности, потому что с ним навечно пребывает и то, что было в его д о ж и з н и, и то, что будет в его п о с л е ж и з н и. Мой крестный Иннокентий Михайлович Смоктуновский пребывает сейчас в своем посмертном существовании, послежизни — намного значительнее, чем при жизни.

Конечно, это постоянный непрекращающийся подвиг, нелегкая работа — быть Гением, очень тяжелый, опасный для души труд. Потому что каждый раз, проходя через полное перевоплощение, она, душа артиста подобного накала творческой страсти, должна пройти что-то вроде клинической смерти. Смоктуновский, художник того же титанического плана, как и Микеланджело, схватываясь с ролью, как последний с глыбой мрамора, не мог уже отойти от своей роли-глыбы ни на шаг, ни на миг. Пока постепенно, отсекая от собственного существа кусочек за кусочком, не превратит его наконец в Давида с пращой. Не отражается ли каким-то образом на физическом и психическом здоровье артиста искусство полного перевоплощения? Конечно, если роль прекрасна, возвышена, как роль Моцарта или Чайковского, если образ исполнен силы и энергии красоты, то перевоплощенная душа сама обретает эту силу и энергию и облачается в светоносную ауру гармонии. Но если роль отягощена грязью алчности и наполнена чернотой удушливой злобы — Скупой рыцарь, Иудушка Головлевы, Сальери — не отражается ли это на здоровье артиста, не деформирует ли в уродливую сторону его телесную и душевную сущность?

Мне однажды надо было почему-то обязательно встретиться с крестным, я созвонился с ним и приехал к нему на Суворовский бульвар. Нажимаю звонок,

дверь распахивается, и на пороге появляется какая-то лохматая старуха в неряшливо запахнутом халате, с костлявыми голыми ногами, торчащими под коротким халатом. Она этими неприлично оголенными ногами в тапочках еще и сучит на месте, перебирает ими, поджимая то одну, то другую. И смотрит на меня эта старуха, как змея, неморгающими глазами и как-то гаденько облизывает языком губы. Я сдержано спрашиваю у старухи, дома ли Иннокентий Михайлович, — и тут он принимается хохотать, довольный тем, как удачно «покувыркался» передо мной. Он тогда начинал работать в МХАТе над Иудушкой Головлевым. Очень болезненная, неприятная роль, но абсолютно убедительная и достоверная. Болезненная мерзость русского характера, прячущегося в складках мантии сладкоречия и удушливой ласковости.

Но вот мы вошли в квартиру, и в прихожей на высоком застеленном бумагой ящике я увидел сидящую на месте и что-то усердно уплетающую, всюю работая щеками, толстенькую морскую свинку. Смоктуновский нагнулся к ней и стал подкладывать кусочки нарезанного яблока, ласково приговаривая: «На, ешь, ешь, дурочка моя! Хрюня! Хрюнюшка славная!». И лицо его было отнюдь не то самое, что у давешней старухи-Иудушки, — Иудушка Головлев вмиг исчез, улетучился с этого лица! Стоял передо мной уже не очень молодой, добрый, замечательный мой крестный в стареньком домашнем халате.

Не помню когда и при каких обстоятельствах он говорил мне, но я помню его голос, произносивший следующее: «Я могу на сцене повернуться спиной к зрителю и говорить шепотом — и меня услышат. Перестанут дышать, замрут — и услышат. Я заставляю себя услышать, потому что, когда веду роль, я говорю из другого пространства, чем сценическое пространство. На фронте моя рота была окружена на какой-то мызе, мы отстреливались, но патроны кончились, и командир приказал мне ползком переползть по земле и, словно Гаврошу, собирать с убитых боеприпасы. Я пополз, приказ есть приказ. Я собирал патроны, пересыпал из подсумков убитых себе в вещмешок. И вот беру у одного, а он вдруг открывает глаза и смотрит на меня — уже *оттуда*. Е г о в этом перерубленном снарядам теле не было, тело было абсолютно мертвым. И только глаза смотрели на меня, но они были *там*! И потом, когда стал актером, я начал понимать, что любая роль, любой образ — существо не нашего мира. Этот персонаж, — если исторический, — уже давно умер и ушел из нашего мира, а если персонаж выдуманный, все равно его нет, и не было его в нашем мире. Все, кого мы, лицедеи, изображаем, — они из *того* мира. Я это понял, и в этом моя актерская сила, с помощью которой я заставляю зрителей смотреть на меня как замороженных и услышать все, если даже я скажу это шепотом. Я нахожусь в *том* мире и *оттуда* говорю им в самое ухо, обращаюсь напрямую в их душу.

В «Гамлете» принц Датский умирает, опустившись на каменный приступок скалы, откинув руку. Я нигде в другом фильме или на сцене не видел, как человек, всего за несколько минут до этого отважно сражавшийся за жизнь, умирает у меня на глазах — очень просто, без театральности, по-настоящему, окончательно и бесповоротно. Только что сотрясаемый страстями, мучительно корчившийся от невыносимых душевных ран, — отравленный Гамлет сел на каменный уступ, откинул руку, уронил голову и мгновенно ушел туда, откуда человеку возврата нет. Умер у меня на глазах п о - ж и в о м у.

Как умер сам Смоктуновский, я не знаю. Я еще отрабатывал университетский контракт в Корее, куда уехал в девяносто первом окаянном году, в дни

ГКЧП, а в августе девяносто четвертого вернулся на время каникул в Москву — и однажды узнал, что крестный умер. Не помню, каким чудом мне удалось прорваться в Художественный театр, на сцене которого происходили гражданская панихида и прощание со Смоктуновским. Крестного я увидел в последний раз, лежащим в гробу, пройдя мимо него в медленно текущем потоке людей, пришедших в театр попрощаться с ним. С правой стороны от гроба сидела его семья: жена, дети — Филипп и Маша, а также моя первая жена, которая была близка с Суламифью. Я положил цветы на огромную гору цветов, заваливших гроб с телом крестного. Лицо его было, как у всех усопших, совершенно другим, незнакомым, беспощадно чуждым ко всем оставшимся в этой жизни, в том числе и ко мне. Так, на дальних дистанциях смертного отчуждения, я прошел мимо и попрощался навеки со своим крестным.

Я не посмел подойти и выразить соболезнования жене покойного, ибо с нею рядом сидела бывшая моя жена, которую я бросил и уехал за границу вместе с новой молодой женой. Зоя была близка Суламифи по тем душевным качествам, которые нравились супруге Смоктуновского, а также и по наследственным симпатиям ее родителей в отношении моей первой жены, матери моих детей, — человеку кроткому и добросердечному. Отец Суламифи, Мендель Хаимович, художник-акварелист, обожал Зою, писал ее, дружелюбно приветчал, но особенной их дружбе содействовало одно печальное обстоятельство. Старый художник был давно болен туберкулезом легких, долгие годы лечился, а моя жена заболела сразу после рождения второго ребенка туберкулезом почки. И вышло так, что они, бедняги, подолгу лечились в одной и той же больнице в Сокольниках. Оба они были «ходячие больные» и в часы прогулки на свежем воздухе вместе гуляли по длинным аллеям лечебницы, оба маленькие ростом, такие разные, трогательные... И когда старый Горшман скончался, он включил в число наследников своего скромного капитала мою жену также. При чем распорядился так, что Смоктуновской ничего не досталось, ибо он считал ее богатой, большая часть досталась старшей дочери Рут, самой бедной по его мнению, а остальное поровну разделил между своим сыном Аликом (Александром) и Зоей. При чем он наказал своей жене Шире, душеприказчице, что деньги должны быть отданы строго по назначению Зое, мне же не полагалось «даже и на одну сигарету». О, я не в обиде на него, мудрого Менделя, ибо он видел, чувствовал уже, наверное, что когда-нибудь я брошу ее.

Смоктуновский пришел ко мне, чтобы спасти меня от губительного отчаяния после моих десяти лет безуспешной беготни по московским редакциям, в пору моего чудовищно затянувшегося дебюта. Говорю спокойно, уверенно, что я погибал тогда, но прислал мне Господь Смоктуновского навстречу. Это произошло в обстоятельствах банальной житейской будничности — самое настоящее чудо. Как бы я мог, даже во сне, предположить, что однажды через порог моей нищенской квартиры перешагнет сам Иннокентий Смоктуновский, величайший из актеров земного шара? Один из вечных гениев человечества. Воистину он был послан мне Самим провозвестником вселенской Любви, чтобы я остался жив и служил ей.

Потому и в день возвращения глубокой осенью из деревни, где было мне, ничтожному и жалкому, дано узреть Божоявление, — Смоктуновский тем же вечером позвонил мне и предложил принять крещение. И опять он обратился ко мне, посылаемый Провидением.

Мы были в добрых, близких отношениях больше двадцати лет, но он был

так тесно окружен при жизни всякими значительными и не очень значительными, знаменитыми и не очень знаменитыми деятелями культуры и вне культуры — значительными людьми советского общества, что побывать вдосталь около своего самого любимого художника мне не удавалось. Не мог и особенно быть полезен ему в его литературном деле — Смоктуновский писал замечательную прозу, воспоминания, эссеистику, все это охотно публиковали журналы. Я иногда готовил к печати некоторые его рукописи, а жена моя перепечатывала их на машинке «Оптим». Он глубочайше, высоко, прекрасно чувствовал русское художественное слово, написал о Пушкине, талантливо воспроизводил в чтении его стихи, писал о Достоевском. Оставил превосходные по слогу воспоминания о своем военном прошлом, о многотрудном пути к началу восхождения к вершинам большого творчества.

После его ухода волной восторженного посмертного поклонения, которая вскинулась над его именем, меня отбросило от крестного так далеко, что я надолго потерял с ним ту истинно живую мистическую связь, которая явилась, считаю я, феноменальной в истории межчеловеческих отношений. И сейчас, когда прошло еще двадцать лет со дня его ухода, я хочу попытаться воссоздать, по мере своих возможностей, необычайной силы и красоты человеческий образ Артиста, подлинного Гения, высшего представителя человечества, каким был Иннокентий Михайлович Смоктуновский.

Я знаю: то, что я могу рассказать о нем, никто другой сделать не сможет. Потому что Посредник, соединивший нас священными узами крестного отца и крестного сына, — был очень велик. Он Сам был небесный Гений. И мне были переданы — от отца к сыну — защита и сила Креста. Также передан волшебный дар преображения художника в своего художественного героя. И этот дар преображения помог мне как писателю создать творческий подход — не традиционный, — ведущий крестным путем собственной духовной гибели, — к воскресению в художественном образе. И потому, я надеюсь, мне удалось написать такие книги, как романы «Белка», «Отец-лес», «Радости рая», которые останутся в хранилищах человечества после моей смерти.

Крестный когда-то спас меня в роковую минуту, за руку ввел в литературу и примером всей своей жизни — как и бывает у подлинного отца — указывал мне путь в нашем общем артистическом деле. Он учил стремиться на этом пути только к высшему совершенству, показывал всей своей волшебной исполинской деятельностью, что гений — это и не злодейство, и не кривляние на подмостках всеобщего обозрения, а умение представить в искусстве всякую брэнную жизнь так, чтобы она осталась б е с с е р т н о й. И мне бесконечно грустно жить эту жизнь без своего крестного, и не утешает меня то, что я когда-нибудь тоже уйду вслед за ним. Ибо я не верю, что мы с ним снова встретимся, — в каком-нибудь из замечательных параллельных миров, как встретились однажды в этом нашем земном зеленом и синем золотистом мире.

Михаил Каганович

В святую землю, в край земной

* * *

Сказала мать: «Бывает всё...»

Если хочется выть — выдь над Волгой...
Руки-в-брюки иль из-под руки
Глянь, как лямку, долиною волглой,
Грудью тянут, рыча, бурлаки.
Кровь-руда по ногам их струится,
Отворённая свистом осок,
В небеса запрокинулись лица,
Иль клонятся, багрово, в песок.
То языки народов, не наша,
Ташат наш — вверх по Лете — в века...
Там, где Зыкина, родов не знаша,
Нерождённого крестит сына:

В немчуру да в эрзу с татарвой.
Паки...Паки... Да вниз головой.

Свиридов

Как рубли, просвистевшие тыщу,
Божьей воли хлебнув из горла,
Свечки сальные сусликов свищут,
Встав под око и окрик орла.

Ибо нету ни большего вздора,
Ни удушливей пытки, чем тишь...
И захочешь страны и дозора —
Заварганишь, запьёшь, засвистишь.

Только вспомнится зной этот летний
Лишь в мороз, под дугой у коня,
В колтунах балалаечной сплетни
Забубённая брякнет брехня.

И до смерти. И там не уснуть.
За Валдай, за можай... В тишь да жуть.

Русский сонет

Федосьфокевна Пронина, в девичестве Чистова,
Была крестьянкой крепкою — покой её Господь! —
Ложилась поздно за полночь, вставала в полшестого,
И, — «больше пуда, мил-моя!» — велела не молоть...

А я, беспечный пашенок, звон бабкиных затрещин
Забыл. Молол еmeliно — без ветра и воды —
Неделями, немерено... Нам странный ход завещан
Семейными теснинами в загробные сады.

Где сливы вместе с липами цветут, благоухая,
И вишни рдеют угольно, и ломаются столы,
И снег, бесследный, хлопьями валит, и, не стихая,
Гудут тысячеглазые бессонные пчелы.

А бабка сунет стопочку, с поклоном, и бубнит:
«Не по уму задумался! — пей, Бог ослобонит...»

Немецкий сонет

Евреи в Германии быстро приходят в себя.
Там время медлительней мёда и кажется: даром, что гуще
Сам воздух, — вздыхается легче...
Там Бах, всемогущий,
С любовью клянёт Букстехуде — по кирхам — мехи тербя.
И Божий народ, сколь ни худы дела, а приходит в себя.

Дела же еврейские нешто когда хороши?
Вот, до тридцать третьего!.. — скажем.
Да вдох в сорок пятом, пожалуй...
Кого ни спроси, и по тысячетней, лежалой
Улыбочке чёрстой, — вместилище вещей души —
Услышишь на выдохе скорби. А в скорби — хоть стой, хоть пляши.

Как русский мой дед — без вина! — до бесчувствия и до падучей,
Бессиюем мучимый до смерти, маленький, злой и могучий,
Мучитель, безвинный, как весь наш несчастный народ,
По немцу и смерти прошедший — от ужаса — вброд.

Баллада о небесном Иерусалиме

В Святую землю, в край земной,
Хамсинами палим,
Я шёл за дочкой и женой
Во град Иерусалим.

Сказал жене наш мудрый сын,
С моей тоской в очах:
«С начала дней здесь жжёт хамсин —
Чтоб помнить о печаях.

Как ставят хлеб, калят скудель,
Глазурь по ней разлив,
Как превращают в прах людей,
До срока умертвив».

Сказал... — вдруг дочка отвела
Свой взгляд куда-то вдаль.
Была — да взгляду вслед — сплыла...
Ей, кстати, не жена ль

В утробе, как кобыле: «Тпрууу!..» —
Пошла и... — чик-чирик?..
«Ты знаешь что-то про сестру?»
«Про ту?» «Проснись, старик...»

Пожав плечами, сын молчит,
Что означает: «Нет...»
И солнце сквозь хамсин точит
Латунно-тусклый свет...

«А ты?» «Да я-то — что? Меня
Не спрашивал никто...»
«О чем?» «Не стоит... Все — фигня!
Забудь. А мы зато

С тобой, вдвоем, в небесный дар,
В наш Иерусалим!..»

«Отец! Ты — не А. П. Гайдар...
И... что ты, как налим,

С вопроса хочешь соскользнуть
И спрятаться в песок?..
Наш путь с тобою в эту муть,
Наш путь с тобой высок!»—

Он на хамсин кивает мне
Хамсина посреди —
И город в пыльной вышине,
Манит меня: «Войди!..»

«Сынок, что делаем мы тут?
И где моя жена?!»
«Тебе другую жизнь дадут.
Лишь смерть всегда одна».

«И что же — мне теперь туда?»
«Ступай. Я покурю...»
«Так ты ж не куришь!..» «Не беда —
Так просто посмотрю...»

«А мать?» «Она — сейчас... Верней
Я сжёл её, а прах
Хамсин принёс. Прощайся с ней
И позабудь про страх».

«А что это за странный гром—
Короткий и глухой?»
«Да, это — просто первый ком.
А это — ком другой...»

Иерусалим — небесный град —
Вглубь на аршин земли.
Наш чёртов рай, наш Божий ад...
И наши костыли.

Игорь Кузнецов

Треугольник имени Достоевского

Рассказ

В тот раз я жил возле Пяти Углов. Место известное, хотя и не каждый житель северной столицы без раздумий назовет все улицы, сходящиеся на этом пятачке. Легко вспомнят Загородный проспект, чуть ближе к Невскому плавно перетекающий во Владимирский, естественно — Рубинштейна. Чуть подумав, добавят Разъезжую, протянувшуюся уступом до Лиговского. И лишь редкий питерец припомнит маленький кусок улицы Ломоносова, соединяющий Пять Углов с набережной Фонтанки. А ведь именно здесь фантастически узнаваемой вывернутой походкой любят прогуливаться стайки молоденьких балерин с улицы Росси, фланируя до Пяти Углов и обратно. Такая у них традиция.

Место это и площадью-то не назовешь, тем более по петербургским архитектурным меркам. Да и нет такой официально площади — так, народная топонимика. Зато в округе там — в пешем близком порядке — минимум пять китайских заведений, что меня несказанно радовало. На одной Разъезжей их было целых два. Плюс на Рубинштейна и опять же пара на Гороховой — одно в трехстах шагах от распутинского дома с эркерами, если идти через Семеновский мост на ту сторону Фонтанки по той же четной стороне. Заведения были пошиба приличного, некоторые даже с претензией на роскошь: много лака-золота и с вышивалой на входе, впрочем, скромным, хотя и габаритным. Красные китайские фонарики, ясное дело, присутствовали везде и в достаточном изобилии.

Лучшее же заведение располагалось именно на Разъезжей, как раз у самых-самых Пяти Углов — хотя случайный посетитель попадал туда редко. Зато от моего Щербакова переулка — пять минут хода. Почти без вывески, так, в окне что-то маячит. Три ступеньки вниз, налево — маленькая продуктовая лавка, направо — оно самое. Полуподвал, пять столов под цветастыми клеенками, сама хозяйка встречает — улыбчивая немолодая китайка. Цены — смешные, еда — фантастическая. Открыв его для себя, я потом водил туда избранных знакомых, из тех, что понимают или, по крайней мере, оценить способны. И все же многих, ох, многих я приохотил к волшебной китайской кухне и научил есть палочками.

Игорь Робертович Кузнецов родился 24 декабря 1959 года. Окончил Литературный институт им. Горького в 1987 (семинар прозы Анатолия Кима). В Союз писателей был принят по рукописям в 1989 году. Автор многих публикаций в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Иностранная литература», книги «Бестиарий» с иллюстрациями Татьяны Морозовой (М., 2010) и др. Составитель нескольких изданий И.А.Гончарова (биография, комментарии). Живет в Москве. Последняя публикация в «ДН» — повесть «Остров прокаженных» (№ 5, 2014).

Не только в Питере, конечно, но и в Москве, и даже в Костроме, где быстро обнаружил местным не известное исключительно китайское заведение по соседству со старинными торговыми рядами. Но сюда, на Разъезжую, повторяюсь, я водил лишь избранных.

Я приехал тогда в Петербург на пару месяцев — выпускать бесплатную газету. С целью улучшения имиджа одного громоздкого энергетического холдинга. Возникла такая блажь у могущественного их генерального директора. Почему-то им хотелось, чтобы человек был обязательно из Москвы. Вот меня и порекомендовали — одна знакомая столичная контора давно уже подвизалась при этом холдинге на разного рода пиаровских проектах. Выделили бюджет, которым я мог вполне свободно, хотя и не безотчетно распоряжаться. В представительских расходах особо не ограничивали. Сняли квартиру почти с видом на Фонтанку. По необходимости был ко мне прикреплен и водитель на собственной черной «волге». Звали его ошарашивающе — Александр Сергеевич Чайковский. Взрослый, угрюмый, хотя и исполнительный, мужик.

Подружились мы с ним после того, как он рассказал мне душещипательную свою историю. Он проиграл пятнадцать тысяч долларов, и почти все — в долг. И если бы в модный покер или умный преферанс, на худой конец — в рулетку, так нет — банальным и тупо настроенным на разводку дураков одноруким бандитам. После растраты с какой-то там вменяемой работы его погнали, едва не доведя дело до суда — все же поверили на слово, взяли беспрекословную расписку на два месяца. Ну, и друзьям-знакомым не по одному кругу он тоже задолжал. Пришлось сдать хорошую трехкомнатную квартиру в Купчино. Жена с малолетним дитем ушла. Сам Александр Сергеевич перебрался на жительство к матери, в коммуналку на Сенной. И устроился водилой на побегушках в одно из энергетических подразделений. Тут его и придали мне.

— А что ж ты, Александр Сергеевич, честным частным извозом не занялся? — лениво поинтересовался я.

— Людей не люблю, — мрачно ответил он, со скрежетом переключаясь с третьей на вторую. — Случайных, — добавил он, газуя на углу Кирочной и Литейного — мы ехали далеко, на Лесную, где в бывшей вэпэкашной бетонной башне сидело мое условное начальство, с которым я хотя бы раз в неделю должен был накоротке встречаться. И еще там функционировала «касса», из которой я по мере надобности черпал очередной имиджевый транш.

Там же, на Лесной, базировались и коллеги из дружественной пиаровской конторы, через которую я и попал на эти вольные хлеба. Им повезло меньше — они ходили туда как на работу и постоянно находились в состоянии вялотекущего «мозгового штурма», едва ли отличимого на случайный или малопрофессиональный взгляд от обычного офисного совещалова. У них был какой-то долгоиграющий проект, в суть которого я по малодушию не вникал. Хотя поначалу нас и попытались как-то вместе скоординировать. Я внимательно выслушал бодрую преамбулу, после которой предполагался плавный переход к сути нашего идеологического взаимодействия, и невызывающе демонстративно посмотрел на часы. Куратор-докладчик вынужденно взял короткую паузу, позволившую и мне вставить свою расслабленную реплику.

— Простите великодушно, — без тени иронии проговорил я, — но ежели сегодня до восемнадцати ноль-ноль я не подготовлю ключевой материал для первого выпуска, а к двадцати четырем ноль-ноль не сверстаю номер, то он не

успеет уйти в типографию и, соответственно, завтра, как то следовало бы по утвержденному графику, газета не выйдет.

Понимающий кивок куратора навсегда освободил меня от обязанности сливаться в общем порыве. Моя особость таким образом была окончательно закольцована с триумфальным моментом моего прибытия в офис.

Едва я в тот день вошел в помещение и поздоровался с коллегами, чье большое совещание временно распалось на множество мелких, как из-за огромного монитора компьютера раздался голос миниатюрной Феклы:

— Вам чаю или кофе?

Столь невинное предложение вызвало у собравшихся вокруг стола совершенно неадекватную реакцию.

— Спасибо, Фекла, чаю, пожалуйста, зеленого, без сахара.

Присутствующие тем временем в полной тишине смотрели попеременно то на меня, то на Феклу, уже деловито колдовавшую на подоконнике с чашкой и чайным пакетиком.

— Где-то серый хищник умер, — с удивленным простодушием сообщила солидная социологиня, по совместительству бывшая научным руководителем Феклы. На мой искренне непонимающий взгляд она воодушевленно пояснила:

— Первый раз вижу, чтобы наша Фекла кому-то по собственной инициативе предложила чаю или кофе! Или хотя бы просто воды! — Фекла, никак не реагируя, уже наливала в мою чашку воду. Хотя я не видел ее лица, я был уверен, что зеленые ее глаза смеются.

— А... Понятно, — замял я тему, но коллеги вернулись к своим прерванным занятиям не тотчас.

Суть же дела — понятная тогда лишь мне и Фекле — была проста. Фекла тут работала вроде как на практике за мизерную, скорее всего, зарплату. При этом, на мой взгляд, была здесь самым толковым и полезным человеком, несмотря на наличие в команде нескольких кандидатов и даже одного доктора наук. Из компьютера она легко умела извлечь нужную информацию по любому запросу, ежели он был хотя бы грамотно сформулирован. А так как к ней обращались все и постоянно, безотказно получая требуемое, то в их неверных представлениях о сути вещей и положений она заняла вакантное на тот момент место секретарши. Тут уж и до требования чаю-кофе, да не всегда в изысканно-корректной форме, недалеко. Ну, и получили щелчок по носу. Я же — далеко не всегда такой приторно-замечательный, каким могу показаться на фоне затянувшегося самолюбования, — прибегнув первый раз к ее помощи в деле получения нужной информации, всего лишь поблагодарил ее и чуть позже незаметно преподнес шоколадку — она ж была девушка да и, в сущности, еще почти ребенок. Но ребенок и девушка — с характером. Уважаю. Ну и чуть-чуть взаимной симпатии тоже нельзя сбрасывать со счетов. И еще она обещала поводить меня по достоевским местам — этой теме, как оказалось, был посвящен ее выпускной диплом.

Во всяком случае, круг был логически завершен, и я получил практически неограниченную свободу действий. И это меня абсолютно устраивало. Офис мой был теперь дома, на улицах и площадях Санкт-Петербурга и вообще — там, где мне требовалось или хотелось быть. Работа пошла на ура. Вскоре меня уже знали во всех обменных пунктах по обе стороны Невского проспекта: мне постоянно нужны были разменные доллары для расплаты с моим все разраставшимся штатом сотрудников. Преимущественно, как оказалось, женского пола. Даже в

единственном сквере Щербакова переулка, окруженном брандмауэрами со случайными окнами, гуляла чаще всего пара лабрадорш с невыразительной хозяйкой — палевые красавицы явно бы пришлись по душе моему коричневому мальчику.

А между тем, тень Достоевского исподволь сопровождала меня едва ли не повсюду. Начать с того, что жил я как раз в центре своеобразного и не совсем правильного треугольника, с героями и присутствием самого Федора Михайловича определенно связанного. Первое острие треугольника располагалось на углу соседнего Графского переулка и Владимирского проспекта — там находилась едва ли не первая питерская квартира Достоевского, которую он снимал как раз до и накануне петрашевского дела и каторги. Мемориальная доска соседствовала с вывеской обменного пункта, обычно закрытого то на обед, то на таинственный технический перерыв. Второе острие упиралось в дом за Кузнечным рынком, где в квартире во втором этаже Федор Михайлович провел последние свои годы и дни. Окна ее выходили в Кузнечный переулок на едальное заведение, где подавали между прочими закусками и котлетами превосходный клюквенный морс. Третий, дальний угол с чуть размытыми очертаниями накрывал собой Сенную площадь с окрестностями, куда попадал и жутковатый Апраксин рынок, где я, однажды сильно замерзнув, пересекая Фонтанку, купил себе серый свитер из колючей и теплой кавказской шерсти — дело-то происходило осенью, в октябре-ноябре.

Первая же встреча с моим единственным VIP-сотрудником, известным краеведом Вампиловым, состоялась на Конногвардейском бульваре. Том самом, где Раскольников встретил пьяную девочку в разорванном платье, которую преследовал плотный жирный франт с известными целями, и перепоручил дело ее спасения отзывчивому городовому. А потом жалел об отданных двадцати копейках и размышлял о «проценте», в который таковые девочки попадают.

Бульвар, как и тогда, был пустынен. Вывеску «Музей русской водки» я обнаружил не тотчас, но, спустившись в подвал и назвав швейцару позывной «Вампилов», через залы с витринами, заставленными штофами, полуштофами и прочими полными и пустыми емкостями для крепких горячительных напитков, был препровожден в ресторанчик при музее, где за крайним столиком уже ожидал меня краевед Вампилов. Угощал его почему-то не я, а он меня — наверное, по праву местного старожилы. Я же презентовал ему первый выпуск газеты с красивой фотографией разведенного Дворцового моста, подписью «Пора сводить мосты!» и большим интервью гендиректора-энергетика. Смысл фото и проникновенной беседы сводился к главному: давно пора ответственному бизнесу и людям протянуть друг другу братские руки.

Заказан был полноценный обед — уникальный музейный винегрет по рецепту одного из графов Орловых, обжигаяще горячий борщ, по куску в меру постной свинины и холодная водка в солидном граненом графине. Едва мы выпили по первой и закусили и впрямь отменным винегретом, состоящим из целых тринадцати, в том числе и мясных, ингредиентов, как я включил диктофон.

Вампилов был мне однозначно порекомендован в качестве главного специалиста по охране исторического Петербурга от всяческих на него поползновений. Репутация у него была в некотором роде даже скандальная: он всегда что-то защищал, устраивая шумные акции, вел свою передачу на радио, где задавал самые неприятные вопросы, невзирая на статус оппонентов, по каковым

причинам постоянно судился с множеством официальных лиц и инстанций, покушавшихся на целостность и неприкосновенность облика града Петрова. Я был с ним полностью солидарен. Видимо, в одной с нами солидарной компании состоял и гендиректор холдинга — как вскоре выяснилось, они с Вампиловым были едва ли не однокашниками. В задачу нашего с ним первого интервью входило четко отартикулировать в моей газете финансово-культурные достижения энергетиков на той самой ниве, которую с таким усердием и страстью обрабатывал Вампилов. И тут я был опять же стопроцентно за. Да и реализовать это было несложно — Вампилов исключительно четко и с убедительной цифирью, по пунктам обозначил участие холдинга в градозащитном движении. Правда, попросив временно отключить диктофон, мрачно добавил — выпили мы, кажется, уже по четвертой:

— Те еще сволочи! — а на мой немой вопрос пояснил: — Злосчастная дамба тоже на их совести. Умолчим. Пока! — и он строго потряс пальцем.

Самым же странным поначалу показалось мне его непререкаемое желание, даже требование быть запечатленным на первой странице газеты в полный рост и форматом не менее одной четверти полосы. Но и тут ему нельзя было отказать в некоторой парадоксальной логике.

— Моя борьба требует исключительной визуальной узнаваемости! Враги должны видеть меня издалека. А каждый милиционер при встрече на баррикадах отдавать честь! — он явно не хотел быть бойцом невидимого фронта.

Народный трибун бешеным блеском в глазах мгновенно проявился в этом обычном, крепко за пятьдесят, мужике с залысинами. На нас начали оборачиваться немногие посетители-туристы. Решение родилось мгновенно:

— Фотосессию делаем в Кронверке, — перехватил я инициативу, — в музее артиллерии. Кажется, его тоже спонсируют наши энергетики. Видимо, на всякий случай.

— Правильно мыслите, товарищ! — запротоколировал Вампилов, наливая по новой — в графине же ничуть не убавилось, похоже, он был бездонным.

— Завтра. Фотограф — мой. В десять... в одиннадцать, — сжалился я. Вампилов уверенно кивнул. Диктофон нам больше был не нужен.

Забегая вперед, отмечу, что фото в Кронверке, куда мы все явились как штык вовремя, выдались знатные — на фоне мощных артиллерийских стволов Вампилов, шагающий прямо на зрителя с поднятым «но пасаран» кулаком выглядел убедительно. Подпись «Защитим родной Ленинград-Петербург!» закрепляла впечатление. Цель была достигнута — газету нельзя было не прочитать, тем более, что тиража хватило практически на каждый почтовый ящик города.

Однако накануне все просто так не кончилось, в отличие от графина, спустя некоторое время все же обнаружившего дно. В связи с чем Вампилов вознамерился непременно прогулять меня по городу. Прогулку эту я помню немного пунктирно.

Позади хвоста «Медного всадника» мы пересекли Сенатскую площадь, перешли на строевой шаг и отдали честь подъездам Адмиралтейства, Главный штаб в этом смысле проигнорировав. На Зимний дворец просто не обратили внимания — нас уже неудержимо влекли проходные дворы Капеллы, точнее, Большая Конюшенная, где, наконец-то, можно было добавить. Небольшая задержка случилась на набережной Мойки. Вампилов настоятельно предлагал заскочить в гости к Пушкину. Но я смог его убедить, что тот нам ни за что не нальет.

Добавили мы чачи в жарком грузинском подвальчике. На Итальянской пытались посетить Музей санитарии, но он, по обыкновению, оказался закрыт. В ароматной пиццерии на Караванной, заполненной итальянцами, продегустировали граппу. Позже оказались уже по ту сторону Фонтанки, на Моховой. Здесь — наискосок от бывшего Тенишевского училища — выпили текилы за Набокова и Мандельштама. Вампилов рвался показать мне фантастически красивый по его словам вечерний вид с набережной Невы на «Кресты». Но туда ноги нас так и не донесли, и мы, совершив некий круг почета, вновь оказались на Фонтанке — прямо против парадного подъезда дома №16. Уже давно стемнело, и пронзительный ветер с Невы вынудил меня застегнуться на все пуговицы и поднять воротник куртки.

Дом этот был мне знаком. В пушкинские времена здесь располагалось Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии, потом — Охранка, а ныне — обычный городской суд. До моего дома отсюда было по набережной минут пятнадцать пешим ходом, Вампилова же следовало посадить на такси — проживал он далеко, в районе Пороховых. Однако на мое предложение о таксомоторе он отреагировал несколько странно, длинным пальцем определенно указав на двери суда. К ним мы целенаправленно и двинулись.

«Давненько меня не забирали в милицию», — подумалось спокойно и неотвратимо, когда Вампилов уверенно вдавил кнопку звонка, которую я запросто бы и не заметил. Громкой трели вроде как не последовало, да и вообще здание производило впечатление неживое — благо, время уже было нерабочее. Дверь, однако, вскорости отворилась. За ней стоял плотный немолодой милиционер в чине старшего лейтенанта. Мое естественное желание тут же ретироваться подальше было пресечено совершенно обреченным выражением его немного сонного усатого лица и вполне мирными словами:

— Опять вы, господин Вампилов? Снова наряд вызывать? — Вампилов согласно кивнул, и мы были беспрепятственно пущены внутрь.

Пока я коротко изучал на доске объявлений туманное расписание завтрашних судебных заседаний, прибыл наряд. Милицейский узик был подан к самому входу. Старший лейтенант что-то проговорил на ухо сержанту с автоматом на груди, тот понятиливо кивнул.

Мы с Вампиловым разместились на заднем сиденье, сержант уселся на переднее рядом с водителем и обернулся к нам, точнее, ко мне:

— Адрес свой помните?

— Вообще-то я из Москвы... — забормотал я.

— Щербаков переулок у него, — неожиданно твердо проговорил Вампилов. — Сразу за домом Толстого. Рядом тут.

— Знаю, — подтвердил сержант.

Я вышел из машины возле своего дома. Засыпающий Вампилов, подняв в последний раз голову, помахал мне рукой:

— В одиннадцать. Завтра. Из всех главных калибров... — голова его опустилась на грудь.

— Спасибо, ребята! — поблагодарил я служивых.

— Теперь — на Пороховые, — распорядился сержант. Я захлопнул дверь, спокойный за Вампилова. Его борьба, похоже, и впрямь приносила экзотические побочные плоды.

Запнувшись о поребрик, тремя пальцами я точно угодил в нужные кнопки

кодового замка. И только поднимаясь по ступеням парадного, понял, наконец, насколько ж я нетрезв. На третьем этаже под крышей лязгнула железная дверь, отделявшая мою и соседнюю квартиру от лестничной площадки. Навстречу мне спускалась троица соседок-проституток. Судя по боевой раскраске и душисто-душному облаку ароматов, они отправлялись на очередное ночное задание. Я им вежливо, насколько смог, кивнул.

Миновав меня, одна поинтересовалась в пространство:

— И откуда он такой сегодня?

— Из охранного отделения, — честно признался я.

С проститутками мы мирно делили наш общий закуток за железной дверью, где изредка пересекались. По моим наблюдениям и досужим подсчетам в квартире напротив жило девочек пять-шесть. Клиентов они здесь, похоже, не принимали. И, судя по их еще не слишком потрепанному виду, работали не на Староневском, а по вызову. Были среди них очень даже выразительные особи. Одна так и вовсе украинская красавица с косой, мягким говором, идеальными ногами и усталым взглядом — из тех, что на сайтах знакомств пишут: «любовь не предлагать, сыта по горло». А это как-то неинтересно.

Поначалу они меня опасались, потом недвусмысленно строили глазки, но быстренько отметив, что ко мне зачастили иные особы женского пола и в немалом количестве, смирились с моим тихим и беззлобным существованием. Теперь мы всякий раз мило раскланивались — как старые добрые соседи, вполне друг другу безразличные. О раскольниковском «проценте» я почему-то не размышлял. Других тем и дел хватало.

Из постоянных моих сотрудниц выделились две Лены. Обе-вместе окончили журфак университета. Обе придерживались принципов фриланса. Обе были достаточно амбициозны. Только одна — в разумных пределах, вторая — без берегов. Первую про себя я звал Лена-Лед, вторую — Лена-Пламень, или даже, в минуты особого раздражения, Лена-Штаны. Первую порекомендовали мне какие-то общие московские знакомые, через нее я познакомился со второй.

Я позвонил ей и, вкратце обрисовав, что мне от нее нужно, договорился о встрече в кофейне. На вопрос, как я ее узнаю, ответ я получил вполне забавный по своей наглости:

— Увидите самую красивую девушку, так это буду я. Для непонятливых на мне будут джинсы со стразами.

Сидя за столиком, я с мгновенным воодушевлением бросал взгляды на каждую женщину, входящую в кофейню. Попадались очень даже милые. Свою, однако, я узнал исключительно ниже пояса. На ней были и впрямь выдающиеся расклешенные штаны сложно-зеленого цвета, расшитые ниже колен спиральями из блескучих мелких стекляшек. В остальном, на мой взгляд, ничего сверх: обычное круглое личико, неплохая, хотя и чуть раздавленная фигура. Разве что роскошные в рыжину волосы придавали ей определенный шарм. Немного поторговавшись, мы быстро стоворились.

Тексты она писала адекватные, по смыслу соответствующие техзаданию, и четко выдерживала сроки. Правда, опусы ее обладали двумя недостатками, впрочем, не фатальными. Были, как минимум, длиннее в два раза заказанного объема, и в них творилась полная чехарда со знаками препинания — запятые отсутствовали там, где им должно быть, взамен появляясь в самых ненужных местах и вызывая у меня неуправляемое сокращение лицевых мышц. Так что приходилось повозиться.

В отличие от нее Лена-Лед писала тексты, близкие к идеалу, — в конце концов, мы стали делать с ней газету практически вдвоем. Ну, и платил я ей от души — по полуторной, а то и по двойной ставке. Вот она-то мне и впрямь нравилась: умное лицо, светло-карие глаза с огромными ресницами безо всяких следов туши, короткая стрижка с высветленными прядями, ладная фигура, которую она постоянно пыталась зачем-то скрыть, наряжаясь то в спортивного вида комбинезоны, то в дутые жилетки. Волшебный низкий голос — от таких женских голосов я просто таю. И — ледяная строгость в глазах и жестах: очень сложно было преодолеть буквально физически ощущаемую дистанцию — и в прямом, и в переносном смыслах.

Писала она легко и доступно на любую тему, к которой руки приложили наши энергетики. О вынужденном повышении тарифов и Константиновском дворце в Стрельне. О проданной большевиками, а нашими энергетическими мальчиками выкупленной на Сотбисе и возвращенной Эрмитажу картине Веласкеса. О строительстве новой подстанции на достопамятных Пороховых и прочем, прочем. И все это сочинялось с должной долей разумного пофигизма, без которого любой заказной текст обволакивается скукой и обретает зубовный скрежет серьезности. В общем, напрягов у меня с ней не было — если б еще не ледяной взгляд и очень красивые руки, которых так хотелось невзначай коснуться.

Попадались среди моих сотрудниц и персонажи, забавные до глупости. Валя-Вампир, например. Она была креатурой Вампилова и выпила из меня много крови. Искреннюю приязнь и уважение к краеведу я изначально перенес и на его ученицу. Заказал ей вроде бы простенький материал про уникальные светильники на Ладожском вокзале и запланировал его на ближайший номер — очень он туда хорошо ложился.

Она обещала — но вдруг заболела и не являлась. Обещала вновь — у нее случались непреодолимые семейные обстоятельства вроде родовой горячки третьестепенной родственницы. Обещала по третьему разу, но звездный расклад опять был не в нашу общую пользу. Один раз мне пришлось практически переверстывать газету, сочиняя по ходу недостающий текст. Я уже был уверен, что в следующий раз ей помешает наводнение, однако случился только мелкий дождь, и она, наконец, появилась на пороге моей квартиры. Отложив «Преступление и наказание», я посмотрел ее текст. Что называется, ничего. Взглянул на фото, сделанные ее приятелем, — сойдут. Забравшись в сервант за деньгами и подумывая о том, что бы ей такое еще несложное заказать, памятуя о друге-Вампилове, услышал:

— Мне кажется, вы мало платите.

Блеск удивления в моих глазах почему-то не заставил ее насторожиться.

— А сколько вы считаете — не мало?

Цена вопроса оказалась до обидного мизерной. Я отсчитал требуемую сумму и протянул ей, вполне вежливо показывая, что более девушку не задерживаю. Однако она не торопилась и уверенно смотрела мне в глаза.

— Что-нибудь не так? — заботливо поинтересовался я.

— А что мы будем делать дальше?

— В каком смысле? — не понял я.

— Что теперь делать — что писать? — почти возмутилась она моей тупостью и едва не топнула ножкой — кстати, девушкой она была вполне симпатичной.

— Ничего, — пожал я плечами.

— Как?! — ее недоумение перерастало в раздражение.

— Так. Ауфидерзейн, барышня, — ее раздражение заразно передалось и мне.

— То есть мы с вами не будем больше работать?

— Никогда.

Глаза ее меня уже ненавидели:

— Я буду звонить Вампилову. И пожалуйся самому... — она произнесла фамилию гендиректора-энергетика. — Он — мой дядя. Вас уволят!

— Большой от меня всем пламенный привет, — подвел я итог, распахивая дверь в предбанник.

Как раз заскрежетал замок двери железной — с очередной работы вернулась парочка соседок. Валя-Вампир смерила их уничижительным взглядом.

— Девочки, привет! — они мне показались чрезвычайно милы. — Почему нынче услуги пролетарского тела?

— Полторы, — удивленно ответила одна.

— А поторговаться?

— Честные девушки не торгуются! Все по тарифу, — с вызовом ответила вторая, та самая украинка с усталым взглядом.

— Так вот вы чем тут... — Валя-Вампир выпорхнула на лестничную площадку — возмущение и презрение выражал даже ее затылок.

— Мужчина! У вас папироски не найдется? — игриво поинтересовалась первая с интонацией киношной уличной девицы.

Я вынес им целую пачку:

— Спасибо, девочки! — и закрыл дверь.

Злой я, конечно, злой и недобрый.

Верстались по ночам в доме Набокова. На Большой Морской. Там, во втором этаже находилась редакция газеты, в которой работала Олеся.

Если внешне дом с парадным входом под скошенным козырьком, сквозной прозрачной аркой и одиноким эркером не утратил своей строгой холодной подлинности, то внутри от барского особняка мало что осталось — разве что лестница и фрагменты потолочной лепнины могли напомнить о когда-то проходившей здесь и уже давно легендарной жизни. Комнаты и коридоры приобрели, похоже, уже черты необратимые за счет бесчисленных перестроек и фанерных перегородок-выгородок, выкрашенных отвратительной голубой краской с еще советскими подтеками. Духа Владимира Владимировича там не наблюдалось, хотя в поисках его я и пытался отчаянно бродить по ночному тихому дому.

Олеся была девушкой выдающейся из ряда, вида гламурного, крашена в брюнетку — распущенные волосы чуть ниже ключиц, всегда чуть сонной и отсутствующей в реальном пространстве: она постоянно или говорила по телефону, или общалась по «аське», или — на худой конец — бродила в дебрях социальных сетей. Знакомых у нее было не счесть — и они ежесекундно множились, ибо в сеть она выкладывала хорошо снятые и собственноручно обработанные в фотешопе свои фото — нельзя не признать, что они тем не менее изрядно соответствовали действительности.

— А? — переспрашивала она, на секунду вынырнув в наше общее набоковское пространство.

— Олеся! — пытался я еще чуть больше привлечь ее внимание. — Ты четвертую полосу еще не начинала?! Пора заканчивать — мне уже из типографии звонят!

— Ага, — отвечала она, давая понять, что на тему эту пока даже не думала. Но тут же честно заглядывала в макет, нарисованный мной от руки.

Потихоньку напрягаясь, я уходил бродить по дому или курить на Большую Морскую. Успевал дойти всего-то до Исаакия и торопился обратно: типография и впрямь ждала. Олеся опять говорила по телефону.

— А... — начинал я на повышенных тонах. Олеся улыбалась и открывала мне на экране уже готовый макет.

Как за пятнадцать минут можно сверстать полосу — до сих пор ума не приложу! Так что Олеся была уникалом во всех смыслах.

И вообще, пора было влюбляться. Сложность заключалась в том, что выбор выдавался уж больно великий. И каждое решение могло повлечь за собой последствия самого разного и непредсказуемого свойства.

Олеся — слишком гламурная и уже совсем не Лолита. Валю-Вампира легко вернуть — ведь от ненависти до любви и впрямь один шаг, но что-то не хотелось. С Ленами я и так сегодня встречусь — в испанском ресторане на Невском, где, как говорят, красивые люди хорошо танцуют танго. Между Ленами предварительный выбор случился уже давно. Но что-то во всем этом тоже было пока не то.

С такими мыслями я шел по Невскому — в сторону увеличения номеров — и пересек Владимирский. С неба мелко моросило. Тут меня что-то остановило. Я постоял и понял — я хочу лукового супа.

Это был день подаренного часа — страна перешла с летнего времени на зимнее, хотя я так и не удосужился перевести часы, так как серьезных деловых встреч лично у меня намечено не было. Передо мною богато переливался отражениями «Невский палас» — бывший «Сайгон» отчасти.

Пройдя стеклянным холлом, я оказался перед пеналом с загородкой, в котором переминался с ноги на ногу неопределенного рода занятий субъект, явно имеющий отношение к ресторану — что-то вроде очередного охранника.

— Добрый вечер! Можно ли у вас что-нибудь съесть и выпить? — безо всякой задней мысли и больше в порядке приветствия поинтересовался я.

— У нас очень дорого, — ответил он лениво и с каменным выражением плоского лица.

Одет я был весьма прилично, до отвращения трезв и чрезвычайно благодушен, но реплика его меня сходу взбесила:

— Уважаемый, я же не спрашивал: дорого у вас или дешево, я...

Возникший слева метрдотель спас нас от продолжения бессмысленного диалога.

В зале с круглыми столиками под белоснежными крахмальными скатертями я был единственным посетителем. Я устроился между лаково блестящим черным роялем и окном, за которым в маслянисто-влажном вечернем свете сновали прохожие.

Любезный черно-белый официант осчастливил меня апельсиновым фрешем, пятьюдесятью граммами правильно холодного «Абсолюта» и глиняной плошкой с супом, накрытой пузырчатой поджаристой хлебной пленкой. Настроение вернулось восвояси и даже поднялось на несколько градусов. В завершение супового полдника по причине своей технической тупости я обратился к официанту с просьбой перевести время в моем мобильном. Он проделал сие действие без труда, чем сподвиг меня попросить его исправить время также и на моих швейцарских часах с тремя, не считая главного, циферблатами и тремя же

сложносочиненными кнопками. С этим заданием он вновь справился легко и не без изящества, чем заслужил мою искреннюю благодарность и приличные чаевые.

Изрядно довольный, я вышел на прохладный, но уже без явного дождя Невский. За полдником, несмотря даже на переведенный час, время пролетело незаметно. До встречи с Ленами оставалось всего-то часа полтора. Мало, чтобы предпринять культурный поход хоть в Музей санитарии, хоть в Русский, много, чтобы просто болтаться туда-сюда без дела по промозглым улицам. Не по магазинам же ходить? Нужна была цель — и она придумалась сама собой. Глянув на номерные знаки, я обнаружил, что в соседнем с «Невским паласом» доме недолго жил мой любимый Гончаров, тогда еще просто писатель и цензор. Первая его петербургская квартира, насколько я знал, тоже располагалась неподалеку — я пересек Невский и отправился на Литейный осматривать большой доходный дом с магазинными витринами. Свернув с Литейного, я оказался на Моховой и прошел ее до конца, точнее, до начала — в дворовом усадебном флигеле дома №3 Гончаров жил уже штатским генералом в скромной двухкомнатной квартирке. Ворота во двор оказались запертыми, и мне пришлось осмотреть дом лишь снаружи, что, впрочем, не помешало мне вспомнить, что именно отсюда Гончаров отправлялся в Баден-Баден, где одалживал проигравшему Достоевскому деньги и сам проигрался в пух и прах. Здесь же Ивана Александровича «развел» другой Иван, Крамской, получивший заказ от Третьякова на ныне знаменитый портрет Гончарова. Крамской явился к создателю «Обломова» с просьбой позировать. Гончаров отказался наотрез. Позже художник повторил свою попытку, но с тем же успехом. И тогда его осенило. Он предложил нарисовать акварельку с любимым гончаровским шпичем Мимишкой. Акварель тому понравилась, и он более не смог отказывать художнику. Портрет потом уехал в Москву, к Третьякову, Мимишкин же образ висел на стене писательского кабинета до самой смерти хозяина. А вот до моей встречи с Ленами оставалось уже совсем немного, и я неторопливо двинулся в обратный путь, всего-то час с небольшим, на круг, потратив на посещение по-соседски всех питерских адресов автора пространных заметок о кругосветном путешествии.

Этот испанский ресторан на бойком месте отличался тем, что там, по словам обеих Лен, до определенного времени всегда можно было найти свободный столик. Так и случилось. Я устроился у окна, в отсутствие своих сотрудниц имея возможность наблюдать за проходящими за ним чуть выше уровня глаз ногами, среди которых попадались весьма стройные и привлекательные. Заказал бокал красного вина и немного сыра.

Лены опаздывали. И уже изрядно — я даже начал немного беспокоиться. Достал из кармана телефон.

И тут за соседний столик напротив меня присела девушка. Ей принесли кофе, и я увидел ее профиль — очень строгий.

Она повернулась ко мне. Высокие тонкие брови, едва заметные ямочки на щеках, очерченные плавно, но словно подведенные по четкому абрису губы, печально напомнившие о недоступной египетской улыбке амарнской царицы — я с детства любил рассматривать ее фото, но не то, общеизвестное, где она в высоком синем парике, а другое — где лицо ее кажется совсем живым, а не просто искусно вырезанным из солнечного золотистого кварцита.

Лицо девушки покрывал более легкий загар, оно было чуть асимметрич-

ным, наверное, за счет широко посаженных глаз и резкости скул — от падавшего сверху наискосок уличного света. И еще в ней было что-то неуловимо нерусское, черты иной, хотя и близкой, крови.

Она пила кофе, а я смотрел на нее. Несколько раз мы встретились взглядами, и она взгляда не отводила, пока я сам не опускал глаза. Вновь их подняв, я увидел, что она улыбается. Смутился только я. Неожиданно для себя я приподнял бокал и кивнул ей. Она кивнула в ответ и снова улыбнулась. В этот вечер все, как позже выяснилось, складывалось неожиданно. Но, кажется, пора было знакомиться. Мои подруги опаздывали уже почти на час. А может, они и вовсе не придут? — подумал я со смутной надеждой.

Но они тотчас явились и высказали удивление, что я тут оказался раньше времени. Я постучал пальцем по циферблату, указывая на их ошибку. На моих часах было без трех минут восемь, а мы договаривались встретиться в семь. Они показали свои. У Лены-Пламень на часах было именно семь, а у Лены-Лед аж шесть. Я ничего не понимал. Но вскоре все объяснилось. Чтоб не запутаться — лень созвониться, что ли, было? — они решили считать за отправную точку время старое, при этом одна перевела утром стрелки, другая же оставила все как есть. Вот только как вышло, что у меня было ни так, ни сяк, а уже все восемь?

— Любезный официант! — осенило меня. — Он перевел время не назад, а вперед, — пояснил я подругам. — То есть украл у меня целых два часа. И подарил... — добавил я уже про себя и окончательно замолчал: за соседним столом никого не было, только кофейная чашка с серебристой ложечкой и оберткой от микроскопической шоколадки напоминали о столь поразившей меня незнакомке. Подруги посмотрели на меня с подозрением — видно, выражение моего лица их немало озадачило. Чтоб исправить неловкость, я подозвал официантку и заказал для начала всем красного вида и много сыра-мяса-зелени. Украдкой же все бросал взгляды на соседний столик, пока пустую чашку не унесли.

Я был где-то не здесь. Отвечал невпопад. Безропотно отдал Лене-Лед свои часы и мобильный, дабы она установила окончательно правильное время. Несколько раз отлучался, прогуливаясь по закоулкам зала в поисках моей недавней визави — и нигде ее не обнаружил. Чуть отвлёкся, когда мы обсуждали темы для следующего номера. Надо было включиться окончательно, а то мои подруги все чаще недоуменно переглядывались и поджимали губы. Не зная, о чем говорить, я рассказал дурацкий анекдот, чего себе обычно не позволяю. Заказал свиные ребрышки с острым соусом и еще вина.

Маленький оркестр заиграл танго. В центре зала из темноты образовалась танцующая пара — парень в белой рубашке, и впрямь похожий на испанца или латиноса, и темноволосая девушка в алом открытом платье. Танцевали они хорошо, со страстью и ловко — им приходилось лавировать в замкнутом пространстве между столиками. Зал неярко освещался лишь настенными светильниками, а танцующую пару разноцветно подсвечивал прожектор под потолком. С небольшими перерывами они исполнили еще несколько латиноамериканских танцев, не имевших для меня названия, — ну, румба, кажется, точно была. И начали раскланиваться, удостоившись вполне продолжительных аплодисментов. Ненадолго вспыхнул верхний свет, пока танцор с зеленой шляпой в руке обходил столики, собирая заслуженное вознаграждение. Я же, глянув на девушку, только сейчас понял, что это и есть моя недавняя соседка,

только волосы у нее теперь не распущены, а гладко зачесаны и забраны в заколотый яркой булавкой пучок.

Танцоры исчезли где-то внутри заведения, а я себе уже окончательно места не находил — катастрофой было бы ее новое исчезновение через служебный вход. Хотя чутье мне подсказывало, что уйдет она по лесенке, сразу на Невский.

И все же я ее пропустил.

Уже за окном я увидел туфли на каблуках с красной подошвой от Кристиана Лабутена, который — мелькнуло — сочиняя новую свою модель, всегда рисует женщину голой, и ее ноги, которые узнал бы из тысяч других, как свою собственную собаку лабрадорской породы.

— Я дико извиняюсь. Я — пропал, — пробормотал я Ленам и, оставив на столе несколько крупных купюр, схватил куртку и выскочил на улицу.

Девушка, к счастью, еще не исчезла — ее белый плащ мелькал среди прохожих невдалеке. Шла она в сторону Адмиралтейства, а в правой руке несла легкий пакет, наверное, с тем самым алым платьем.

Я приблизился к ней на расстояние полутора шагов и только тут вспомнил, что я совершенно, ну, напрочь, не умею знакомиться на улице. Хотя она должна же была меня помнить — ведь она мне улыбалась. И тут она резко остановилась — я едва не толкнул ее в спину — и повернулась ко мне:

— Не дышите, как загнанная собака. Лучше возьмите у девушки пакет и идите рядом. Меня зовут Соня.

Кивнув, я представился в ответ, забрал у нее платье, а она взяла меня под руку:

— И куда же мы пойдем?

— Тут есть чудесный китайский подвальчик, на Разъезжей, — заговорил я торопливо и излишне сладко, но, кашлянув в кулак, продолжил уже более пристойным тоном. — Я туда вожу только редких людей.

— Спасибо, пойдем, — кажется, она сходу перешла на «ты», и это давало некоторую надежду.

Мимо медленно проехал милицейский «уазик» с освещенным салоном. Мне показалось, что на заднем сиденье там был Вампилов.

— Я тоже люблю такие заведения, — сказала она, когда мы устроилась за столиком и я заказал еду. — И предпочла бы сейчас коньяк, — ее желание совпадало с моим, да и любимый трехзвездочный дербентский неожиданно оказался в меню.

Мы выпили коньяка, я научил ее держать палочки — у нее практически сразу получилось.

— В тебе есть какая-то иная, нездешняя кровь... — дабы не вдаваться в лишние подробности, о своей давней любви к амарнской царице я решил умолчать.

— Я — стопроцентная чувашка, — ответила она, выуживая из тарелки со сладкой свининой кусочек ананаса.

— Из Чебоксар?

— С Петроградской. Но родители — из Чувашии, но не из Чебоксар, а из Цивильска. Я там никогда не была.

— А я — был, — ответил я с некоторой даже гордостью.

— Расскажи.

— Станный городок. Очень запущенный, уж извини, — она пожала плечами, — но там есть одна удивительная вещь, точнее, две. Кажется, я

запутался... В общем, на одной из центральных улиц там располагается женская тюрьма. Выкрашенная в розовый цвет. А в другом конце улицы, если пройти несколько сотен шагов по раздолбанной мостовой, женский монастырь. Были мы там с одной нервной девушкой. Она очень беспокоилась, пока я зачем-то фотографировал тюрьму. И нас оттуда погнала охрана. А когда мы дошли до монастыря, там была распахнута калитка — и сквозь нее увидели, ну, практически райский сад...

— Интересно, — ее лицо стало строгим, — от греха до рая — всего-то несколько сотен шагов. Ты хочешь, чтобы я пошла к тебе? — без паузы добавила она. Ресницы ее мелко подрагивали, а на правой скуле проявился едва заметным уголком маленький белый шрам. Точь-в-точь как у меня.

Я сглотнул от неожиданности и молча кивнул.

— Сто долларов.

Меня, конечно, кольнуло. Но я даже не испытал разочарования. Мне было уже все равно.

Я вынул из бумажника стодолларовую бумажку и положил на край стола. Соня достала из сумочки коричневой кожи кошелек и, открыв его, всунула мою сотенную между другими, совсем немалочисленными купюрами. Больше мы почти не разговаривали.

Когда я проснулся утром, ее рядом не было. Почуввав неладное, я резко вскочил. Заглянул в гостиную — пусто. Ноутбук был на месте. Но ее не было ни в ванной, ни на кухне. Зато на кухонном столе лежала стодолларовая купюра и записка на клетчатом листочке, вырванном из моего блокнота:

«Я пошутила. А то бы ты подумал, что я ветреная — пошла с первым встречным. Наверное, я дура? И еще я украла твою визитную карточку и теперь смогу позвонить тебе в любое время.

Соня»

У дверей испанского ресторана я был за пять минут до открытия. Тысяча рублей не понадобилась — бармен мне честно ничем не мог помочь, только позвал администратора. Милая, невысокого роста девушка, выслушав, мерно кивая, байку про забытые у меня дома золотые сережки с бриллиантами, лишь развела руками:

— Эта, как вы говорите, Соня, работала у нас пока единственный раз. У Арчи, это ее партнер, приболела постоянная напарница, а у него вчера было последнее, прощальное выступление — они уезжают танцевать на шведском пароме, и он не хотел его отменять. Мы дали, буквально на авось, объявление в интернете. И вдруг она появилась. Арчи, кстати, сказал, что лучше партнерши у него не было... Нет, телефона она не оставила. Всего доброго, приходите к нам еще. У нас со следующей недели — новая развлекательная программа. Со стриптизом. И еще — декада каталонской кухни... — без особой надежды добавила она мне уже вслед.

Я продолжал уныло работать. Помирился с Ленами. Сверстал с Оксаной еще пять газет. С Феклой мы облазили все парадные, закоулки и проходные дворы в районе Сенной. Даже зашли в гости к Чайковскому — в огромную двенадцатикомнатную коммуналку, не столько, правда, из Достоевского, сколько из Зошенко. Под конец, помимо зарплаты, мне выдали еще и приличную премию. В Москву они провожали меня все вместе: Александр Сергеевич, Лены, Оксана и Фекла. Фекла даже чуть-чуть всплакнула.

Соня так и не позвонила. Но с того давнего дня я не выключаю телефон.

Ефим Гаммер

Туннель

Повесть скоротечных минут жизни

1

Физики сделали шокирующее заявление: времени, оказывается, не существует. Что получается? Нет времени — нет и обязательств. И на завтра нечего планировать, если не существует сегодня.

Интересно, а было ли вчера?

Вчера, определенно, было. Вот помнится...

И тут он осознал, что ровно ничего не помнит из вчерашнего дня.

Огляделся: где он? Странная комната: без окон, с тусклой лампочкой в решетчатом плафоне. На рай мало похоже. К тому же, кто побывал в раю, назад не возвращается. А кто предпочитает ад, живет на земле. Издали тянет восточного налива музыкой, а из-под ног сыростью цементного пола. Вздернутая рука на привязи. Пластмассовой сцепкой притерта к водопроводной трубе. Мало-помалу немеет. И шевели интенсивно пальцами, иначе кровь застынет в жилах, как писали коллеги-журналисты в минувшем веке.

Коллеги-журналисты...

Автоматически проклюнулось. Он — журналист, точно! Теперь, если профессия установлена, пора вспомнить и свое имя. Нет, имя не прорисовывается даже эскизно. Мозг не включается — не пальцы. А что пальцы? Пальцы раз за разом сжимаются в кулак. С чего бы это? Кровь разогнали, и ладно. Но нет! Не успокаиваются, вроде как намекают. Не на песню же про купца Калашникова? Хотя...

Дай Бог памяти:

И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, изготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.

* Рубрика выходит при поддержке фонда «Русский мир».

Ефим Гаммер — автор 18 книг, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству, обладатель Гран-при и 13 медалей международных выставок в США, Франции, Австралии. Среди литературных премий — Бунинская, «Добрая лира», «Золотое перо Руси». В 2012 году стал лауреатом (малая золотая медаль) 3-го Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков и дипломантом 4-го международного конкурса имени Алексея Толстого. В 2015 г. объявлен дипломантом Германского международного конкурса русскоязычных авторов «Лучшая книга года». Живет в Израиле. В «ДН» печатается впервые.

«Чему быть суждено, то и сбудется», — рефреном пронеслось, защемило сердце тоскливой нотой.

2

Что же такое случилось? Почему ты здесь? У тебя ведь журналистское задание: встретиться... с кем? Взять интервью... у кого? Написать о Маккабиаде-2013 — своего рода еврейских олимпийских играх. Причем с должной претензией: мол, бокс опять не включили в программу соревнований. А ведь евреи его культивируют в Израиле, в США, в России, да по всему свету, чтобы о них не говорили, будто они только мастера играть в шахматы.

Вот и выплыло. Бокс! Именно поэтому пальцы машинально сжимаются в кулак, почувствовав опасность. Не иначе, ты и сам боксер. Конечно, боксер! Пальцы не соврут!

Тут и дверь отворилась. Вошел смазливый арабчонок в кufие и длинной до лодыжек тунике, на местном наречии называемой «джалабея». Улыбка на широкоскулом лице, глаза-черносливы и неброские еще усики. За спиной «Калач» — так израильские солдаты именуют автомат Калашникова. Перерезал ножницами пластмассовый ремешок, соединяющий тебя с водопроводной трубой, и ткнул разлатыми лезвиями в грудь.

— Бой элАй! Иди со мной! — сказал на иврите.

— Куда?

— В райские кущи!

— Направляясь в рай, человек нередко ошибается дорогой.

— РоцЕ кадУр ба рош? Хочешь пулю в голову?

Затем повел долгим туннелем, пахнущим свежим замесом цемента. На пологом повороте вправо сказал:

— По. Здесь, — и втолкнул в просторное помещение с рингом на возвышении в центре. — Жди!

И вышел.

3

Теперь пора и осмотреться.

Ринг. Значит, и этот арабчонок полагает, что ты боксер. При этом уверен: ты никуда не убежишь, будешь стоять на месте, как лошадь в стойле. Какое стойло? Какая лошадь? Наверное, шахтерская. Эта невероятно выносливая кляча всю жизнь проводит в глубинном штреке и никуда не сбегает, явно догадываясь: из подземного плена никогда не откроется выход на поверхность, к живительному воздуху и степному простору.

Получается, и тебе нет выхода, если оставили в одиночестве в каком-то непонятном спортзале с рингом, пневматической грушей и... Гляди ты — боксерские перчатки! Лежат-покоятся в открытом шкафчике у широкого, вытянутого вдоль стены зеркала.

«Разогреться, что ли?»

Но прежде стоит полюбоваться собой, определить, ты ли это? Или тебе и внешность подменили? Однако физиономия знакомая. Бородка, усы, а вот и прыщик, сбоку от глаза, неожиданно явленный недавней ночью. Почти у такого же, во всю кафельную стену, зеркала, но в отличие от этого над умывальником,

подле туалетных кабинок, папахивающих мочой. Помнится, из-за двери несло приглушенной песней: «Мы с тобой повстречались случайно», а у матового в пупырышках окна стоял услужливый, восточного кроя пожилой мужчина с полотенцем и предлагал вытереть руки после мытья.

Стоп! Выходит, всего несколько часов назад ты находился... Где-где? И что это за человек? Не из-за его ли полотенца потеря сознания? Ну да! Вытер лицо... И прости-прощай! Все провалилось во тьму. Дальше... проснулся в подвале, и полная неразбериха: кто ты, и зачем очутился здесь?

— РусИ!

Это тебя? Да, тебя. Впрочем, в Израиле это не имя, а определение выходцев из России, евреев по паспорту, а по мозгам...

Хотя сейчас не до мозгов. Сейчас надо обернуться и спросить:

— Ма? Что?

— Ключ. Ничего.

Кто это? Тот же арабчонок? Нет, какой-то другой. Постарше. Покрепче. Трусики с тройной резинкой. Майка с эмблемой в виде сжатого кулака. Да и усики не первой молодости.

— Ма ата роцЕ? Что ты хочешь?

— Крав. Бой.

Пожалуй, следовало бы удивиться. Но в голове сумбур, в душе тоска, а нервы взвинчены, и лучший выход — дать кому-нибудь в морду.

А тут, как по уговору с тайным желанием, и вариант наклеывается. Скидываешь босоножки, снимаешь брюки. Остаешься в футболке, и — что за диво? — твои трусы тоже с тройной резинкой и с эмблемой в виде сжатого кулака.

«Неужели мы из одной команды?»

— АНАхну макерИм? Мы знакомы? — спрашиваешь, натягивая десятиунцовые рукавички.

— МорЕ! Учитель! Не узнаешь? Ты обучал меня в юности боксу.

— Я многих обучал, — сказал наугад.

— Ахмед! — представился незнакомец. — Я теперь чемпион!

— Какой страны?

— Туннельного государства.

— Поднимаясь на седьмое небо, не забудь прихватить парашют, чтобы не разбиться при незапланированном возвращении на землю.

Гонг!

4

Гулкое дыхание звуковой волны. Подхватывает и привычно бросает в непредсказуемое. Противник набегаёт, уверенный в легкой добыче, бьет наотмашь.

Что это, право? Ахмед, разве такой безоглядной глупости я учил? Твой свинг только воздух просквозит, если поднырнуть под руку.

Ну и поднырнул, автоматически. Ну и вынырнул, держа в каждом кулаке по нокауту.

Есть! Раз-два-три! Получай и на добавку!

Куда подевался рефери, чтобы начать отсчет секунд?

Ахмед обходится без сигнала судьи, примирительно перекрещивает руки над головой, скидывает перчатки.

— МорЕ, у тебя удар прорезался.

Умник! Имел бы понятие: при натаскивании пацанов совестно прибегать к жестким ударам. Наносил, так сказать, условные, практически неощутимые, как дуновение слабого ветерка. Не то, что сейчас.

А что сейчас? Вскармливаешь обиды? Пожалуй, нет, все в порядке. Ахмед... ни злости, ни боли на физии. Поди, оклемался! Стоит на ногах — не колышется, и улыбочка при нем: будто намерен сообщить нечто забавное, но никак не подберет нужные слова. Наконец справился с непослушным ивритом. И с хитрецей в голосе вывел:

— На войне свои правила. Победителю — слава, побежденному — смерть.

— Ахмед! Ты собрался умирать?

— Не я, морЕ! Один из вас.

— Разве я двуликий Янус, один в двух лицах?

— У нас в плену еще один израильский солдат.

— Я не солдат.

— Это сегодня. А раньше?

Вспоминать сложно, в мозгу форменный кавардак: мельтешение людских теней, посвист пуль, гарь от автомобильных покрышек, взорванные огнем бутылки с горючей жидкостью.

— Не помню.

— Ничего, напомним. Не с тобой ли эта подружка спала на ливанской войне? — И любовно погладил цевье скорострельной винтовки М-16, поданной смазливый пареньком с «Калачом». — Держи!

Первое желание — отдернуть затвор, нажать на спусковой крючок и всадить в грудь Ахмеду убойную порцию свинца.

Но... В боксерских перчатках не сотворишь подобное чудо. И ты, принимая «американку», машинально высматриваешь ее номер: тот ли?

— Признал? Твоя? — донимают тебя пакостной улыбочкой. — Тянет бабахнуть? Бабахнешь! Но сначала на ринге. А проиграешь, не взыщи. Твой конкурент уколошит тебя. Закон жизни! Победителю — слава, побежденному — смерть.

— В переводе на русский, кролик не говорит змее, что у нее дурно пахнет изо рта.

— Не понял.

— Русский — сложный язык.

— Освоим, когда пророем к ним туннели. А пока позволь определиться с тотализатором. Имей в виду, я ставлю на тебя. И Дауд тоже.

— Две ставки всего?

— А две тысячи не хочешь? Плюс к тому еще тысяч сто при подключении к просмотру реалити-шоу фанатов Египта, Кувейта, Ливана, Ирана. Правда, надеемся, что они поставят не на тебя. Тогда, считай, в кармане у нас хороший миллион баксов.

— В жизни подчас бывает так: то, что ждешь, у тебя уже украли. Станут они болеть за израильского солдата.

— Не путай спорт с политикой. Здесь — бизнес и ничего личного, кроме денег. А в спорте деньги притягиваются к молодым, не к старым вешалкам.

— Где же они, эти болельщики за Израиль?

— У телевизора.

Тут и втемяшилось: за всем, что происходит в зале, наблюдает телеглаз, припрятанный под потолком. Ему и следить за бойцовской схваткой, равной настоящему бою на фронте, когда смерть — эта вечная охотница на человека — ищет очередную жертву.

Что же остается? Смертью смерть поправить.

— РусИ!

Кто на очереди? Ага, Дауд! Тыкает стволом, втолковывает: пора вернуть «американку» командиру.

Забавный парадокс: парень назван в честь еврейского царя Давида, а прямых потомков своего святого готов линчевать. Повернуться бы, да пальнуть. Однако боксерские перчатки — выручалочки на ринге — нынче мешают.

Разве не изощренный садизм? Но вряд ли предумышленный. Все-то у них спонтанно, как в джазовой импровизации.

Джазовой? Ну да, вот с чего все началось: торчал намертво в джазовом кафе, балдел под сакс и виски со льдом, пока не перебрал. Тут поманило в туалет, сполоснул лицо, протерся полотенцем и — отключка.

— РусИ! Верни оружие! — напомнил Дауд, угрожая автоматом.

Кто бы возражал? Заодно снимаешь перчатки, перебрасываешь Ахмеду. И снова упираешься в улыбочку.

— А как насчет пострелять?

— Зачем?

— Проверка на меткость.

— Заодно не укажете ли, в кого стрелять?

— Укажем. А сейчас пойдем.

Дауд вновь подтолкнул «Калачом» и повел к пьедесталу почета, у основания которого обнаружилась железная коробка с патронами.

— Заряжай!

Что за детские игры для клиентов сумасшедшего дома? Вручили якобы безбоязненно винтовку, а на поверку выясняется — обойма пуста. Теперь набивай патроны.

Интересно, сохранился ли навык?

Платон некогда сказал: «Мы рождаемся, зная все, что должны знать. Просто нам надо понять это».

Что ж, будем жить по Платону. «Маслята» плавно укладываются под нажимом большого пальца, уходят на глубину. В уме машинально ведешь подсчет, помня: у магазина от М-16 слабая пружина, поэтому вместо тридцати патронов снаряжают двадцать девять, чтобы избежать осечки.

И в памяти выскальзывает наставление старшины: «Янки-дудл получают уже укомплектованную обойму с полным составом патронов — в тридцать штук. Отстрелялись и выбросили металлическую коробку. Поскольку целевое ее предназначение — одноразовое использование. А в Израиле экономия средств и оттого другой расчет, направленный на многократное применение. По сей причине и впихиваем двадцать девять, четко представляя, что первый из тридцати патронов слабосильная пружина второй раз в ствол не подаст».

Почему же ты, имея боевой опыт, нарушаешь армейское правило?

«Двадцать восемь, двадцать девять, тридцать!»

Почему? По кочану! Врага надо брать смекалкой. Считается, что в поле нулевой точки собираются все мысли, все энергии, все события, что были, есть

и будут. Если настроиться на поле нулевой точки, то можно стать пророком. Но пока не попал в поле нулевой точки, не следует забывать об элементарной предусмотрительности. И хитрить. В чем же хитрость? Заранее неизвестно. Но всегда лучше, чтобы вражеская винтовка подавилась собственной пулей.

— Держи! Все в лучшем виде!

Ахмед вставляет магазин на законное место. И, посмеиваясь, говорит:

— РусИ, ба нЕшек ата мевИн. В оружии ты разбираешься.

— А пострелять?

— Иди... отдыхай перед боем.

Иди... Можно подумать, ты уже на минуточку свободный человек. Но нет, предупредительный толчок «Калачом», и вновь напоминание от Дауда: вся твоя свобода лишь в том, что добровольно идешь, куда поведут. Иначе — каюк!

5

Привели на кухню. Пахнет чем-то съедобным, одурманивает. Повар — добротный мужик, метр на два, в белом колпаке и фартуке поверх халата. Выглядит, как и положено профессиональному работнику из древнего цеха вкусной и здоровой пищи. Пластмассовый столик поодаль от плиты, пышущей жаром, но впритирку к полуоткрытой двери. На нем бутылка воды, солонка, бумажный стаканчик с салфетками. Живут не хуже, чем в гостинице. И это под землей, в каком-то забетонированном лабиринте. Не разберешь, какой лаз выведет к Минотавру. А выведет обязательно, иначе не провоцировали бы намеками на тотализатор и боксерскую схватку со смертельным исходом, а сразу под расстрел — и концы в воду.

— Шварму в питу? — спрашивает повар на сносном иврите. — Или положить на тарелку? И соус подлить?

Прежде, чем кивнуть, смотришь на провожатого: когда бой?

— Набивай пузо, — отвечает Дауд.

— Раньше, чем за два часа до поединка, кушать нельзя.

Он неопределенно помахал рукой, давая понять: ешь — не давься.

Давиться, конечно, нет резона. Да и объедаться нельзя. А то в бою так прихватит с левой стороны, чуть выше бедра, что хоть кричи — ничего не поможет. И проиграешь! Помнится, в малолетстве, когда постигал азы бокса...

Но повар смазал прилипчивые воспоминания.

— Подавать? — напомнил о себе, вытирая руки о фартук.

— Да, на тарелке. С соусом, — сказал ты и двинулся к столику. За полуоткрытой дверью в довольно просторном зале кафетерия различил солдата в израильской военной форме без знаков различия. Парень поспешно черпал ложкой густую похлебку из матового цвета пиалы.

— Наш пленник! — горделиво доложил Дауд, усаживаясь рядом.

— Обменный фонд?

— Обойдемся без обмена.

— Неразумно, Дауд. Есть шанс вытащить из тюрьмы ваших людей.

— Трахнем еще раз ракетами по Ашкелону и...

— «Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов».

— Кто сказал?

— Альберт Эйнштейн.

— Пусть он не учит меня жить!

— А совесть?

— Всегда при нас.

— Но иногда прячется в таком отдаленном уголке организма, что в нужный момент ее не отыщешь.

— И не ищи! Кушай. Набирайся сил. Для того тебе мясо, а ему, — показал на солдата, — мучная похлебка.

— Почему вы ставите на меня?

— Проигравший — умирает. Неясно? Сколько тебе повторять?

— Русская рулетка?

— Арабская! С кипящей кровью сионистского врага, пролитой в живом эфире. И непременно израильянином. Для того и создаем тебе благодатную почву.

— И в благодатной почве водятся черви.

— Брось!

— А если он выиграет?

— Да у него всего десять боев в запасе!

— А у меня?

— Двести сорок.

— Откуда данные?

— От судьи-информатора. Своими ушами слышал. На первенстве Иерусалима. «Сегодня у нас выступает, — повел басовито, подражая чужому голосу, — чемпион чемпионов, двести сорок боев, двести тридцать побед».

— Когда?

— В июне.

— А сейчас?

— Август.

— А этот? — кинул палец в сторону солдата.

— Последнее выступление на ринге — три года назад, до призыва в армию.

А что было три года назад? И почему интуитивно чувствуешь: в недавнем прошлом, до принятия злосчастного зелья, когда голова была свежей, ты встречался с этим парнем?

— Я с ним боксировал раньше?

— Чуть не подрался.

— Когда?

— Минувшей ночью.

Ну да! Он сидел за соседним столиком в джаз-кафе с девушкой — голубоглазой блондинкой в трикотажной кофточке и джинсах.

Как ее звали? Назвалась Аллой.

— По-израильски, — доверительно сообщила, — Алия. Это в обратном переводе на русский — репатриация. Ходовое по нынешним временам имя — товарки завидуют.

И тут же пояснила свою мысль: им переименоваться из Марии в Мирьям или из Светы в Орну. А ей клево: никаких проблем не возникает. Как откликнулась на Аллу, с той же легкостью отзовется и на Алию. Вот позовут замуж, сразу откликнется.

— А ты смелая.

— Скорей, беспечная.

Однако и беспечной ко многому надо здесь привыкать. На родине

предков — бабушка еврейка! — она только-только. И что за лажа: первый местный ухажер, этот Самир-инжир — подбородком указала на спутника — не пьет. Имеется в виду алкоголь, разумеется. «И пусть я арабистка по образованию, но у меня русская душа, а ей свойственно гореть, не сгорая. Не угостишь ли выпивкой? Что у тебя? "White Horse"? Окей — не робей, дедок-молоток! Хорошо бы на пару с тобой согреть душу».

Что ж, угостил, как подседа за столик. По принципу: «выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове». Кавалер, полагая, что ты намерен отбить его пассию, взвился на нервах: не спаивай подружку дней его суровых! То да се, схватились за грудки и...

Стоп! Картина не вяжется. Ну, конечно! Не было на нем армейской формы. Рубашка с короткими рукавами, брюки, туфельки. И еще что-то неуловимое, но резанувшее слух! Акцент! Тягучий, упертый на гласные звуки. Так говорят на иврите арабы. Из тех, кто приходят на тренировки в клуб. Ты им с русским акцентом, ужимая слова, они тебе именно так, с растяжкой гласных. «О-они ро-о-ца-А льет метагрЕ-Ев. Я хочу быть боксером». Странно, какой из него израильский солдат, когда не еврей вовсе? Хотя... почему не еврей? А если он родом из мусульманской страны, допустим, Ирака, Алжира, Йемена? Головная боль с братьями нашими евреями. В Израиле они всех расцветок кожи и наречий.

— Кофе будешь? — спросил Дауд.

— Валяй!

— Сколько ложечек сахара?

— Одну.

— У нас любят сладкий кофе.

— А у нас — сладких женщин, — сказал ты, не подумав. Вспомнился какой-то советский фильм с похожим названием.

— Требование гостя — закон для нашего заведения! — столь же шутливо отозвался Дауд. Нажал кнопку вызова на мобильнике, сказал по-английски: «Клиент созрел. Мы ждем».

6

Задняя дверь, выводящая в туннель, приоткрылась. И на тебе — сюрприз! В пропитанном гастрономическими запахами воздухе внезапно соткалась Алла. Вся такая из себя пахучая, будто умывалась духами, но внешне преображенная. Одета на арабский лад: длинное до пят черное платье, косыночка, плотно облегающая лицо, чтобы ни одна прядка волос не выбилась наружу.

— Что с тобой? — удивляешься, предлагая девушке пристроиться рядом. — Кажись, была Алия, стало быть, еврейская репатриация, а превратилась в чистую мусульманку.

— Я гений перевоплощений. Всех времен и народов. Не обратил внимания?

— Обратил. Но на другое. То, что роднит тебя с гениями, так это бесчисленные атомы и молекулы, из которых строится организм, как, впрочем, и вся Вселенная.

— Дедок-молоток, пятерка по химии! Но учти, и у мусульман Алия в благодати и почтении. Самые популярные в арабском мире сигареты так и названы в честь нее — «Алия». Куришь?

— Бросил!

Вышелкнула сигарету из пачки. Пыхнула зажигалкой. Затянулась и давай пускать дым кольцами.

Повар разлил кофе по чашечкам. Почмокал губами, пододвигая к Алле тарелочку с ломтиком торта.

— А гостю нашего заведения — сладкая женщина, согласно заказу, — намекнул, радуясь жизни, обеспечивающей мужчине четыре жены, а на том свете, при посмертном включении в ранг шахида, семьдесят две гурии, и каждая — невинная девственница.

Алла позабыла о торте.

— Уединимся?

— А ты решительная.

— Скорей, благоразумная.

— Но меня приглашаешь на роль паучка?

— Это как понимать?

— Паучок спешит на любовное свидание, зная, что благоверная супружница после соития откусит ему голову. И не опаздывает ни на минуту.

— Окей, паучок, но не будь мудачок. А то облажаешься.

Дауд добавил, смеясь:

— Не бойся, не скушает. Отныне она твоя собственность, подобно тени.

— Против тени ничего не имею. Но смею напомнить, по закону природы тени предписано находится то ли спереди, то ли сзади, но отнюдь ни подо мной, ни на мне.

Дауд одобрительно захлопал в ладоши.

— Философ! Послушай тогда ее стихи, и душа твоя воспарит.

— Представляю заранее, в ее стихах слышится только интенсивное стремление к половой жизни.

— Этого мало? Тебе предлагают рахат-лукум. А ты? Зачем отказываешься от сладкого угощения?

— Если знаешь, что делать, то не возникнет вопрос: «кто виноват?» Вспомни, что произошло с нашими футболистами в Скандинавии. На отборочном матче с датчанами на первенство мира.

— Вашими!

— Хозяева стадиона подкатали им на ночь не менее гостеприимных девочек. А на утро игра. И в результате наши...

— Ваши!

— Проиграли со счетом 4:0.

— Так бы и сказал раньше, что боишься проигрыша... на сексуальном фронте?

— Я женат! — бросил в ответ первое, что пришло в голову, хотя и не был в том убежден.

— Ну и дурень ты, дедок-молоток! — хохотнула Алла и, не доев вкуснятины, поднялась из-за стола. — Мне пора на боковую. Любви все равно не дождешься.

— Возраст, — ввернул ты. И подумав, чем бы скрасить неловкую ситуацию, спонтанно вынес из запасников журналистской памяти: «Если любовь остывает, — говорила Эдит Пиаф, — ее нужно или разогреть, или выбросить. Это не тот продукт, который хранится в прохладном месте». И от себя добавил: тем более, в мерзком подземелье.

Дауд проводил Аллу задумчивым взглядом.

- А она права. Ты дурень! Нашел, когда вспоминать о жене.
- У каждого свои правила.
- Что за чудные правила всю жизнь спать с одной женщиной? Ты с ней спишь, а кто в это время присмотрит за плачущими детьми? А кто в это время приготовит завтрак на всю семью? А кто в это время подоит коз? Мучение, а не жизнь!
- Позволь мне мучиться самостоятельно, без мудрых советов.
- Хорошо, живи пока.
- И повел...

7

Подземка уходит в бесконечную тьму. Проложи по ней рельсы, и на тебе — ветка метро. «Осторожно, двери закрываются! Следующая остановка...»

- Школа ненависти.
- Что? Нас ненавидеть — занятие бесполезное. Шестиконечные снежинки падают на головы антисемитам тысячи лет, и они ничего не могут с этим поделать. Как и отменить снегопад.
- Мало бомбардировок? Хочешь накликать на нас и снежную бурю?
- Сами накликаете, как туннели в Россию пророете.
- Это еще когда. А сейчас... Заходи!
- Полутемная комната. Включенный телевизор с плазменным экраном размером в метр на полтора. Картинка: плачущие дети, арабские, разумеется. Ревущие над ними самолеты, израильские, конечно. Разрывы бомб, руины, умирающие под обломками люди.
- Бесплатное кино?
- Круглосуточное.
- Где вы столько электричества берете?
- Не проблема! Израильяне поставляют нам автономные электрические генераторы.
- Стратегическое оборудование?
- А что?
- Но сейчас война.
- Для ваших правителей всего лишь операция местного значения «Несокрушимая скала». Что для них «купил-продал», когда деньги не пахнут?
- К чему ты клонишь?
- Ты журналист.
- Я не пишу по следам непроверенной информации, к тому же полученной из одного источника.
- При подобном раскладе все забудешь. И что увидел. И что услышал. Сегодня ты собственного имени не помнишь. Завтра не вспомнишь и об этой комнате.

- А что я тут такого увидел? Твой долбанный телевизор?
- Отвори третий глаз.
- Спасибо! Как откроешь третий глаз, сразу видишь, что обманут.
- Мы без обмана.
- Дауд три раза хлопнул в ладоши. Из двери, скрытой в полумгле комнаты, выскочили какие-то бесенята, ростом в метр с кепкой. Но не в кепке, в трикотажной спортивной шапочке с прорезями для глаз, с поясами шахидов,

понятно, не настоящими, с винтовками, тоже игрушечными, но с довольно колкими штыками из пластмассы.

И давай тыкать тебя в грудь, заставляя перекрываться руками.

— Хватит! — рванул в психоз. — Я вам не чучело!

Какой-то карапет на сносном иврите откликнулся заученной фразой.

— Раны твои неглубокие. Заживут до завтра. А умрешь сегодня! — и вознамерился пырнуть в живот. Но промахнулся — салага! Боксерская сноровка позволила легко уклониться от удара. И надо бы в отместку трахнуть мелкого хулигана по еловой башке, но — куда там! — снимут на видеокамеру, пиши объяснительные. К черту! Схватил Дауда за грудки и повернул спиной к нападающим: воткните ему штык в задницу, а от меня отвалите!

Вспокоившись, Дауд вырвался из захвата и вновь хлопнул три раза в ладоши. Послушная приказу мелюзга тотчас исчезла с горизонта, чтобы ожидать часа Х для следующей атаки, может быть, куда более серьезной, связанной с терактом со смертельным исходом.

Спрашивается, какие прелести ждут малолетних писунов на том свете? Старшим братьям, согласно положению о мучениках, в раю выделяют по 72 гурии, все девственницы первой женской свежести. Мелким какерам гурии без надобности. Наверное, их больше прельщают конфеты и мороженое. Впрочем, что за дурацкие мысли лезут в голову? Какое тебе вообще дело до всех этих наворотов? Мы рождены, чтобы любить жизнь. А их сызмальства заставляют заучивать, как мантру: «Мы любим смерть в отличие от тех, кто любит жизнь. Поэтому нас не победить никому».

Сколько же это должно продолжаться, чтобы мир прозрел и увидел: надвигается второй потоп, теперь уже огненный, который всего за несколько лет затопит всю землю.

Когда младенец Ной вышел из утробы матери, тельце его светилось, будто облитое неугасимым пламенем. Отец его Ламех испугался этого зрелища: наверное, жена — подумал с душевным содроганием — сожительствовала с божеством. Однако дед его Енох, будучи признанным пророком, сказал: прими неопалимого ребенка как собственного. Через него во времена всемирного потопа будет спасен род людской.

Какой парадокс: в ту давнюю эру наши предки без всяких технологических ухищрений прогнозировали будущее. А наши современники, видя все приметы надвигающейся катастрофы, не способны заглянуть дальше своего носа — на год-два вперед. И раз за разом вступают на минное поле, куда через срок выведут на погибельную прогулку собственных детей и внуков.

Слепые ведут слепых
путями слепой надежды.
Им светит слепая звезда,
своим ослеплённая светом.
Но сколько в пути не плутай,
окажешься в небе нездешнем —
наедине с душой своей,
дыханием Божьим согретой.
О, Господи! Предвосхити
летопись жизни и смерти.
О, Господи! Пошади!
Избавь нас от этого знания.
Часы живых, прошу,
с часами мёртвых сверьте.
И вслушайтесь, и вслушайтесь
в их слитное звучанье.

8

Их сила в том, что они любят смерть. Наша сила в том, что мы любим жизнь. Когда же их власть, то насильно выводят на ратное поле любящих жизнь, причем с неперменным условием: побежденному — смерть.

На ринг поднимается Алла. Держит над головой довольно увесистую доску с наклейкой «1-й раунд», похожей по форме и цвету на оливковый лист.

Грациозно проходит по кругу, демонстрируя эту доску болельщикам: разбрызганной по скамейкам мелюзге с игрушечными поясами шахидов и их бородатым инструкторам.

Алла скрывается за канатами. И наступает та, неподвластная разуму вечность мгновений, как между жизнью и смертью, когда прошлого уже не существует, будущее еще не рождено и ты один на один с непредсказуемым настоящим.

Кто кого?

И тут вспыхнуло в мозгу нечто китайско-корейское, напоминающее Сеул: рикши, бумажные фонарики, автобусы в роли разъездных афиш с изображениями бегущих, прыгающих, поднимающих штангу атлетов. Олимпийские игры 1988 года. Спортивный дворец, ковровая дорожка, ведущая к боксерскому помосту. Три ступеньки вверх и...

Из вековой дали послышалось:

— Секунданты за ринг!

В Штатах говорят: «Если вы сами себе адвокат, то ваш клиент — глупец».

В Израиле говорят: «Если вы сами себе судья, то вашему клиенту не выбраться из заточения».

В России говорят: «Если не ты, так кто?»

Гонг! И четыре шага по диагонали. Ради борьбы за жизнь, хотя смерть — эта вечная охотница за человеком — уже хищно облизывается, выбирая лакомую жертву.

Отринуты мысли, страхи, волнение. Обманное движение, уклон, джеб справа, на отходе свинг левой. Теперь перегруппировка, и снова бросаешься в атаку, постигая телом неземную легкость, неразлучную спутницу волевого импульса, всем своим существом направленного к победе.

Тридцать секунд, сорок, на второй минуте рисунок поединка выравнивается и полностью проясняется тактический замысел Самира. Ни дать, ни взять, скрытый левша. Для Израиля это довольно частое явление, связанное, как это ни странно, с ивритом, вернее с тем, что пишут справа налево и зачастую левой рукой.

У скрытого левши, в особенности не имеющего должного бойцового опыта, одна особенность. Излишне часто пускает в ход левый боковой, полагая: достаточно влечь сопернику по скуле, и — аут! Но если нарвался на технаря, а не взрывного файтера, тогда козырная карта становится проигрышной. Предметно это выглядит так: ты подныриваешь под убойный кулак и на выходе — раз справа. Все! Парень в грогги!

Счет открыт. Рефери размеренно рубит воздух рукой, считает по-английски: «ван, ту, фри». И посматривает в нацеленный на него телеглаз. Считает секунды — красуется. А как же! За те же, отмеренные ровным голосом секунды, становится знаменитым на весь арабский мир.

Всего ничего, пять минут назад, перед началом роялти-шоу этот рефери в белой рубашке и брюках, в галстучке-бабочке, представившись Махмудом аль Кувейти, ораторствовал здесь же, у канатов: «Мы, как популярные в европейских сказках черти из табакерки, способны выскочить из-под земли в любом районе Израиля. И живое свидетельство тому эти выведенные перед вами на ринг военнопленные. Захвачены в обычном кафе — там, где ни о какой опасности не думали. Наш сионистский враг утверждает, что уничтожил тридцать туннелей. Но это капля в море. До настоящего момента их прорыто три тысячи, и количество подземных переходов увеличивается с каждым часом. Поэтому сегодня я провозглашаю создание Туннельного государства, верховным правителем которого Всевышний назначил меня, писателя и художника, покинувшего Парнас ради политического Олимпа. Отныне подобные боксерские поединки, проводимые пленными израильтянами, будут проводиться и впредь. Итак, начинаем первое представление. Боксеры, на центр ринга!»

Сколько раз по призыву — «Боксеры, на центр ринга!» — ты выходил в бой. А по окончании пожимал руку противника в благодарность за честно проведенную схватку. Теперь же в случае триумфа тебе предстоит убить его под вопли бесноватой публики.

Удар! Еще удар! Шаг назад. И прямой встречный. Справа. Все!

Соперник повержен, упокоен на матерчатом полу. Так и не понял собственной оплошки.

«Размашистость до добра не доводит, — сказал бы ему, как ученику. — Бокс любит точность. И живет по законам физики: сила действия равна противодействию. Чем сильнее бьешь, тем более убийственен встречный удар.

Мутно в голове. Не могу врубиться в дикую реальность, видя, как противника ведут к пьедесталу почета не за медалью, а на расстрел. Софокл сказал: «никогда не родиться, возможно, величайший дар из всех». Но если родился, то держись за жизнь. Это уже твое псевдо-философское дополнение, интуитивно подсказавшее вставить тридцатый патрон в обойму.

Как это было давно. Будто в прошлом веке. А сейчас...

Ахмед поддает «американку» М-16.

Вводишь затвор.

Прицеливаешься в пошатывающегося от слабости Самира.

Его, стоя на верхней ступеньке пьедестала почета, поддерживает облаченный в белое одеяние Махмуд аль Кувейти.

Ну и человек! Еще тот писатель и художник! Главное кредо: красоваться перед камерой, демонстрировать с высот своей политической платформы презрение к смерти. Неужели не боится получить пулю вместо смертника?

Не боится? Это мы еще посмотрим. И... Нажатие на спусковой крючок. Слава Богу! — осечка.

— Не стреляет твое оружие! — поворачиваешься к Ахмеду. — Давно, наверное, не смазывал.

В зале ропот.

— Дай, я посмотрю! — говорит Алла.

— А я не специалист?

Вынимаешь магазин, с натренированной легкостью выщелкиваешь большим пальцем лишний патрон. Теперь все решают мгновения.

Секунда первая. Наносишь удар прикладом в подбородок Ахмеда — челюсть выбита, пусть воет и кружится, приседая, на полу.

Секунда вторая. Дауд вскидывает автомат.

Секунда третья. Алла бьет его сзади наотмашь доской с наклейкой «3-й раунд».

Секунда четвертая, и последняя в этом незапланированном раунде. Разворачиваешься лицом к пьедесталу, вставляешь обойму и отдергиваешь затвор.

Гитлер пережил двадцать покушений. Сталин не допустил ни одного реального — всех подозреваемых перебил еще до возникновения намерений.

Гитлер был неудавшимся художником.

Сталин был неудавшимся поэтом.

Не дали им возможность подняться по шатким ступенькам творчества на самый верх лестницы, чтобы попутно разбили нос, либо получили по два-три инфаркта.

Не позволили продвинуться в честолюбивых замыслах.

Не пропустили в очереди на признание.

Не подумали, что люди искусства непредсказуемы.

В следующий раз, надо полагать, умней будут.

Правда, кто изобретет микроскоп, через который в творческом микробе различается потенциальный тиран-политик?

Микроскопа под рукой нет. Но есть оптический прицел. Через него и посмотрим на сволочной микроб, именующий себя Верховным правителем.

И одиночным — промеж глаз — отправляешь Махмуда аль Кувейти к праотцам, где его в нетерпении ожидают гурии.

Переводишь предохранитель на автоматический режим и короткой очередью, поверх голов, осыпашь свинцовым горохом трибуну. Вся живность — под скамейки, никто не бросается на помощь Ахмеду и Дауду.

Всеобщая растерянность? Это тебе и надо. Машешь Самиру: «Ко мне!» И бегом из зала. Вдогонку за Аллой, прихватившей «Калач».

— Сюда! Сюда! — повела она за собой, углубляясь в туннельный лабиринт.

9

Мы дышим воздухом, состоящим на 76 процентов из азота и 24 процента из кислорода. На глубинах азот наркотически влияет на человека, пьянит его, иногда до потери сознания.

Вот и представим себе, что инопланетяне, прибывшие на Землю в незапамятные времена, пьянели от азота, который на их планете не настолько распространен в воздухе и подается в легкие под иным давлением.

Представили?

А теперь, дополнительно к этому, представьте себе, что они в таком, мало сказать, хмельном состоянии входили тысячи лет назад к нашим женщинам, о чем написано в Библии.

И, наконец, представьте себе, какое на нетрезвую голову было создано ими потомство.

Зрелище импозантное: два полуголых мудака в трусах и майках, с автоматами взаимоубойных систем «АКМ» и «М-16», между ними светложаная девушка в длинном до пят платье с льняными волосами, спрятанными под черным платочком.

Полуголые мудаки, как два бойцовых петуха, насканивают друг на друга, а светлая девушка расталкивает их.

Эко угораздило тебя! Опять ввязываешься в ссору, продолжение, стало быть, схватки, начатой в джазовом кафе. С чего бы это? Бежали по коридору, шмыгнули по знаку Аллы в полуоткрытую дверь, оказались в бетонном колодезе с морским штормтрапом, ведущим к люку. Взобрались наверх, подняли за собой веревочную лестницу, чтобы сбить со следа охотников на человека.

— Мои пенаты! — сказала Алла.

Казалось бы, здесь, в уютной комнатухе с кушеткой, обеденным столом, холодильником передохнем. Затем покумекаем и сообразим, где искать путеводную нить Ариадны, дабы выбраться наружу, не попав в пасть к Минотавру. Но не тут-то было! Самир, обоглаженный из-за позорного поражения, вспомнил заодно о донимающей его давеча ревности и вскинулся, полагая, что ты заводишь с Аллой какую-то интрижку. Не врубается в русскую речь, вот ему и кажется всякое.

Ты спросил Аллу:

— Они тут нас не поймают?

Она ответила:

— Они там еще не оклемались.

Полиглот-самоучка и завелся, уловив намек на любовные шашни.

На иврите «они» это «я», «тут» — «клубничка», «там» — «вкусная». Вот ему и почудилось: ты якобы заигрываешь с девушкой, как какой-нибудь Казанова. По ивритоязычным соображениям местного Ромео выходило: ты соблазняешь Аллу, говоря: «Я клубничка», а она многообещающе откликается: «Я вкусная».

Ничего себе! Попробуй объяснить чужаку законы русского языка, когда он обуреваем злобой. Не начинать же, право, второй бой.

— МаспИк! Хватит! — расталкивает вас Алла и потерянно добавляет: — Черт! Они среагировали быстрее, чем я думала.

Снизу послышались крики: «Лестницу! Несите лестницу!»

Кладанье затворов. Выстрелы. В замкнутом пространстве они создают пугающий грохот. Но панике нельзя поддаваться.

В нашем распоряжении всего несколько минут, пока преследователи не обзаведутся лестницей. Тратить время на повторную драку, когда попали в мышеловку, просто глупо. Но почему-то именно глупость и руководит Самиром: наваливается всем телом, требует у Аллы отцепить ремень от «Калача», чтобы связать тебя.

Ненормальный! Я вытащил этого идиота с того света, а он?

Бешеный напор мышц, хриплое дыхание, оскаленные зубы. Не совладать! Падаешь, сбитый на пол подсечкой. Чувствуешь, как придавливают тебя коленом и... Но нет! Алла резко бьет копкой пальцев в основание его черепа, и Самир валится ничком.

— Что это на него накатило?

— Правовверный хамасник!

— Твои друзья говорили, израильский солдат.

— Подстава в армейской форме.

— А ты боевая.

— Скорей, оперативная.

— Убила?

- Нейтрализация, дурень ты, дедок-молоток!
- Его по башке, а я, видите ли, дурень.
- Чего ворошить старое... Надо было идти со мной...
- Уединяться? — заметил с какой-то язвительностью, совершенно неуместной в сложившихся обстоятельствах.
- Наедине я могла бы разъяснить положение. А так... Окей — не робей!
- Что «так»?
- Вляпались мы из-за твоей щепетильности, дедок-молоток, в историю. Пора ноги делать.
- Как бы тебе их не выдернули. Отсюда же нет выхода!
- Смотря для кого. — Алла набрала цифровой код на скрытой за холодильником панели. — А сейчас — за мной!
- Машина отъехала на колесиках, образуя проход в складское помещение. И через полминуты вернулась на место.
- Куда это мы попали?
- На стеллажах кастрюли, сковородки, консервные банки, бутылки, прозрачные упаковки с пластиковыми стаканчиками и тарелками, ножами и вилками.
- Принюхайся!
- Пахло какими-то пикантными соусами, жареным мясом, луком, пригорелым оливковым маслом.
- Поблизости кухня?
- Ресторанная.
- Не «наша»?
- Другая.
- На поверхности?
- А где же, по-твоему, должен быть выход из туннеля? Под землей?
- Прорываемся с боем? — снял с предохранителя автомат.
- Хватит тебе. Отвоевался! Давай лучше передохнем! Подождем немного, пока ресторанная публика разойдется.
- Сюда за нами никто не последует?
- Волшебный ключик только у меня.
- А твой дружок?
- Какой из него дружок? Штинкер, согласно предположениям командования туннельного батальона.
- Вонючка?
- На идише — вонючка. Для израильтян — стукач. Для хамасовцев — предатель.
- Предательство — это только вопрос времени, как говорил кардинал Ришелье.
- Посему меня и отрядили в кафе. Проверить паренька на лояльность. Кстати, из-за подозрений и задуман этот спектакль с боксом, чтобы расстрелять прилюдно. И при этом не позориться, что в их ряды затесался агент Моссада.
- А на самом деле?
- Просто лажанулся: подозрительными показались его ходки к джазменам.
- Американские кушанья решил попробовать на зубок?
- Адаптация. Перед самопроизвольным терактом.
- А ты информированная.
- Скорей, где пасусь, там и щиплю травку.

- Тоже мне, Мата Хари! Где же ты пасешься?
- Сначала угостимся выпивкой, как вчера.
- Чего вдруг?
- Было прикольно.
- Хватит мудрить! На кого работаешь? На Израиль? Хамас? Русских?
- Алла озорно показала кончик язычка.
- На русскоязычных! — Зашла за стеллаж, припрятала за картонными коробками оба автомата. И появилась с литровой бутылкой «White Horse». — Хочешь?
- Не морочь мне голову! На кого?
- Это видно по результатам. А результат — тебе свобода, правителю Туннельного государства Махмуду аль Кувейти небесные гурии — ни сиськи, ни письки, одно воображение, Самиру — нейтрализация... до страшного суда. Продолжить?
- Оставим! Выведешь к людям, а там разберемся.
- Сначала выпьем на посошок. У меня русская душа, а она имеет свойство гореть, — и разлила виски по пластмассовым стаканчикам. — Это придаст тебе бодрости.
- Лехаим!
- А сейчас иди ко мне, дедок. И не робей! Окей?
- Надеюсь, я тебя не разочарую.
- Ты обязательно узнаешь об этом. Потом...

10

Внезапно он осознал, что ровно ничего не помнит из недавних событий. Где он? В туалетной кабинке? В обнимку с унитазом? В голове шум, в руках дрожь. Никакого представления о реальности. Но почему-то из всей одежды лишь трусы и майка, а руки пахнут оружейным маслом.

Смутно вырисовывается: ринг, рефери в белой рубашке, брюках и с галстуком-бабочкой. Отсчитывает секунды по-английски: «ван, ту, фри». Нок-даун? Ну, нет! Подняться бы на ноги, и где наше не пропадало? Как это в песне про купца Калашникова?

И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка во сыром бору,
Под смолистый под корень подрубленная.

Где-то там наверху пишут нашу судьбу. А мы, как редакторы и корректоры, подправляем-направляем, осознавая иногда, что делаем это по той причине, что нам дано право выбора. Но чаще этого не осознаем. И шпарим будто по рельсам, внезапно соскакивая на шпалы или ухаю под откос, так и не сознавая: что же произошло на самом деле?

А что?

Анна Саед-Шах

Непостижимое небо

В День Победы

Девятое мая, в саду небольшое застолье
не застолье, а так — грамм по сто,
два таджика, узбек, армянин
и упругая дивчина Ольга —
сексуальное меньшинство.

Все, кто строил этот нехитрый дом мой,
пришли сегодня нарядные, не какая-то шелупонь,
затеяли плов и шашлык и запели стройно
про то, как в печурке бьётся огонь.

Меня по имени называть не смеют,
зовут хозяйкой и льстят без меры,
о нет, они не рабы, двое даже имеют
дипломы СССРа.
Вольны уехать хоть завтра, хоть к чёртовой матери,
вот только беда: из языков иностранных
знают одно лишь слово — немецкое: гастарбайтеры,
а с ним ну куда?
Разве что — на товарных и ранних...

* * *

Когда человек стареет,
ему становится страшно,
и он начинает думать,
кому бы себя всучить.
И вот он — к жёнам и детям,
и вот он — к друзьям-подругам,
и к внукам — а вдруг да вспомнят,
что есть человек такой.

А жёны воротят морды,
а дети — ступай, мол, с богом,
друзья насовсем в могиле,
а внуки не признают.
И все они — тра та-та-та,
а где же ты был тогда-то...
Какие вы стали злые, —
подумает человек.
И к батюшке за советом —
мол, так, мол, и так случилось,
один я на белом свете
в смертельной хожу тоске...
А батюшка — знай смеётся:
— Такая вот Божия милость,
ведь коли никто не держит,
придёшь к Нему налегке.

* * *

Перекрестилась старательно,
свечку зажгла на пороге,
мимо икон покружила,
святым заглядывая в глаза.
Смотрят внимательно,
лица уж больно строгие,
кому бы поставить —
и ошибиться нельзя...

Ей про себя заранее нужно
знать, какою она была,
если, к примеру, жила не с мужем,
если нищему не дала.
Если мамаша давно не снится,
если, к примеру, аборт — пять,
если обвешивала грамм по тридцать,
но только тех, с кого можно взять.
Что там ещё? Ну котят бывало
в речке топила, травила собак,
ну и т.п... За такую малость
что ей положено, что уж не так?
Всё, как у всех. И спала спокойно,
в поте лица добывала кусок.
...Но ведь за что-то — хоть и не больно —
по воскресеньям,
нажравшись убойно,
лупит и лупит родной сынок.

* * *

Когда крупная красная ягода солнца,
сидится на краешек моря,
и оно подтаявшим десертом
стекает в хрустящий ракушечник,
ты кричишь: Ах, красота какая! —
и ныряешь в золотую дорожку.
А ночью, если не полнолуние,
ходим с мадерой смотреть на звёзды.
Их удивительно много, но мы различаем
только Большую Медведицу.
Лежим на спине и гадаем,
как бы могли называться те, что мигают справа,
и те, что сверкают слева.
У нас есть небольшой телескоп,
у нас есть ноутбук
со звёздной картой вселенной.
За двадцать наземных лет
мы смогли бы выучить назубок
весь Млечный путь и со знанием дела
тыкать пальцем в непостижимое небо,
произнося имена богинь и зверей,
но почему-то шепчем: *мамочки... господи...надо же....*
..

Микаел Абаджяни

Вероятность полёта

Рассказ

Если бы я остался жив, то, вне сомнения, согласился бы с вами, что мысль эта была абсолютно бредовая. Но мог ли я думать тогда, что так плохо все для меня кончится. Даже Лидочка кричала мне: «Куда полез, старый армянский дурак!» Но я давно уже решил, что залезу, и никакая Лидочка переубедить меня была не в силах. Сначала нужно было забраться на железный гараж и не свалиться, потом перебраться на толстую суковатую ветку, затем переставить ногу вон на ту, другую, что потоньше и повыше. Дальше нужно было не запутаться в проводах. Дальше...

А липа стояла посреди двора — высокая, безучастная ко всем моим жизненным выводам, суматохе чувств и желаний души; шелестела от всякого дуновения желтеющими листьями и тихо покачивала почти у самой своей вершины большим вороньим гнездом. Вороны еще ранней весной вывели потомство. Большие и серые, чернокрылые, они иногда прилетали на старую липу, ловко маневрируя в полете между частых ветвей. Садились на старые, потемневшие от дождей суки и пристально рассматривали свое гнездо, по-хозяйски так смотрели. Заглядывали в окна нашей высотки, коротко встречались со мной взглядом и улетали. И от карканья их почему-то в душе моей распространялся удивительный покой, природа которого мне была не вполне понятна. Видимо, моя душа была чужда этому миру так же, как и карканье это было далеко от какой-то гармонии с мутным московским осенним утром.

А я в какой-то день своей жизни совершенно уверился в том, что тайна полета запрятана в глубинах вороньего гнезда. Огромное, все из перекрученных толстых веток и сучьев, зажатое в развилке двух могучих ветвей, оно притягивало взор и удивляло самим фактом своего существования. Мне казалось странным, что эти осторожные создания могли жить в непосредственной близости от человеческого жилья и практически не скрывать тайну полета. Вся их жизнь была на виду. Чтобы летать, нужно было начать жизнь в гнезде. Вороны, так же как и люди, сначала были беспомощны и неспособны к полету.

Микаел Федорович Абаджяни — прозаик и переводчик. Родился в Ереване в 1970 году. Окончил Ереванский Зоотехническо-ветеринарный институт. Член Союза писателей Армении. Консультант проекта «Моссалит». Издавался в России, США, Австралии, Франции, Ливане. Переводился на английский, французский и др. языки. Есть литературные награды.

В гнезде они сидели, раскрыв черные блестящие клювы, в полной уверенности, что их накормят, не бросят и что умение летать к ним все-таки придет со временем. Главное — быть непоколебимым в самой вере в возможность полета, и со временем он станет возможным. Кстати, не у всех это получалось. Однажды я наблюдал, как одна ворона вылетела из гнезда раньше времени и пролететь ей удалось не больше трех десятков метров. Лидочкин одноглазый рыжий кот оказался тут как тут и сожрал ее в два счета, только сизое перо осталось лежать на асфальте. Так обнаружилось, что не только я следил за вороньим гнездом. Правда, выяснилось еще, что интерес у каждого из нас был свой.

За всю мою жизнь ничего не припомню более радостного, чем ощущение свободного полета. Так часто охватывающее в детстве, оно полностью перестало меня посещать в старости. Реальность, словно оковы, все крепче и крепче сжимала мое тело, прижимая к земле, нагружая заботами и болезнями, тягостным ожиданием скорого конца. А ведь в юности от жизни был такой чистый и ясный посыл летать, но я упустил время, когда можно было этому научиться. Раньше желание летать казалось странным, идущим из глубины снов. Но если ощущение полета в моей душе жило, то не значит ли это, что в самой сути моей уже была заложена и способность к полету? Ее нужно было развить вопреки всем предрассудкам и здравому смыслу. Нужно было пытаться и пробовать, а не двигаться в том жизненном русле, в котором меня удерживали общие законы человеческого общества. Нужно было отдаться зову сердца и внять смутному влечению. Говорят, что эмбрион во чреве матери повторяет эволюцию всех прежних видов, ранее существовавших до него. Когда-то наши предки летали. Иначе откуда в человеке эта неодолимая тяга к высоте? Откуда это страстное желание воспарить над порочными страстями, подняться над этим бранным и грешным миром? Мне было жаль тех многих лет жизни, которые я потратил на изучение ненужных наук. Жаль было тела, разбитого временем и ревматизмом. Мои конечности к этому времени утратили гибкость, присущую только юности, глаза стали близорукими, а мысль — туманной и лишенной былого остроумия. Но еще не все было потеряно. Еще оставалось какое-то время. Можно было позаимствовать умение полета у этих удивительных существ. Именно у ворон...

Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что никакие вороны меня там, в гнезде, кормить не будут, поэтому решил взять с собой еды на первое время и кое-какие необходимые вещи. Раскопал старый походный Лидочкин брезентовый рюкзачок, полинялый до белизны, с потертыми кожаными ремнями. В него я сложил два батона хлеба по 8 рублей из «Монетки», три банки лосося, три упаковки кефира «Домик в деревне», свернутую в бараний рог палку краковской колбасы и бутылку армянского коньяка пятилетней выдержки. Этого на какое-то время должно было хватить. Помимо съестного, я положил в рюкзак желтый фонарь с прорезиненным корпусом и ржавый складной нож. Подумал, не забыл ли чего. Лидочка должна была скоро вернуться, поэтому я спешил: натянул серую шведскую куртку с капюшоном, налил в блюдце молока одноглазому Лидочкиному коту, запер дверь и ушел.

Во дворе разгоралась желто-красная осень. Сквозь жидкий туман иногда пробивалось солнышко, и тогда становилось тепло. Но ночами бывало прохладно, чаще моросил холодный дождик, и налетал порывистый ветер. Весь двор был усеян мокрыми листьями. Они лепились к разноцветным машинам, к черному

блестящему асфальту, к прутьям крашенной черной краской ограды. Во всем дворе не было никого, и я подивился, насколько удачно все складывалось. Никто не остановил, не окрикнул...

А липа роняла прозрачные тени на желтый кирпич высоты и задумчиво шелестела. Стояла она, как столп мироздания, мощная, вселяющая уверенность в моем замысле, с огромным, мокрым от дождей черным гнездом между осыпающихся листьев. И еще казалось, что само солнце сошло со своего насиженного места и вращалось теперь только вокруг моей липы.

Я закинул на крышу гаража рюкзак, тот глухо, но громко стукнулся о стальной лист. Затем, наступив на навесной замок, я ухватился за край крыши и с усилием перенес на нее другую ногу. Эти манипуляции мне дались с большим трудом, чем я предполагал. Я уже стоял довольно высоко на крыше гаража, изрядно обессиленный, в ужасе от своей затеи. Малодушные овладело мной от мысли, что меня застучает Лидочка или кто-то из соседей. Я вдруг осознал всю нелепость своего положения, ведь я мог застрять в невероятном месте, потому как сил добраться до гнезда могло просто не хватить. И все-таки, немного отдышавшись, надел на спину рюкзак и подступился к липе. Плохо помню как, но, обсыпаясь желтыми листьями, я забирался все выше. Ветви от моих движений вздрагивали каждый раз все сильнее. Некоторые сухие сучья предательски обламывались под моими неуклюжими конечностями. Я цеплялся, как умел, ободрал о кору руки, но самым неприятным было мгновение, когда рюкзак запутался в проводах и у меня не осталось сил ни спуститься, ни забраться выше.

Гнездо оказалось гораздо больше, чем я предполагал. В нем свободно мог поместиться даже немалых размеров человек. Мокрым и ошетиненным ветками оно казалось только снаружи. Внутри же оно было сухим и даже выстланным чем-то мягким. Это была победа! И только я, с рюкзаком на спине, стал переваливаться через край гнезда, как услышал Лидочкин душераздирающий вопль, сотрясший стены высоты. Честно говоря, я его ждал, как беглый заключенный ждет выстрела в спину. Но, к счастью, крик этот уже не мог меня вернуть, ибо был уже не властен надо мной. Но он все звучал и звучал, в нем угадывались разные интонации, знакомые мне за время жизни с Лидочкой. Окна высоты вибрировали, временами со звоном резонируя. Но в вопле этом не было призыва, а только тоскливая констатация факта, признание поражения. Я был вне досягаемости. Я торжествовал! Но решил не подогревать страсти, а на время с головой укрыться в гнезде и пока не высовываться.

Скоро я обнаружил, что среди серовато-пестрой колкой и хрустящей скорлупы я сидел не один. Кто-то шевелился рядом, большой и неуклюжий, переступал с лапы на лапу и неловко старался приспособиться к моему внезапному вторжению. Большой комок черно-серых перьев не то ежился от моего присутствия, не то тяготился своими собственными бедами и противоречиями. Это был старый ворон. Он пытался рассмотреть меня то одним глазом, то другим, смешно поворачивая при этом разинутый, покрытый трещинами клюв. Из глаз его сочилась какая-то белесая жидкость, по перьям ползали в невероятном количестве красноватые крошечные блохи, которые то исчезали, то вновь обнаруживались на перьях, вызывая приступы дурноты. Крупные язвы просматривались сквозь редкое оперение по всему птичьему телу. Когти на

черных пальцах, покрытых более мелкими кровавыми язвами, тоже потрескались. От него шел тяжелый дух разлагающегося заживо тела. Существо это было больным. Но оно, пожалуй, умело летать и могло быть мне полезным. Этот ворон хоть что-то мог поведать о полете. Но даже приняв все это во внимание, я все-таки с отвращением произнес: «Кыш-ш!» Сначала негромко, потом громче, укрепившись в своем решении и даже подтолкнув его ногой. Ворон каркнул громко и надтреснуто, с усилием вспрыгнул на неровный край гнезда и улетел, оставив мне свое пристанище.

Через некоторое время, когда немного выветрился тяжелый вороний дух, я стал осматриваться. Успело распогодиться, выглянуло солнце. Его лучи путались в желтой липовой листве прямо над моей головой. Стойкое ощущение счастья поселилось в душе и не хотело исчезать. Отсюда видно и слышно было далеко, и я наслаждался свободой. Воронье гнездо было зажато между двух толстых веток — здесь ствол раздваивался. Одна ветвь убегала в небо, мотаясь в белых облачках, а другая затейливо изгибалась на уровне пятого этажа и тянулась прямо к Лидочкиному окну с беленькой занавесочкой и вечно широко распахнутой форточкой. Через эту форточку шастал на улицу рыжий одноглазый кот. Несмотря на высоту, он довольно ловко, сопровождая свой выход громким скрежетом когтей о стекло, выбирался на крышу, а оттуда неведомыми никому, даже Лидочке, путями пробирался во двор. Впервые я подумал о том, что он мог бы, пожалуй, оттуда по ветке подобраться и к вороньему гнезду, и отметил про себя, что у меня стали появляться какие-то птичьи опасения на предмет котов. Видимо, я уже понемногу стал проникаться вороньей психологией. Психологией полета. Но самым восхитительным в моем положении было то, что спуститься отсюда было невозможно. Ни залезть, ни спуститься! И никому из людей до меня больше не добраться! Из гнезда можно было только улететь!

А внизу было солнечно! Искрилась золотой подковой Москва-река, по ней крошечными жучками шли в обе стороны прогулочные катера и теплоходы, порой исчезающие под многочисленными мостами. По берегам в легкой осенней дымке зубчатым строем тянулись сталинские высотки. Сверкали золотым светом купола храмов, пестрели обширными мшистыми площадями парковые массивы. Прямой стрелой уходила к Красной площади Тверская, забитая малюсенькими автомобилями. Весь этот поток жил и дышал в своем ритме, замирая на перекрестках. Люди, словно микроскопические разноцветные блошки, бежали по бесчисленным улицам к черным воронкам станций метро, которые то методично всасывали человеческие потоки, то ритмично изрыгали их. Железнодорожные узлы, транспортные развязки, садящиеся и поднимающиеся в воздух крошечные самолеты — все жило своей восхитительной жизнью. Все это не могло не вызывать восторга и отклика в моей душе. Хотелось кричать, приветствовать этот мир, махать ему из своего гнезда рюкзаком, ведь жить оставалось немного. Все это поощряло мое устремление скорее обрести способность летать, стать хозяином остатка своей жизни.

К вечеру небо затянулось плотным слоем серых облаков, и оттого сумерки держались восхитительно долго. Стал накрапывать дождик, чаще срывались с веток желтые листики, но в гнезде было сухо и тепло. Я не мог понять, повинуюсь какому такому закону, блестящие капельки не попадали в само гнездо и облетали меня стороной. От этого мне казалось, что я стремительно лечу

в темное, с серыми просветами небо. Я был счастлив, не забывая, впрочем, о настоящей цели моего здесь пребывания. Но вот наконец зажглось окно в Лидочкиной квартире, тускло осветив желтым светом края моего гнезда. Это была кухня. Лидочка по обыкновению в этот час что-то готовила. Она казалась мне немного печальной. Иногда приподнимала крышку кастрюли, и оттуда вырывались густые клубы пара. Голод сильным спазмом сжал желудок. Интересно, а что едят вороны? Говорят, как и люди, все едят — даже мясо. Да, тарелка борща со сметаной и большим куском мяса не помешала бы. Я проглотил обильную слюну и потянулся к рюкзаку. Откупорил не без помощи складного ножа армянский коньяк и сделал большой глоток из матовой бутылки. Чудесное тепло разлилось изнутри по телу. Тем же ножом я вскрыл банку с лососем и подцепил кусок красной рыбы. Не успел я засунуть его в рот, как услышал знакомый скрежет когтей о стекло. Гнездо подо мной качнулось, и по ветке в мою сторону на четырех лапах грациозно двинулось какое-то существо. Вслед за ним свет в окне заслонила Лидочкина фигура, которая всматривалась во тьму, но, похоже, разглядеть что-либо ей не удавалось. Честно говоря, я никогда особенно не понимал, кот у Лидочки или кошка. Раньше мне думалось, что кошка. Но теперь я ясно видел по повадкам, что это был кот: движения его были полны достоинства и силы. Он уверенно шагал по ветке, не страшась высоты. Единственный глаз его горел недобрым зеленым огоньком, и чтобы все вокруг держать в поле зрения, ему приходилось сильнее крутить головой, чем это обычно делают коты. Лидочка крикнула ему вслед что-то вроде «ну приди только!» и хлопнула форточкой, зло зазвеневшей стеклом. Кот оглянулся и вдруг хрипловатым человеческим голосом сказал:

— Теперь раньше утра домой не попасть!

Говорил он вполне членораздельно, нагло ухмыляясь, в полной уверенности, что я должен разобрать его речь.

— Ну, чего уставился, наливай давай! — сказал он и ловко большим острым когтем подцепил из консервной банки кусок лосося.

— Куда наливать?

— Да вот сюда и наливай!

Кот пошарил в недрах вороньего гнезда лапой и вытащил большой хрустальный кубок, искрившийся прозрачным желтым светом! Мне вспомнилось, что такой же кубок стоял когда-то у Лидочки в шкафу, но таинственным образом пропал. Лидочка довольно долго дулась на меня, думала, что я его, наверное, разбил. Я налил янтарной жидкости в кубок, с сожалением заметив, как на треть уменьшилось содержимое бутылки.

— Тебе не вороной надо стать, а котом! — сказал он с важным видом.

Я промолчал. И тогда Лидочкин одноглазый рыжий кот стал рассказывать о прелестях кошачьей жизни, приводя вполне убедительные аргументы в пользу того, что кошачья жизнь может сложиться не в пример лучше вороньей. Оказалось, что, будучи котом, я смогу уходить и приходить к Лидочке, когда мне заблагорассудится. Надоела Лидочка — шмыг в окно, она еще и просить будет, чтобы вернулся. Свобода передвижения тоже могла бы быть неограниченной. Кот пустился в пространные рассказы о крышах и чердаках, о приключениях, которые там могут поджидать. О том, что сам себе хозяин. О том, что заборы и ограды — не препятствие, а всякая щель в стене может служить убежищем. А еще рассказывал о вкусных голубиных и воробьиных яйцах.

Говорил он вдохновенно, но единственный глаз его почему-то сверкал завистливо. А иногда, в минуты крайнего возбуждения, он завывал слишком громко и почему-то оглядывался злобно куда-то во тьму.

— Кормежка тоже халявная. Ну как, не хочешь стать котом? Я тебя сам учить буду!

Пока кот говорил, я его не перебивал, понемногу наливал в периодически пустеющий кубок армянский коньяк. Мы с ним открыли уже третью банку лосося и добивали батон белого нарезного. Время от времени, чтобы найти что-то в рюкзаке, я включал желтый прорезиненный фонарь.

Видимо, электрический свет в вороньем гнезде на дереве и безудержный вой моего друга — мы с ним успели выпить на брудершафт — сильно кое-кого успокоили. Видно было, как по кухне встревоженно ходит Лидочка и куда-то старается дозвониться. Но нам с котом было хорошо, меня ничто не тревожило. В общем, забавный был кот, и предложение его было не самым плохим. Но я не ощущал себя котом. Наверное, в цепочке метаморфоз моего эмбрионального развития не присутствовало кошачьей стадии. Коты не могут летать. Я ему так и сказал. И тогда он обиделся. Заглянул зачем-то единственным глазом в горлышко пустой бутылки из-под армянского коньяка и с силой швырнул ее вниз. Заорала сигнализация. Я высунулся из гнезда и с ужасом обнаружил, что ветровое стекло Лидочкиной машины покрыто трещинами. Но коту все было нипочем. Он стал горланить народную песню «Черный ворон», иногда в такт подпрыгивая ногой. Он сыто икал, а в когтистой лапе намертво был зажат отрезок краковской колбасы с куском веревки на конце — даже не заметил, когда он успел ее достать из рюкзака. Я решил было взять его за шкурку и вышвырнуть из гнезда, но потом передумал, ведь это все-таки был Лидочкин кот. Решил оставить пока. Через некоторое время сигнализация отключилась, кот неожиданно громко и раскатисто заурчал, и под шум дождя мы с ним в обнимку быстро уснули.

Проснулся я от того, что где-то внизу, под изрядно облетевшей за ночь липой, раздавался нервный Лидочкин голос. Ей вторил довольно озабоченно незнакомый мужской мягкий басок. Мне сразу вспомнились все наши с котом ночные безобразия. В самой тональности их разговора я угадывал что-то крайне неприятное для себя. Лидочкин рыжий кот продолжал спать. Может, притворялся, на усах его прозрачными каплями висела утренняя роса. Я осторожно выглянул из гнезда.

— Вот, вот он, господин сержант! Видите?!

Внизу на мокром асфальте стояла Лидочка в черном элегантном пальто и, задрав голову вверх, протягивала в сторону гнезда руку в коричневой кожаной перчатке. Рядом с ней в серой полицейской форме стоял участковый с автоматом и тоже смотрел вверх.

— Всю ночь не давал спать, горланил песни, светил в окно фонарем.

Внизу, помимо Лидочки и полицейского, собралась небольшая толпа из жильцов, злобливой лифтерши из третьего подъезда и дворника-узбека. Оказалось, потерпевших гораздо больше, чем можно было предположить. Я попытался растормошить кота, но он потянулся, как это делают по утрам все обычные коты, и не проронил ни слова. Способность говорить бесследно

исчезла. Он смотрел на меня равнодушно единственным глазом и не издавал ни звука. Похоже, отдуваться за все нужно было мне одному.

— Вот, они мусор бросали, гадили прямо с дерева... — говорил дворник-узбек, явно имея в виду меня одного и показывая темные пятна на асфальте.

Полицейский поморщился, что-то записал в блокнот.

— Кота за хвост тянули... — продолжал перечислять дворник мои преступления.

Оставался только один путь к спасению — быстрее проникнуться сознанием вороньего полета и улететь навсегда. Толпа все увеличивалась, обсуждалось, каким путем я мог попасть в птичье гнездо и как меня теперь снимать с дерева. Предлагали меня по снятии арестовать и отправить куда надо. Дворник-узбек видел в моих поступках только хулиганство, незлобивая лифтерша из третьего подъезда — сумасшествие, большинство жильцов — и то и другое одновременно. Однако интересно, что ни Лидочка, ни даже полицейский не попытались со мной вступить в прямой контакт. Все точно забыли, что я все же был человеком, что обнадеживало. Это обстоятельство я приписывал своему постепенному перевоплощению в птицу. Значит, я уже даже в их представлении не совсем человек, а уже перешагнул некую черту, был за гранью. Я чувствовал, что воронья способность к полету скоро во мне проснется и я смогу от всех улететь, куда захочу, насовсем.

— Как же... он у меня в квартире прописан! — вдруг сказала в полной тишине Лидочка, размазывая по щеке черную от туши слезу.

Полицейский опять что-то записал, о чем-то тихо снова спросил Лидочку. Тут она вдруг забыла свои слезы, положила руку на бедро, приосанилась и произнесла с каким-то неуместным воодушевлением:

— Так он же сказал, что любит меня! Он же в любви мне признался!

И все жильцы, и даже незлобивая лифтерша согласно загалдели, закивали. Поднялся возмущенный ропот. Все опять задрали вверх головы, выискивая меня наверху.

— Эх, гражданочка! Какая же это любовь! Смотрите, куда он от вас залез! Да еще машину вашу разбил!

Дальше полицейский, не давая Лидочке ответить, поинтересовался, не пропало ли из дома что-нибудь. Та ответила, что все на месте, только нет бутылки коньяка и рыжего кота, которого я, по ее словам, в гнезде удерживаю насильно. Я стал понимать, что, если не успею улететь, пойду по статьям — всех не перечесть. Обстоятельства складывались не в мою пользу. А Лидочкин кот сидел как ни в чем не бывало в гнезде и, не обращая на меня внимания, умывался.

— Давай, иди отсюда! — прошипел я ему и подпихнул ногой.

Он вспрыгнул на край гнезда, на котором давеча сидел ворон, обернулся, прощально сверкнув зеленым глазом, и пошел-пошел, довольно ловко цепляясь когтями за ветку, несмотря на вчерашний перебор с алкоголем, потом легко запрыгнул в форточку Лидочкиного окна и исчез за темнотой стекла. Маневр кота не остался незамеченным. Лифтерша из третьего подъезда погрозила мне снизу пальцем, сказав, что все равно это мне даром не пройдет. Полицейский проводил кота взглядом и стал инструктировать Лидочку, что ей делать, если я вдруг спущусь с дерева.

— На свою жилплощадь его больше не пускайте! Не верьте, если будет

говорить, что любит. Звоните мне. Под этими его действиями могут скрываться преступные намерения. Занял же он чужое гнездо. Согнал с дерева законных владельцев и с вами так же может поступить.

Перед тем как уйти, он написал Лидочке свой телефон и сказал, что снимать меня с дерева придет МЧС. Жильцы еще какое-то время погалдели, посудачили, но потом им надоело и они разошлись.

Небо стало белесым, и с него стали срываться отдельные холодные снежинки. А в гнезде, несмотря на недавние перипетии, по-прежнему было тепло и уютно. Я уже больше суток находился в своем прибежище, однако обследовать его решил только сейчас. Как я уже говорил, изнутри гнездо было гораздо обширнее и удобнее, чем это виделось снаружи. Внутри, поверх толстых перекрученных веток, был наложен глубокий слой не то пуха, не то ваты, не то тряпок. И этот пушистый слой имел поразительную особенность. Стоило запустить в него руку, как в пальцах оказывались самые странные вещи. Хотя все они и принадлежали к разным эпохам и культурам, имели разную степень сохранности, сделаны были из совершенно разных материалов и имели различные размеры, но их объединял один характерный признак: предметы эти были утеряны когда-либо при невыясненных обстоятельствах. Запуская руку в мягкую бездну, я никогда не знал, что достану. Причем, чтобы достать очередной предмет, нужно было предыдущий положить на место. Так, сначала под толстым слоем пуха я обнаружил огромную желтую глыбу известняка. По некоторым признакам я понял, что это был недостающий нос египетского сфинкса. Больше меня поразило даже не то, что древний нос оказался в гнезде, но насколько далеко в глубь гнезда уходило его основание. Отсюда прощупывалась только большая ноздря. Амфоры, отбитые белые пальцы мраморных скульптур, золотые николаевские червонцы, святой Грааль крестоносцев, пластмассовые школьные шариковые ручки, черненные серебряные столовые приборы, полузабытые игрушки, рассыпающиеся папирусы, железный заржавленный крест с купола Ванского монастыря, утраченные страницы из библии, Лидочкин хрустальный кубок, изрядно попорченный молью карабахский ковер — такой в моем детстве лежал на пороге родительского дома, пока куда-то не исчез. Без сомнения, все эти вещи были перенесены в гнездо воронами. По возрасту некоторых из этих предметов можно было судить о возрасте самого гнезда. Получалось, что оно заложено во времена Великого потопа. Может, даже сам библейский ворон когда-то вплетал в его стены толстые прутья. Но здесь моя теория терпела крах, потому как возраст липы, на которой вороны свили гнездо, был не более двухсот лет.

Ах, противоречия!.. Чем больше часов я проводил в вороньем гнезде, тем больше уверялся в могуществе вороньего племени. Я искренне верил, что способность летать, записанная в человеческом генетическом коде, непременно проснется здесь. Однако никаких изменений ни в своем душевном, ни физическом состоянии, которые бы определили возможность моего полета, не замечал. Видимо, я провел в гнезде слишком мало времени. А гнездо и мегаполис вокруг него постепенно заносило снегом. Ах, как хороша была Москва в своем снеговом наряде. Задымились густым парком трубы на крышах, исчезли мусор и лишние детали городского пейзажа, под запорошенными мостами засверкала расплавленной сталью Москва-река. Мне хотелось, чтобы все-все занесло снегом, и

меня уже больше никто никогда не увидел. И еще отчего-то сильно клонило в сон...

И привиделось мне, будто сижу я на вершине большой горы в центре Мира. Вокруг ни души, только ледовое поле. Внизу все сильнее разгорается россыпь разноцветных огней большого города. Нет, это не Москва. Что-то знакомое в нем, но не узнать. Чуть поодаль темнеет из-под снега остов большого корабля. Как же его сюда занесло? Сижу я давно, пораженный странным бездействием. От долгой неподвижности, от частой смены жары и холода, кости мои начинают рассыпаться в прах. Ногти мои трескаются, тело покрывается язвами от мороза и солнечных ожогов. Однако мысль и мышцы от непрерывного ожидания находятся в тонусе. На толстом ребре корабля вот уже который час висит черный хищный силуэт. Это ворон, красивая и сильная молодая птица. Видимо, праправнук библейского ворона. Намерения его неясны. Он смело, с глумливым удивлением разглядывает меня. То ли ждет, когда я превращусь в груды падалий, то ли просто хочет сбросить меня с вершины горы. Иногда ему надоедает сидеть, и он в нетерпении пролетает у меня над головой, целя блестящим клювом в глаз. У меня свой план — схватить его за голени и слететь с ним вниз. Во время очередного вороньего пике я решаюсь. Хватаю его за ноги, и мы срываемся с горы в сторону бесчисленных городских огней. Но тут кости мои под действием силы моих собственных мышц рассыпаются на множество осколков. Я не в состоянии более удерживать птицу, и она с хриплым криком взмывает ввысь. Я же еще некоторое время падаю, наслаждаясь чувством полета. Затем ощущаю удар, не вызвавший, однако, в моем теле никакой боли. Я дышу еще, и осколки костей с каждым вздохом все сильнее впиваются в мою бедную плоть. На теле моем копошатся странные, кровавого цвета блохи. И тут над моими останками появляется одноглазый Лидочкин кот. Он долго принюхивается, однако с отвращением отворачивается.

Проснулся я глубоким вечером от гула мощного мотора. Было не холодно, все внизу блестело от тающего снега. Незлобивая лифтерша из третьего подъезда с лязгом отворила ворота в железной ограде. Знакомый сержантский басок требовал от жильцов расступиться. Во двор въезжал красно-белый КамАЗ службы МЧС. У ограды я заметил еще машину скорой помощи. Слышно было, как причитает Лидочка. Ее никто не старался утешить. В мою сторону мягко выдвинулась большая лестница. Вот и все. Отчего-то мне стало жаль оставшихся в рюкзаке батона белого хлеба и пакета кефира. Ко мне быстро и ловко поднимался человек в серой форме. Его мужественное лицо выражало решимость. У меня больше не было времени. Пора было лететь...

Андрей Столяров

Ярче тысячи солнц

Россия, Россия, Россия, —
Мессия грядущего дня!

Андрей Белый «Родине»

К последнему морю

Рассмотрим три исторических эпизода.

В XIII веке Европа содрогнулась от нашествия неисчислимых монгольских полчищ. Монголы разгромили государство волжских болгар, княжества Древней Руси, нанесли сокрушительное поражение польско-немецкому войску в битве при Легнице, разгромили венгерское войско и заняли столицу Венгрии — Пешт, вторглись в Болгарию, Хорватию, Сербию и уже переносили военные действия за Дунай — на территорию Священной Римской империи. Казалось, их ничто не может остановить. Содрогнулась, впрочем, не только Европа. В Средней Азии монголы разгромили громадную империю Хорезмшахов, захватили Хорезм, Багдад, вторглись в Сирию и Палестину. На востоке ими был повержен громадный Китай, покорены Корея, Бирма, значительная часть Индии. Лишь сильнейший тайфун «Камикадзе» («божественный ветер»), разметавший огромный монголо-китайский флот, не позволил им высадиться в Японии. Тем не менее всего за несколько десятилетий монголы создали самую большую в истории континентальную империю, простиравшуюся от Дуная до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии.

Теперь — второй эпизод. В конце осени 1941 года большинство западных политиков и военных считало, что дни Советского Союза сочтены. К этому времени немецкие войска оккупировали Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Белоруссию, значительную часть РСФСР, Украины, продвинулись в глубь страны более чем на тысячу километров. Были убиты, ранены или попали в плен около двух миллионов советских солдат. Оставлены были Минск, Киев, Харьков, Смоленск, Одесса, Днепропетровск, кольцом блокады был окружен

Столяров Андрей Михайлович — прозаик, автор не только художественных произведений, но и многочисленных статей по аналитике современности, а также книги по философской аналитике «Освобожденный Эдем» (2008). Публикации в «Дружбе народов»: «Новая земля и новое небо» (№ 4, 2014); «Герой нашего времени» (№ 11, 2014); «Дайте миру шанс». Повесть по мотивам реальности (№ 11, 2014).

Ленинград. СССР потерял важнейшие сырьевые и промышленные центры, оказались отрезанными от основной части страны важнейшие источники продовольствия на Украине и юге России. Казалось, что Советский Союз уже ничто не спасет. И вдруг Красная армия наносит немцам сокрушительное поражение под Москвой, затем, через год — грандиозное поражение в Сталинградской битве и далее — окончательное поражение на Курской дуге. Трагический сюжет переломлен. 1 мая 1945 года на куполе рейхстага в Берлине водружен красный флаг.

И наконец эпизод третий. На исходе XVIII столетия Франция пребывает в катастрофическом состоянии. В результате революционного катаклизма, приведшего к свержению короля, экономика ее совершенно разрушена, в стране — нищета, террор, социальный хаос, то и дело вспыхивают монархические или социал-радикальные мятежи. Более того, ряд европейских держав, напуганных революционными потрясениями, создает военный союз, призванный вернуть Францию в русло «цивилизованного существования». Силы сторон заведомо неравны. Против Франции выступают Австрия, Пруссия и Испания, почти все германские государства, Неаполитанское королевство, королевство Сардинии. Позже к ним присоединяются Англия и Голландия. Поражение Франции кажется неизбежным. Тем не менее войска республики смело идут вперед, вопреки всему одерживают победы при Вальми и при Жемаппе, оккупируют Бельгию, наносят поражение Голландии, Австрии, Пруссии, занимают значительную часть Италии и Рейнские области. А когда во главе войск становится молодой генерал Наполеон Бонапарт, победы приобретают всеобщий характер. Буквально за десять лет возникает империя, охватывающая собой почти всю Европу, простирающаяся от российских границ до «последнего моря» монголов — Атлантического океана.

Что общего между этими тремя эпизодами, развернувшимися в разные исторические эпохи, у разных народов и в географически разных местах?

Чем их можно объединить?

Какая сила подвигла монголов, русских, французов бросить героический вызов судьбе?

Общим, на наш взгляд, является то, что во всех трех случаях работал фактор национальной идеи.

Создание, спасение, преобразование

Концепт национальной идеи — одна из сложнейших проблем современной культурологии. Дело тут вовсе не в том, какой может быть национальная идея России — хотя именно так обычно ставят этот вопрос. Дело в том, что представляет собой национальная идея вообще? Существует ли в онтологии нации такой мировоззренческий механизм? Если он существует, то каковы его базисные черты? При каких условиях он включается и начинает работать? И наконец — можно ли этим механизмом сознательно управлять?

К сожалению, данная тема сильно дискредитирована. Стоит вспомнить, какой шквал иронических замечаний взметнулся в 1996 году, когда президент Ельцин публично провозгласил, что Россия нуждается в собственной нацио-

нальной идее и поручил группе политических аналитиков такую идею создать. Тем более, что тогда же, следуя велению Президента, эту тему в срочном порядке обсудили и Совет Федерации, и Государственная Дума РФ, «Российская газета» объявила соответствующий конкурс среди читателей, широкие дискуссии провели «Независимая газета» и «Московские новости», а семинары и конференции, посвященные данной проблеме, состоялись в Администрации Президента РФ, Фонде Карнеги, Институте философии РАН и в ряде других научных учреждений и вузов страны. Кульминацией всех этих усилий стал шеститомный труд группы авторов, который так и назывался «Национальная идея России», где были представлены аж двадцать высших ценностей, которыми должны руководствоваться россияне, а сама национальная идея была сформулирована так: «Моя страна должна быть, и должна быть всегда!» Причем авторы, среди которых присутствовал и В. И. Якунин, президент ОАО «Российские железные дороги», предложили закрепить данную идею в Конституции РФ, видимо, для того чтобы она стала непреложным законом для всех граждан нашей страны.

С тех пор в данной области возникло колоссальное количество самых разных «идей» — даже формальное перечисление их может занять не один десяток страниц. Это и «жить по совести», и «жить во благо Отечества», и «любить Родину», и «жить по вере отцов», и «Россия для русских», и «свобода дороже богатства», и «спастись можно только вместе», и т.д. и т.п. Было даже высказано предложение — сделать национальной российской эмблемой «ваньку-встаньку» (игрушку) как символ того, что повергнуть Россию нельзя — она выживет и поднимется в самой трудной исторической ситуации.

Нет смысла анализировать эту ментальную пену. Ясно, что ни к механике национальной идеи, ни к ее хотя бы примерным параметрам она отношения не имеет. Это все — из области благих пожеланий. В данном случае просто укажем ту основную черту, которая, на наш взгляд, выделяет концепт национальной идеи из великого множества сходных концепций, доктрин и идеологем.

Главная характеристика национальной идеи — это *пассионарность*.

Нация, охваченная национальной идеей, пребывает в состоянии исключительного эмоционального напряжения. Осуществляется героическое усилие, поднимающее массы людей от статуса спокойного быта к статусу революционного бытия. У нации появляется некая высокая цель, сияющая на горизонте истории, — нация готова на ощутимые жертвы, чтобы этой цели достичь. Все внутренние разногласия вытесняются в подсознание. Все силы, вся энергия нации сплавляются в единый экзистенциальный порыв. Возникает абсолютная идентичность: нация чувствует, думает, действует как один человек.

Именно пассионарная энергетика, подобная вспышкам сверхновых, освобождающим энергию звезд, отличает национальную идею от разного рода *национальных доктрин*, возникающих в те или иные исторические периоды. Например, от знаменитой доктрины графа Уварова «православие, самодержавие, народность», сформулированной во времена императора Николая I. Никакой пассионарностью уваровская доктрина не обладала, никакого экзистенциального горизонта озарить не могла, она представляла собой лишь официальное мировоззрение, поддерживавшее в рабочем режиме тогдашний государственно-национальный формат.

Точно так же нельзя отнести к национальной идее и пакет приоритетных

национальных проектов, выдвинутых в 2005 году Президентом России. Имеются в виду проекты «Здоровье», «Образование», «Жилье», «Развитие АПК». Представляется, что даже приснопамятная «Продовольственная программа СССР», провозглашенная еще в эпоху Л.И.Брежнева, вызвала в стране больший энтузиазм, чем эти проекты, для реализации которых был создан специальный Президентский Совет. Впрочем, сейчас об этих проектах стараются не вспоминать. Их вполне квалифицированно удалось списать на мировой финансовый кризис 2008 — 2010 годов.

В общем, если принять пассионарность за эксклюзивную, отличительную черту, то сразу же становится очевидным, что национальная идея работает лишь в трех случаях.

Во-первых, это *создание нации* — консолидация этнических сил, завоевание независимости, образование нацией собственного государства.

Во-вторых, это *спасение нации* — преодоление масштабной угрозы в виде войны, социально-экономической или экологической катастрофы.

И в-третьих, это *преобразование нации* — модернизация ее этнического ядра, приведение ее этносоциальной культуры в соответствие с конфигурацией нового времени.

Заметим, что во всех трех случаях наличествует *онтологический вызов*, то есть вызов, связанный с существованием/несуществованием нации. А в ответ на такой вызов осуществляется громадный общенациональный проект, требующий от нации предельного бытийного напряжения.

Исходя из этого, национальную идею можно определить как пассионарный проект по формированию нацией собственного будущего.

Энергия звезд

Термин «пассионарность» ввел в научный обиход историк Лев Гумилёв, который под пассионарностью понимал способность индивида к длительному сверхусилию для достижения поставленной цели. По мнению Л. Н. Гумилёва, «пассионарность может проявляться в самых различных чертах характера, с равной легкостью порождая подвиги и преступления, созидание, благо и зло, но не оставляя места бездействию и спокойному равнодушию»¹. Вслед за Гегелем он считал, что «ничто великое в мире не совершается без страсти». При этом пассионарность может проявлять не только отдельный человек (по терминологии Гумилёва — пассионарий), но и в целом этническое сообщество, если количество пассионариев в нем достигает критической величины. Тогда этнос начинает пассионарное восхождение.

Правда, с научной точки зрения, не выдерживают критики представления Л.Н.Гумилёва о том, что порождается пассионарность вариациями космического излучения: вспышками на Солнце или вспышками в глубинах Вселенной сверхновых звезд, которые, в свою очередь, приводят к вспышкам этнического мутагенеза у народов Земли, к «пассионарным толчкам», к повышению таинственной «геобиохимической энергии живого вещества», каковую, заметим, невозможно соотнести ни с одним из видов энергий, известных науке. Однако сам феномен пассионарности выделен историком очень удачно.

Что же касается реального источника пассионарной энергии, то тут, как нам кажется, можно в качестве аналога привести известный «эффект провинциала». Человек, переехавший в крупный город из отдаленной провинции, довольно часто (однако, разумеется, не всегда) обладает повышенной деятельностной энергетикой по сравнению с коренным горожанином. Это, впрочем, понятно. Такой человек попадает в совершенно новую для себя среду и первоначально, на подсознательном уровне, воспринимает ее как отчетливую угрозу: ему неизвестны правила жизни в этой среде, для него загадкой является ее реальная картография, он, в отличие от горожанина, не может автоматически считывать ее причинно-следственные отношения. Включается стрессовый механизм, чисто биологическая, инстинктивная реакция на опасность. Стресс, в свою очередь, порождает повышенную энергетику, мобилизацию всех имеющихся у особи сил, а внешние, деятельностные ее проявления воспринимаются как пассионарность.

Фактически у провинциала происходит трансформация личности, хотя сам человек, не будучи рефлексивным, может об этом не подозревать. Происходит плавление идентичности провинциальной, и высвобождающаяся энергия идет на построение идентичности городской.

Та же самая закономерность работает и в случае громадных человеческих масс. В период европейской модернизации XVII — XX веков, когда крестьянство в массе своей разорялось и мигрировало в города, что, естественно, сопровождалось плавлением идентичности, в сельской местности вспыхивали крестьянские бунты и войны, а в городах — мятежи, нередко перераставшие в революции.

Аналогичные процессы идут и на уровне национальных сообществ. Монголы не просто так начали свои завоевательные походы. В XIII веке разрозненные монгольские племена, до этого враждовавшие между собой, волей удачливого полководца были объединены в единый народ. Внезапно на авансцене истории возникла монгольская нация. Чингисхан, сознательно или интуитивно, сделал поразительный для того времени шаг: вместо традиционного племенного деления ввел деление по туменам (десятитысячным военным отрядам) и специализированным родам войск, где были теперь перемешаны представители различных племен. А чтобы закрепить это единство в механике обыденной жизни, он создал Ясу — универсальный для всех монголов закон, вытеснивший все прежние племенные законы. То есть опять-таки произошло тотальное плавление идентичности, а освободившаяся энергия была структурирована вождем в виде единственной цели, доступной сознанию средневековой эпохи: создание великой империи. Монголы двинулись к «последнему морю».

Вот примеры того, как национальная идея, связанная с образованием этносом собственного государства, может творить настоящие чудеса. В 1581 году крохотная Голландия (точней — Нидерланды) побеждает Испанию, находящуюся в зените могущества, и обретает государственный суверенитет. Всего через пятьдесят лет она сама превращается в могущественную империю, которой принадлежат обширные колониальные владения. В 1783 году слабые и разрозненные штаты Североамериканского континента добиваются независимости от громадной Британской империи и точно так же становятся самостоятельным государством. Пассионарность незамедлительно порождает экспансию: американцы отвоевывают у Мексики громадные территории, которые образуют юго-

западные штаты США. Начиная с 1948 года, крохотный, только что возникший Израиль убедительно доказывает свое право на существование среди необозримого моря враждебных ему арабских стран. Силы сторон абсолютно неравнозначны. Кажется, что никаких шансов у Израиля нет. Тем не менее одна за другой следуют победоносные войны, в результате которых Израиль более чем в три раза расширяет свою территорию.

Правда, стоит отметить, что во всех этих случаях поразительному успеху национальной идеи способствовали дополнительные обстоятельства. Экспансии монголов способствовал благоприятный климат, установившийся в 1210 — 1230 годы в монгольских степях: теплая погода, обильные дожди, расширение зоны пастбищ и, соответственно, резкое увеличение конского поголовья — каждый монгольский воин мог теперь содержать до пяти лошадей. Сыграл свою роль, вероятно, и демографический фактор — возрастание численности монгольских племен, начавшееся в те годы. В свою очередь, успеху национальной борьбы Голландии и американских колоний способствовало во многом то, что как Испания, так и Великобритания, противостоявшие им, были в соответствующие периоды поглощены тяжелыми войнами против других великих держав. Сил, чтобы удержать колонии, не хватало. А выживанию и фантастическим победам Израиля в значительной мере способствовала поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки.

Однако благоприятные обстоятельства наличествуют далеко не всегда. И потому не всегда национальную идею, связанную с созданием собственного государства, нации удастся реализовать. Сколько раз народы Балкан, в частности Болгария, Румыния, Сербия и Черногория, восставали против османского ига, но признания своей независимости им удалось добиться лишь после русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов. Сколько раз вспыхивали восстания колониальных народов против господства британцев, голландцев, французов, но реальную независимость колонии начали обретать лишь после Второй мировой войны, когда принципиальным образом изменилась ситуация в мире.

Сам процесс этнического формирования может остаться незавершенным. В конце XI столетия в Европе явно проступили черты, свидетельствующие о возникновении единой нации — европейцев. Этому способствовал, вероятно, климатический оптимум X — XIII веков, который привел и к подъему европейской сельскохозяйственной экономики, и к очевидному демографическому подъему. Начал, по крайней мере в страте элит, формироваться единый «европейский народ», у которого были единая христианская вера (в то время — католицизм), единый язык — лингва франка (и дополнительный универсальный язык — латынь), единая трансэтническая культура — рыцарство, с единым образом жизни, скрепляемая к тому же многочисленными внутрисословными браками. Сословно-этническое единство, несомненно, усиливалось и единством тогдашней европейской национальной идеи — стремлением освободить Гроб Господень от сарацин. Пассионарность средневековой Европы была очень высокой и выплеснулась в яростных крестовых походах. Европейские рыцари вторглись в Левант, разгромили войска сельджуков и образовали Иерусалимское королевство. Вместе с тем итоговой национальной целостности не возникло — Европа начала распадаться на множество противоборствующих государств.

Почему европейский сюжет сложился именно так, это отдельный вопрос.

Здесь же необходимо заметить, что процесс создания нации, сопровождающийся повышением этнической температуры, обычно приводит к формированию комплекса национального превосходства, который выражается мировоззренческой идеологемой «державности». Возникает представление о «Великой Германии», «Великой Франции», «Великой России» и т.д. и т.п. Причем родовой горячкой «державности» страдают не только большие народы, как бы исторически склонные к формам имперского государственного бытия, но также — народы средней и малой величины. «Этнический нарциссизм» — болезнь, которую чрезвычайно трудно лечить. В начале XX века возникла идея «Великой Сербии», которая объединит под своей эгидой всех южных славян (что и было чуть позже реализовано в виде Югославского государства), в разное время, однако при сходных исторических обстоятельствах, возникали идеи «Великой Болгарии», «Великой Венгрии», «Великой Румынии», «Великой Польши», простирающейся от Балтики до Черного моря.

Более того, в рамках традиционного этнического сознания, которое господствовало тогда, а во многом господствует и сейчас, державность понимается исключительно как территориальное расширение, которое можно осуществить только военным путем. «Энергия звезд» превращается в «энергию уничтожения». Подростковая инфантильность нации в сочетании с подростковой энергией (пассионарностью) — очень опасный национальный синдром.

Франция — это я!

Примерно так же обстоит дело и в случае, когда включение национальной идеи связано со спасением нации. Правда, энергию пассионарности тут в основном порождает инстинкт самосохранения, который у нации как у носителя коллективных инстинктов развит не меньше, чем у отдельного человека. Однако и тотальное плавление идентичности здесь тоже имеет место. Военная ситуация принципиальным образом отличается от ситуации обыденной жизни, и «человек воюющий», соответственно, обладает иным набором характеристик, нежели человек мирного времени. Пребывание на грани жизни и смерти, требующее от каждого необычайного напряжения сил, точно так же как и в случае создания нации, формирует устойчивый национальный идентификат, становящийся позже одним из базисных реперов национальной истории.

Американский исследователь Хедрик Смит, например, писал, что русские «рассуждают о войне не только как о времени жертв и страданий, но и как о времени солидарности и сопричастности. Война несет смерть и разрушение, но она одновременно демонстрирует несокрушимое единство народа и его негибкую силу. Воспоминания о совместно перенесенных лишениях и совместно добытых победах в войне, которую в СССР называют Великой Отечественной, служат главным источником современного советского патриотизма»². Сходным образом говорят исследователи и об американцах. Вторая мировая война «укрепила национальное единство и ощущение принадлежности к одной и той же нации». Она «стала величайшим совместным опытом, который сформировал представление американцев о национальной идентичности на поколения впе-

ред». «Самоидентификация американцев со страной достигла в ходе этой войны исторического максимума»³.

Для россиян подобными реперами идентификации, историческими примерами включения национальных идей, служат, помимо Великой Отечественной войны, Куликовская битва и победа над Наполеоном, для французов — победа на Марне (август 1914 года, когда удалось отстоять Париж) и подвиги Жанны д'Арк, для англичан — победа над «Непобедимой армадой», Трафальгарская битва, утвердившая превосходство Англии на морях, и «Битва за Британию» (сражение с немецким люфтваффе летом — осенью 1940 года).

Ничто так не объединяет нацию, как общая борьба, имеющая ясную цель, общая трагедия и общая победа, достигнутая ценой колоссальных жертв.

Однако угроза, о которой мы говорили, должна быть именно онтологической. Войны на границах империи обычно никакого пассионарного подъема не вызывают. Национальная идея не вспыхнула в Англии после поражения британского корпуса в Афганистане в 1842 году, не загорелась в России после поражения в русско-японской войне, не всколыхнула империю Габсбургов после потери Италии, не зажгла сердца советских людей во время мучительной афганской войны. Все эти трагические коллизии могли быть для сознания каждого из народов достаточно тяжелы, они могли порождать и действительно порождали всплески сильных эмоций, но они не воспринимались национальным сознанием как опасность государственного небытия. Нации, пусть в чуть худшем формате, но продолжали существовать.

Также необходимо сказать, что даже в случае прямой и явной угрозы национальная идея появляется далеко не всегда. В 1938—1939 годах фашистские войска оккупировали Чехословакию, заняв сначала Судетскую область, а затем — территорию всей страны. Между тем Чехословакия в эти годы была одной из самых развитых европейских стран. Несмотря на небольшие размеры, она имела мощную индустрию, мощную военную промышленность и вполне боеспособную армию. Конечно, победить в тех условиях Чехословакия все равно не могла, но она, несомненно, была способна сражаться, нанеся Третьему рейху вполне ощутимые материальные и людские потери. Весь последующий международный сюжет мог бы тогда стать иным. Однако Чехословакия, деморализованная Мюнхенским договором, когда Европа ее просто сдала, никакого сопротивления агрессору не оказала. Гитлеровские войска без особых усилий превратили ее в протекторат. Между тем Польша, попавшая через год в аналогичную ситуацию, сражалась отчаянно, хотя победить тоже заведомо не могла.

Вероятно, включение национальной идеи зависит еще и от исторических архетипов. Польское государство рождалось в непрерывной и ожесточенной борьбе, отражая бесчисленные угрозы то с запада, то с востока. Ради него поляки принесли множество жертв, и это стало одной из констант национального подсознания. Чехия, в свою очередь, очень долго пребывала сначала в составе Священной Римской империи, а затем — в составе Австрийской (Австро-Венгерской) империи как ее вполне благополучная часть. Государственность она обрела практически без борьбы, когда Австро-Венгрия развалилась, потерпев поражение в Первой мировой войне. Вероятно, для чехов собственная государ-

ственность не стала подлинной ценностью — во всяком случае не такой, ради которой следовало сражаться не на жизнь, а на смерть.

Теперь о национальной идее, связанной с преобразованием нации. Данная ситуация имеет один чрезвычайно важный аспект. В первых двух случаях (создания и спасения) перед нацией стоит *физический вызов* — конкретная, ясно видимая угроза, которую легко осознать. В третьем случае перед нацией встает *вызов метафизический* — вызов грядущей неопределенности, параметры которого, как правило, неясны.

В действительности метафизический вызов представляет собой вызов будущего: нарастающее несоответствие форматов текущего этногосударственного бытия параметрам нового мира, которые еще точно не определены, и потому этот вызов в отличие от конкретной угрозы долгое время может существовать в неявном, неотрефлексированном состоянии. Для его осознания необходимо интеллектуальное усилие национальных элит. А это, заметим, происходит далеко не всегда. Вызов будущего не осознали в надлежащее время ни империя Габсбургов, потерпевшая от бисмарковской Германии сокрушительное поражение при Сadowe, ни империя Наполеона III, также получившая от Германии — уже под Седаном — смертельный удар, ни императорская Россия, ввергнувшаяся в катаклизм революции и гражданской войны, ни многие другие страны, испытывавшие в течение своей истории аналогичные катастрофы. Рефлексивный ступор, незамечание очевидного, как показывает история, связаны, вероятно, с тем, что никакая власть, ни авторитарная, ни демократическая, никогда не работает на опережение. Любая власть работает в режиме «вызов — ответ». Политики начинают осознавать необходимость реформ лишь тогда, когда стратегический кризис обретает острую форму.

А под преобразованием нации мы понимаем процесс, при котором нация сохраняет свое этнокультурное, системообразующее ядро, но его архетипические характеристики получают новую аранжировку.

Классическим примером такого процесса, на наш взгляд, является преобразование «русской нации» (периода царской России) в «советский народ» (периода СССР). Все основные этнокультурные характеристики нации были при этом действительно сохранены, но получили принципиально иное идеологическое выражение. Православие трансформировалось в коммунизм (светский адекват Царства божьего за земле), самодержавие — в партийный авторитаризм (власть партии, обладающей абсолютной «исторической истиной»), общинность — в советский коллективизм, имперскость — в мировую систему социализма. Примерно такая же этнокультурная трансформация произошла в то же время в Германии: «бисмарковский немец» (периода образования национального государства и Первой мировой войны) превратился в «арийского немца» (национальный эталон Третьего рейха). При этом базовые этнические характеристики немцев остались опять-таки прежними, однако были переакцентированы в систему «арийских идеологем».

У преобразования нации много общего с созданием нации. В обоих случаях возникает как бы «новый народ», который и осознает себя таковым, а потому закономерности обоих этих процессов гомологичны. Разным здесь является «спусковой механизм». В случае создания нации наличествует ясная и понятная цель — обретение независимости, формирование собственного государства. В

случае преобразования нации такой ясно видимой цели нет. Нации (как, впрочем, и отдельному человеку) обычно с чрезвычайным трудом дается простая в общем-то мысль, что ей следует стать другой — вырасти над собой, перейти в более зрелый социальный возраст. Данная рефлексия обычно опаздывает. И потому «спусковым механизмом» преобразования нации, как правило, является масштабная катастрофа. В обоих приведенных примерах, русских и немцев, такой катастрофой стала Первая мировая война.

И есть еще один важный момент, необходимый для реализации национальной идеи. У нации должен возникнуть лидер, способный данную идею не только провозгласить, но и — хотя бы частично — ее воплотить, собрав в фокус всепрожигающего огня. Он должен, как Людовик XIV, иметь право сказать: «Франция — это я!» Иначе энергия пассионарности, распределенная по нескольким центрам силы, прогорит внутри нации в бессмысленных и жестоких конфликтах.

Конечно, история не знает сослагательного наклонения, однако можно с достаточно большой вероятностью предположить, что если бы, например, не возник Чингисхан, то вся пассионарность монголов дотла сгорела бы в межплеменных стычках и войнах. Поход к «последнему морю» не состоялся бы. Нечто подобное, как нам кажется, произошло с Украиной, когда в XVII веке на землях Гетманщины, на фундаменте православия и западно-русского (украинского) языка начала образовываться украинская нация. Богдан Хмельницкий, несомненно, был талантливым военачальником, но насколько можно судить, ни политическими, ни собственно государственноческими способностями не обладал. Тем более этих способностей не было у его преемников. Вспыхнули долгие войны противоборствующих сторон, зарождающаяся украинская государственность была уничтожена; снова она возникла — достаточно искусственным образом — только во времена СССР.

Еще один яркий пример — Бельгия. В Первую мировую войну, когда германские войска вторглись на ее территорию, король Альберт I (король-интеллектуал, король-спортсмен) призвал бельгийцев к сопротивлению и сам стал во главе армии. Бельгийцы сражались мужественно — немцам пришлось выделить против них дополнительные войска в составе двух корпусов. Этих войск (как, впрочем, и войск, связанных боями с Россией в Восточной Пруссии) немцам и не хватило, чтобы в августе 1914 года взять Париж. Зато во Вторую мировую войну король Леопольд III (сын Альберта I) проявил, скажем так, меньше мужества и энергии. Бельгийская армия довольно быстро капитулировала. Король остался в оккупированной стране и позже был даже обвинен в коллаборационизме. Освободившиеся войска немецкий генштаб смог бросить против Франции.

Проблема национального лидера — ключевая в процессе реализации национальной идеи.

Настроение бодрое, идем ко дну...

Все сказанное имеет непосредственное отношение к современной России. Несмотря на относительное внутреннее благополучие, и ближайшие, и отдаленные перспективы нашей страны весьма и весьма туманны. Шансов на цивили-

зационное выживание у нее очень немного, и никакой звон официозных фанфар, вещающих о державности, не может заслонить данный факт.

Причины такого положения очевидны.

Во-первых, это экономическая слабость России. Несмотря на «золотое десятилетие», когда в страну шли колоссальные средства, вырученные от продажи энергетического сырья, технологическая база развития в России заложена не была. Удельный вес нашей страны в мировой экономике составляет сейчас чуть менее 3 процентов, и по этому показателю она существенно отстает от лидеров технологического прогресса: США (22 процента), ЕС (22 процента), Китая (11 процентов), Японии (8 процентов)⁴. Российскую экономику можно охарактеризовать как «пустую». Большую часть ее экспорта составляет сырье, прежде всего — энергоносители. Фактически Россия находится сейчас в числе стран Третьего мира, выделяясь из этого ряда лишь наличием ядерного оружия.

Причем время для реальной модернизации, вероятно, уже упущено. История показывает, что классическую индустриализацию каждая страна может провести, как правило, всего один раз: за счет массового разорения крестьянства и притока дешевой рабочей силы в промышленные города. Именно таким путем шли реформы в России начала XX века, прерванные убийством П. А. Столыпина и мировой войной 1914 — 1918 годов. И точно таким же путем, продолжая модернизационный процесс, осуществлялась вся сталинская индустриализация — за счет организованного и жестокого разорения значительной массы крестьян. Интересно, что в конце XX — начале XXI веков этот путь перед Россией ненадолго открылся вновь. Тогда после резкого обнищания россиян, произошедшего в результате структурных реформ 1990-х годов, появились большие массы людей, готовых на низкооплачиваемый, но гарантированный труд. Однако эта возможность использована не была. Основные финансовые потоки направлены были не в производство, а в недра олигархического распила. Россия потеряла шанс стать индустриальной страной.

Собственно, это признает и нынешнее руководство России. Премьер-министр Дмитрий Медведев, еще в бытность свою президентом РФ, характеризуя состояние дел в стране, говорил о «примитивной сырьевой экономике», зависимости от импорта, «крайне невысокой конкурентоспособности» российских товаров, «позорно низкой энергоэффективности и производительности труда» на большинстве предприятий⁵. Ему вторил один из влиятельных деятелей кремлевской администрации: «Терроризм не добит. Инфраструктура изношена. Больницы и школы бедны. Техническая отсталость и бытовая неустроенность удручающе огромны. Творческие силы скудны и распылены. Когда для выживания нации срочно требуется новая экономика, упущенное время расторопно доедает старую»⁶.

Ситуацию в современной России можно охарактеризовать как застой. «Сырьевое проклятие», уже давно известное экономистам, мрачной тенью лежит на стране. Ничего удивительного, что в наиболее пассионарном сегменте российского общества, среди людей деятельностных, обладающих достаточно высоким доходом, а главное молодых, половина респондентов думает о возможности уехать куда-нибудь из России, почти две трети из них (63 процента) хотели бы, чтобы их дети учились и работали за границей, а 35 процентов хотели бы, чтобы их дети жили там постоянно⁷. Другой опрос, проведенный компанией

Zurich Insurance, дает еще более впечатляющие показатели. Согласно ему, более 60 процентов россиян являются потенциальными эмигрантами, а 10 процентов уже предпринимают для этого практические шаги. Правда, отечественные социологи приводят более низкие цифры склонности к эмиграции: от 13 процентов (ВЦИОМ) до 31 процента (Ромир)⁸, но тем не менее картина складывается не слишком радостная: россияне не хотят жить в России.

А во-вторых, это тяжелая демографическая проблема. Со времени распада СССР количество россиян, несмотря на ощутимую иммиграцию из Ближнего зарубежья, заметно уменьшилось. Сейчас оно составляет всего 143 миллиона человек⁹. Это критически мало для страны, обладающей самой большой территорией в мире. Причем, распределено российское население крайне асимметрично: почти 80 процентов его сосредоточено в Европейской, наиболее развитой части страны, а Сибирь и Дальний Восток представляют собой антропологическую пустыню.

Причем, опять-таки, несмотря на звон официозных фанфар, нельзя рассчитывать, что положение в этой области изменится к лучшему. Суммарный коэффициент рождаемости в современной России находится на уровне 1,7 (каждая женщина рождает менее двух детей), в то время как даже для простого воспроизводства нужен уровень в 2,1 ребенка на одну женщину. Вряд ли значительную роль сыграют здесь какие-либо программы по поддержке рождаемости и семьи: они способны лишь замедлить падение, но не направить вверх демографическую стрелу. Падение рождаемости — это общемировой вектор для развитых индустриальных стран, и еще никому — ни на Западе, ни на Востоке — переломить его не удалось. По прогнозам ООН к 2025 году население России может сократиться до 120 миллионов человек, а к 2050 году даже до 92 миллионов¹⁰. В геополитическом измерении это означает, что Россия окажется не в состоянии удержать свои обширные территории. И, разумеется, никакая «вторичная индустриализация», никакой «модернизационный прорыв» в таких демографических координатах не могут быть осуществлены.

Сейчас российская власть делает ставку на Евразийский проект, рассчитывая ускорить экономическое развитие за счет китайских инвестиций, совместных программ и дешевой рабочей силы из стран Средней Азии. Однако на практике это будет означать быструю (в историческом смысле) азиатизацию России — этническую трансформацию россиян в евразийский и, возможно, по большей части — азиатский народ. «Погружение в Азию», конечно, перспективно для российской автократической власти, но, как нам представляется, вряд ли вдохновит подавляющее большинство россиян.

И, наконец, такой важный фактор, как международный авторитет страны. Данный фактор означает не просто теоретическое «уважение», которое, впрочем, приятно само по себе, но и приток инвестиций, кредитов, новейших технологических разработок, возможность осуществления долгосрочных совместных программ, активирующих реальное производство. То есть международный авторитет непосредственным образом влияет на экономическое развитие. Так вот, если даже не учитывать ситуацию с Крымом, то международный авторитет России сейчас колеблется где-то возле нуля. Это видно хотя бы из того факта, что практически все страны Центральной и Восточной Европы — практически все — неудержимо стремятся в ЕС, и ни одна, за исключением специфической

Белоруссии, не хочет быть аффилированной с Россией. России остается все тот же довольно смутный «азиатский резерв». Можно поэтому без преувеличений сказать, что Россия пребывает сейчас в геополитическом одиночестве.

Так что же, ситуация безнадежная? Нам следует смириться перед грозным роком истории? Оставить всякие «державные помыслы», чрезмерно напрягающие страну, и заботиться лишь о том, чтобы угасание российской цивилизации произошло, по возможности, мирным путем?

Сдаться, конечно, проще всего.

Это не потребует от нас никаких усилий.

Достаточно продолжать жить по-прежнему, и сумеречные предначертания осуществляются сами собой.

Вспомним, однако, первую половину данной статьи. Вспомним, что история знает впечатляющие примеры того, как нация преодолевала, казалось бы, непреодолимые кризисные рубежи, восстанавливалась буквально из пепла, из развалин, из ничего, обретала новые силы для продолжения своего национального бытия. В российской истории таких примеров более чем достаточно. Правда, во всех этих случаях, которые классифицируются то как «русское провидение», то как «русское чудо» (хотя и у многих других народов происходили аналогичные «чудеса»), помимо ресурсов физических, которые, как правило, были невелики, использовался еще и ресурс метафизический — пассионарная энергетика, извлекаемая из трансформирующегося этнического ядра.

Именно эта колоссальная метафизическая энергия, мировоззренчески структурированная и имеющая внятную цель, этот огромный ресурс непрерывного деятельностного бытия требуется России сейчас, если она хочет продолжить свое существование в будущем.

Владимир Соловьев в 1888 году писал: «идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»¹¹. А если перевести это высказывание на язык социального проектирования, то «Российский проект», коль мы намерены его все-таки создавать, необходимо соотносить не с тем, что зримо наличествует в текущей реальности, не с тем, что уже полностью отработано и необратимо уходит во тьму, а с тем, что только еще проступает в хаосе настоящего, смутно брезжит на горизонте, почти невидимо, неразличимо, но зато предвещает неограниченный цивилизационный потенциал.

Речь опять-таки идет о национальной идее.

Не всем быть богатым

Какой может быть национальная идея России?

Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, укажем на одно свойство национальной идеи, которое, на наш взгляд, является принципиальным. Во всех трех случаях, когда национальная идея работает, — создание нации, спасение нации, преобразование нации — возникает как бы новый народ, обладающий новым качеством национального бытия. Нация преображается, оставаясь при этом собой. В ее сознании, а значит и в поведении, акцентируются, взаимно скрещиваются и образуют новую суть те архетипические характеристики, которые до сего момента оставались латентными. Нация словно бы переходит на

более высокий онтологический уровень и за счет этого достигает значительных преимуществ в международной конкурентной борьбе.

Исторически это выражается во впечатляющих военных победах, поскольку вплоть до второй половины XX века именно война, геополитическое сравнение сил, являлась главным критерием жизнеспособности нации. Сравнительно небольшая армия Александра Македонского одерживает победу над громадным войском персидского царя Дария III: соотношение погибших в битве при Гавгамелах 1:40. «Модернизированные» англичане, испанцы, голландцы, французы за период с XVI по XX век превращают в свои колонии практически весь Третий мир, неизмеримо превосходящий их в количественном, но отнюдь не в качественном отношении. Тот же крошечный Израиль, который на карте не разглядеть, раз за разом сокрушает гораздо более многочисленные армии арабских стран: соотношение по людским потерям, например, в Шестидневной войне 1:20, по численности населения противостоящих сторон 1:50. Интересно, что в последнем случае техническое оснащение войск было примерно равным: израильтян вооружали Соединенные Штаты, арабов — Советский Союз, так что главную роль в этих победах сыграло, выражаясь бюрократическим языком, «качество человеческого капитала».

Однако превосходство дает не только энергетика пассионарности. Нация, охваченная национальной идеей, некоторое время находится как бы в состоянии «этнического озарения», в состоянии инсайта, творческого вдохновения, какой во многих случаях порождает принципиальные технологические инновации. У Александра Македонского это была фаланга, созданная его отцом в момент консолидации македонян. У монголов это была исключительная мобильность: быстрота продвижения — действия, заметно опережающие противника. Более того, монголы реализовали свою мобильность в способе дислокаций, который Мольтке-старший через шесть с половиной веков определил как «сражаться вместе — идти врозь», то есть в умении концентрировать все свои силы на направлении главного в данный момент удара. Фламандцы, сражавшиеся в начале XIV века за независимость против Франции, «изобрели» пехоту, доказав ее преимущество перед рыцарской конницей в «Битве золотых шпор» — это был грандиозный переворот в технологии ведения средневековых войн. В свою очередь, французы, трансформированные революцией 1789 года, «изобрели» всеобщую воинскую повинность («каждый француз — солдат»), рассыпной строй стрелков и массированную, согласованную атаку плотных пехотных колонн. Русские же (и независимо от них — испанцы) «изобрели» тактику партизанской войны, во многом способствовавшую крушению Наполеона. А зарождавшийся в пламени Октябрьской революции и гражданской войны новый советский народ «изобрел» мобильный генштаб (поезд Троцкого) и громадные конные армии, ставшие главной ударной силой тогдашних сражений.

Творческое состояние, в котором находится преобразующийся этнос, одна из главных психологических характеристик нового качества национального бытия.

В современной России тоже забрезжило нечто вроде национальной идеи. В самой общей терминологии ее можно определить как все ту же «державность». После присоединения Крыма, действия, неожиданного для всех, социологи отметили волну патриотического подъема у россиян — их готовность идти на

определенные жертвы, на международную изоляцию, на глобальное противостояние с Западом ради создания «великой страны». В данном стремлении наличествует и ощутимый архетипический резонанс: представление о себе как о «великой нации» — одна из констант русского национального подсознания. Вместе с тем очевидно, что зарождающаяся «державность» понимается современными россиянами исключительно в рамках традиционного мировосприятия — как территориальное расширение, основанное на военной силе. Вообще говоря, это культурный модификат чисто биологического инстинкта: любое животное стремится к расширению своей пищевой территории. То есть, это обращение не к инновации, а к традиции. Обращение к моделям средневековых и даже античных войн. Обращение к прошлому, а не к будущему, не имеющее поэтому реальной онтологической перспективы.

Однако известны и более прогрессивные распаковки той же «державной идеи». Модернизированные революцией Мэйдзи (1868 год) японцы тоже сначала пошли по пути классической территориальной экспансии, попытавшись создать «Империю восходящего солнца», которая охватывала бы собой весь азиатский мир, но, потерпев поражение во Второй мировой войне, сумели отказаться от экстенсивной стратегии имперского расширения и обратиться к стратегии интенсивной, подразумевающей качественное преобразование отсталой страны. Национальной идеей Японии в послевоенный период стал лозунг раннего советского времени «Догнать и перегнать!» Имелось в виду — догнать и перегнать Америку по технологическому развитию. Все силы японской нации были направлены на достижение этой цели. Каждый японец знал: проиграв войну, Япония должна выиграть мир. И уже к концу 1960-х годов искомый целевой горизонт был достигнут. Япония стала одной из ведущих индустриальных держав.

Правда, простое копирование японской национальной идеи вряд ли окажется эффективным в нашей стране.

Во-первых, идеи технологического прорыва уже выдвигали и президент России, и российский премьер-министр, но никакого энтузиазма у россиян они, как известно, не вызвали. Всем было понятно, что это чистая декларация, никак не сопряженная с повседневной жизнью людей. Воспринимались данные идеи так: это нужно «им», а не «нам». Идею мало выдвинуть, ее надо еще и грамотно «подключить».

А во-вторых, при конфигурировании национальной идеи следует учитывать не только психологию нации, что, кстати, труднее всего, но также физическую специфику самого государства. А физическая специфика нашей страны заключается в том, что в России более холодный климат, чем в большинстве развитых западных стран, и более обширная, с трудными коммуникациями, территория, во многом не освоенная до сих пор. При любой экономической деятельности Россия вынуждена будет платить дополнительные налоги, транспортный и климатический, исключить которые из накладных расходов нельзя. И если до периода интенсивной глобализации, когда национальные экономики были в определенной степени разобщены, это принципиального значения не имело, то теперь, в мире всеобщей экономической взаимосвязанности, любая, самая незначительная нагрузка на производство порождает ощутимые конкурентные трудности.

В классическом варианте развития Россия всегда будет экономически напряженной страной, что наглядно продемонстрировала история.

При прочих равных мы ни в развитии, ни в богатстве никогда не сумеем сравниться с мировыми лидерами Запада и Востока.

Мы будем все время, хотя бы чуть-чуть, отставать.

И все же у идеи технологического прорыва есть определенная перспектива.

Если простыми словами, то ее можно выразить так.

В очень давние времена перестройки на одном из многочисленных круглых столов, которые были очень популярны в те дни, мне был задан знаменитый американский вопрос: «Если ты такой умный, то почему не богатый»? И, помнится, не запнувшись ни на секунду, я выдал следующий ответ: «Не всем быть богатым, кому-то надо быть умным». Даже сорвал при этом какой-то аплодисмент.

На полноценную национальную идею такой ответ, разумеется, не потянет. Однако смысловая начинка его, как нам теперь представляется, имеет серьезный цивилизационный потенциал.

Как солить огурцы

В 1866 году, когда прусские войска разгромили армию Австрийской империи при Садове, канцлер Бисмарк сказал, что «эту войну выиграли немецкие учителя». Подразумевалось, что качественный уровень немецкого солдата был значительно выше австрийского, что являлось следствием немецкого школьного образования.

В действительности это легенда. Бисмарк данную фразу не произносил. Эту мысль сформулировал совсем иной человек¹². Однако здесь важно другое. Уже в конце XIX столетия была осознана универсальная ценность образования. Образование — это не просто сумма конкретных знаний, необходимых для овладения какой-либо обыденной специальностью. Образование — это качество нации, проявляющее себя во всех сферах жизни — от политики до повседневности, от экономической деятельности до войны. Напомним, что советская модернизация образования, то есть переход ко всеобщему начальному, всеобщему среднему и затем — к массовому высшему образованию породил пассионарную волну инноваций, длившуюся более полувека, вплоть до 1980-х годов. Советский Союз создал легендарный танк «Т-34», систему залпового огня «катюша», атомную и водородную бомбы, первым вывел на орбиту искусственный спутник Земли, первым запустил человека в космос. Напомним также, что политические, экономические и военные успехи Соединенных Штатов не в последнюю очередь были обусловлены систематическим включением в американскую нацию образованных людей — эмигрантов со всего мира.

Вот мощный ресурс, не требующий (по крайней мере на первых порах) ни глобального экономического переустройства, ни резких политических сдвигов, чреватых потрясениями и революциями.

Когнитивная трансформация нации, повышение ее качества за счет резкого повышения уровня образования — вот путь, который современной России и вполне доступен, и остро необходим. Более того, на наш взгляд, это вообще

единственный путь, обеспечивающий России реальное существование в будущем.

Причем вполне понятен и механизм реализации этой идеи. На самой начальной стадии она потребует модернизации аксиологического канона. Суть здесь заключается в следующем. У любого народа есть свой «ценностный свод», свой «этнический катехизис», свои «скрижали», куда входят базисные идеологемы его национального бытия. Такой канон, непрерывно транслируемый в обычную жизнь, определяет для нации весь ее поведенческий репертуар: что представителю данной нации можно и чего нельзя, к чему он должен стремиться и что категорически отвергать, какие принципы исповедовать и какие идеалы провозглашать. Подобным каноном в свое время была уваровская триада «православие, самодержавие, народность». Подобным каноном в советское время был «Моральный кодекс строителя коммунизма»: «коммунизм, интернационализм, коллективизм» и т.д.

В современной России такой канон тоже имеется. Правда, в него входит всего одно правило, которое можно сформулировать так: «будь успешным и не попадись». Иными словами: гребь, сколько хочешь, но соблюдай при этом правила теневой социальной игры. Понятно, что такой канон не является объединяющим, напротив, он продуцирует скрытую, но ожесточенную «войну всех против всех».

Создание нового аксиологического канона — это для России задача номер один. И, как нам кажется, задача эта вполне выполнима. «Позитивная реморализация»¹³ уже не раз успешно осуществлялась в истории. В качестве примеров можно привести денацификацию Германии после Второй мировой войны, аналогичную демилитаризацию национального менталитета Японии — тоже после поражения ее во Второй мировой войне или, если брать мирный период, внедрение в 1960—1970-е годы в американское общественное сознание представлений о равенстве чернокожих американцев (иноэтничных граждан вообще) с «коренными» белыми гражданами США, обеспеченное доктриной мультикультурализма.

Для современной России когнитивная трансформация может состоять в переходе от «аксиологии успеха», единственным критерием которой является денежный эквивалент, к «аксиологии интеллекта», критерием которой будут являться инновационные творческие достижения. Иными словами, доминирующий сейчас в западном мире «давосский дискурс», который акцентирует безликую финансовую «эффективность», должен быть преобразован в «российский дискурс», где эффективность является лишь следствием высокого национального интеллектуализма. Разумеется, это потребует переформатирования всего медийного пространства страны: достижения в интеллектуальной сфере должны пропагандироваться по крайней мере не меньше, чем победы футбольных или хоккейных команд. Однако как раз это нетрудно: «суверенная демократия», структурирующая сейчас российскую прессу, чрезвычайно удобный для подобной операции инструмент.

Очень перспективна в проектом смысле и этическая компонента такой трансформации. Она может быть представлена как переход от агрессивных маскулинно-милитаристских ценностей к ценностям толерантным, феминным, более соответствующим наступающей когнитивной эпохе. Или проще: как

переход от конкурентных отношений, где «победитель» подавляет «побежденно-го», фактически уничтожает его, к отношениям комплементарным (отношениям социального дополнения), где «выигравший» сотрудничает с «проигравшим». Это, конечно, потребует, и нового модельного ряда социально-ориентированных эталонов (вместо олигархов — творческая элита), и нового репертуара основных поведенческих стереотипов. Одновременно потребуются и новая социальная навигация, прокладка типовых траекторий в российском экзистенциальном пространстве (школа — институт — научная деятельность — инновационный успех; или школа — институт — бизнес — опять-таки инновационный успех), которые выводят к социально-престижному статусу.

Разумеется, новый канон должен быть предельно квантифицирован, то есть изложен в простейших идеологемах, доступных каждому россиянину. Как в советское время всем было понятно, что представляет собой советский человек, каковы его основные черты, так новый канон должен давать представление о том, что есть россиянин.

В принципе данный канон может стать главным критерием идентичности. «Российскость» (а возможно, и «русскость») уже не будет дробиться обособленными этничностями, как это происходит сейчас, а — интегрироваться по соответствию единому аксиологическому формату. Россияне (русские в том числе) вновь смогут стать универсальной нацией, каковой они успешно являлись в большей части своей национальной истории.

Однако самым важным в когнитивной трансформации россиян, вероятно, является то, что она соответствует русским историческим архетипам, то есть константам национального подсознания, сложившимся в процессе длительного этногенеза. В частности тому, что всякое богатство греховно, что у русского народа есть особое предназначение (свой метафизический горизонт) и что духовность (которую вполне можно трактовать как образованность и интеллектуализм) — это имманентное (врожденное) качество «русскости». В результате может возникнуть архетипический резонанс, являющийся одним из главных источников пассионарности.

Задачу, на наш взгляд, облегчает и то, что когнитивная трансформация необязательно должна иметь тотальный характер. Историю никогда не делает большинство. Историю делает пассионарное меньшинство, почувствовавшее и осознавшее вызов новой эпохи. В революциях и гражданских войнах, как правило, участвует не более 10 процентов всего населения, остальные, то есть подавляющее большинство, сидят по домам и ждут, когда это все кончится. То есть национальная идея первоначально должна охватить только эти 10 процентов. А далее начинает работать «демонстрационный эффект», описанный петербургским экономистом Дм. Травиным¹⁴. Провинции подражают столице, низшие социальные страты — высшим, народ — элитам, отстающие государства — государствам успешным. Психологическая индукция — это мощный процесс, которому почти невозможно противостоять. Как любил говорить первый и единственный президент СССР, тут «главное начать». Или, как формулирует это сам народ: «если огурец положить в рассол, то он становится соленым независимо от собственного желания».

Русское чудо

Россия стоит на пороге больших решений. Она находится в ситуации глобального вызова, угрожающего существованию нации и государства. Причем угрожает России вовсе не Запад, как это может показаться на первый взгляд. Глобальный вызов сформирован будущим, которое уже наступает, преобразуя собой весь мировой ландшафт. А будущее, к сожалению, беспощадно. Оно запускает свои холодные щупальца в настоящее, и ему «наплевать на все заслуги прошлого — истинные или мнимые...», как выразились однажды Стругацкие. Будущее — единственный противник, которого победить нельзя. Любая нация, сколь бы сильна она ни была, вступив в схватку с будущим, обречена на тотальное поражение. Сражаться с будущим вообще бессмысленно. Будущее можно только принять — со всеми его особенностями, кажущимися порой абсолютно парадоксальными. Однако в этой парадоксальности и заключается жизнеспособность будущего. Будущее — это не только угрозы и потрясения, открывающие провалы дымящихся бездн, это не только вызовы, раскалывающие громадные этносоциальные материи, будущее — это еще и спектр новых возможностей. Выдвигая чудовищные проблемы, будущее одновременно указывает и ресурсы, с помощью которых эти проблемы можно преодолеть. Эти ресурсы, как правило, неочевидны, они так же парадоксальны, как вызовы, и традиционному сознанию их так же трудно принять, тем не менее они неизменно наличествуют, и потому в будущем неизменно наличествует некая положительная перспектива.

У России сейчас есть три версии дальнейшего существования.

Можно, конечно, рассчитывать на «русское чудо». То есть на знаменитый русский «авось», который помогал нации выжить в исторически трудные времена. Можно, конечно, по-прежнему ориентироваться на прошлое и, красуясь державным величием, полагать, что бог, с которым, как известно, граничит Россия¹⁵, в итоге спасет ее несмотря ни на что. Как писал Алексей Толстой: «Уезд от нас останется, — и оттуда пойдет русская земля...» Не хотелось бы, правда, чтобы от русской земли остался один уезд. И к тому же здесь следовало бы иметь в виду, что «хождение по мукам» может продолжаться очень и очень долго. Кстати, знаменитое «венское легкомыслие» (смысловой аналог того же «авось») и такое же непреклонное убеждение, что бог на ее стороне, не помогло в свое время выжить Австро-Венгерской империи.

Можно, напротив, со множеством оговорок, как это уже происходило не раз, придерживаться стратегии классической европейской модернизации: принимать соответствующие законы, наращивать соответствующие социальные институты, надеясь в конце концов получить желаемый «западный» результат. Однако и тут следовало бы иметь в виду, что «догоняющая модернизация», путь, которым Россия шла в течение почти всей своей послемонгольской истории, несомненно, обеспечивал развитие и подъем экономики, но никогда не выводил страну в число экономических лидеров. Военных — да, технических — время от времени, экономических — нет. И это вполне понятно. Следование чужим прописям — ни в социальном творчестве, ни в художественном, ни в научном — никогда не приводило к подлинному успеху. Ученик при этом неизбежно

оставался учеником, стоящим на ступеньку, на две ниже учителя. Превзойти учителя он мог лишь в том случае, если начинал делать что-то свое.

И наконец Россия может избрать третий путь. На метафизический вызов будущего она может дать такой же метафизически мощный ответ. На наступление когнитивной эпохи она может ответить стремительной модернизацией человека. Мы можем создать новую нацию, новую цивилизационную сущность, совершенно новый народ, прозревающий в будущем не столько угрозы, сколько — перспективные и увлекательные возможности. Народ, который раздвинет границы унылого традиционного бытия. Народ, который утвердит себя в мире пленительной силой разума, а не устрашающей силой межконтинентальных ракет.

Это тоже будет своего рода «русское чудо», но — рукотворное чудо, созданное нами самими.

На вызов будущего мы можем ответить национальной идеей, которая просияет ярче тысячи солнц.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. — Ленинград, 1990. Часть шестая «Пассионарность в этногенезе». С. 262.

² Hedrick Smith. The Russians. — New York, 1976. P. 302 — 303.

³ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. — М., 2004. С. 216.

⁴ The World Bank. — <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>.

⁵ Медведев Д. Россия, вперед! — <http://news.kremlin.ru/news/5413>.

⁶ Сурков В. Национализация будущего // Эксперт. 2006. № 43.

⁷ Левада-центр. «Российский средний класс. Его взгляд на свою страну и Европу». — <http://www.levada.ru/press/2008070101.html>.

⁸ Терехова А. Россия — мировой рекордсмен по числу эмигрантов // Независимая газета. 2013. № 269.

⁹ Федеральная служба государственной статистики. Перепись 2010 г. — http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-01_02.pdf.

¹⁰ Сафарова Г.Л. Старение населения России: современное состояние, перспективы, последствия для социальной политики // Проблемы экономической теории и политики. — СПб., 2006. С. 148.

¹¹ Соловьев В. Русская идея // Соловьев В. Смысл любви. — М., 1991. С. 42.

¹² Автор этого высказывания — профессор географии из Лейпцига Оскар Пешель (1826—1875). В июле 1866 г. он писал в редактируемой им газете «Заграница»: «Народное образование играет решающую роль в войне... когда пруссаки победили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем» // Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. Автор-составитель Вадим Серов. — <http://www.bibliotekar.ru/encSlov/15/250.htm>.

¹³ Позитивная реморализация — термин Аркадия и Бориса Стругацких (см. Стругацкий А., Стругацкий Б. Трудно быть богом: фантастические произведения. — М., 2006. С. 159).

¹⁴ Травин Д. Россия на европейском фоне: причины отставания. 2. Как мир становится развитым? // Звезда. 2013. № 4. С. 186—197.

¹⁵ Рильке писал, что Россия граничит не столько с другими странами, сколько с Богом. См.: Рильке Р. М. Как на Руси появилась измена // Рильке Р. М. Проза. Письма. — М., 1999. С. 174—179.

Василий Голованов

Дочки-матери

I

Потом она все пыталась вспомнить, когда сжалось пространство и настала тишина. Война прошла дальше, мимо них, в стороне, так и не задев. Война, как она ее успела узнать (медсестер из санаториев района Кавказских минеральных вод в обязательном порядке призвали уже 22 июня 41-го), полна была людей, звуков, крика и адского грохота, но она полна была и ощущением близости своих; они были рядом, с боков, спереди и позади повсюду, а тут, по мере того, как война теряла свою разрушительную силу и переходила в какое-то иное состояние, вокруг становилось все тише, тише и все ближе подступало одиночество.

Они все еще стояли на дороге. Они все еще чувствовали себя в безопасности на дороге, и солдат со свежим ранением в предплечье даже присел, и она взглянув ему в лицо, увидела его ввалившиеся от жары глаза и еще подумала, что воды дать надо бы, шли уже ночь и полдня, но ничего, дотерпит, подумала, уже близко: мост перейти, а там Баксан, и там наши. И тут она заметила бредущих в кукурузе людей. Они шли молча. Не говорил никто. Шли в другую сторону, навстречу им, а главное, у них были такие лица, чужие лица без надежды, что она почувствовала: еще чуть-чуть — и одиночество поглотит ее. И вот тут один, в форме, заметив их на дороге, показался из кукурузы и спросил:

— На Баксан идете?

— Да, — ответила она.

— Не ходите! — убежденно сказал человек. — Если оружия нет, не пробьетесь. Бьют там наших. Стреляют с той стороны реки. Измена. Знают, что наши идут раненые, без оружия. А в Нальчике десант — немцы.

И вот тут она почувствовала. Одиночество. О-о-о, как сразу выстыла кровь и сжался голос. Как будто она маленькая и заблудилась, и не знает, куда идти. И все эти люди вокруг, в кукурузе, тоже не знают...

Как странно, — подумала она. — Весь день наоборот получается. Ничего не выходит. Утром все было отлично: она рассчитывала уехать из Ессентуков с персоналом своего госпиталя на электричке. Отправляли только врачей и медсестер, потому что раненых было столько, что их надо было вывозить отдельно. Поезд ждал отправления: он весь, от частей своего механизма до людей, находящихся в нем, был погружен еще в четкий регламент войны и эвакуации; вчера отправили четыре эшелона на Тбилиси, сегодня должны были отправить столько же, ничего не должно случиться, она была в этом уверена, как за месяц до этого была убеждена, что немцы никогда, ни при каких обстоятельствах, не прорвутся сюда, к армейским тыловым

Голованов Василий Ярославович — прозаик, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Публикации в «ДН»: «Остров» (№ 5—6, 1997), «Стрелок и Беглец» (№ 6, 1998), «Эпоха Антропоцена» (№ 10—11, 2009) «Восхождение в Согратль» (№ 2, 4, 2012) и др.

госпиталиям, размещившимся в зданиях бывших курортов Кавминвод, где выздоравливали теперь раненые. Электричка тронулась, но на станции Бештау уперлась в красный семафор, и хотя все ждали, что тот вот-вот переключат на зеленый, его все не переключали, а поезд, вздрогнув по всей длине, вдруг сдал назад и пошел, набирая скорость, обратно, и все яснее становилось, что что-то дало сбой в механизме войны, что-то сломалось...

Немцы действовали как всегда продуманно: первым делом разнесли вокзал в Минводах.

Было начало девятого вечера, когда вернулись в Ессентуки. Прошло совсем немного времени, но ей казалось, что она не узнает родной город: как будто люди пораскрывали все двери и носятся один к другому, передавая какие-то пугающие вести. Она увидела людей, везущих на тачке раненого с перебинтованной головой.

Тяжелый, — отметила про себя.

— Граждане! — вдруг услышала она голос начальника своего госпиталя Яницкого. — Кто может, — возьмите к себе раненых! Возьмите, иначе они погибнут! Это солдаты, они сражались за нас, немцы их не пожалеют! Уверяю вас, это ненадолго...

Увидев ее, Яницкий на секунду потерял дар речи.

— Люба? Почему вы вернулись?!

— Немец разбил вокзал в Минводах.

— О, черт, — он запнулся. — Мы в мешке. И веревка почти затянута...

Она увидела солдат из соседнего госпиталя, стоящих и сидящих у ограды. По одиночеству в их глазах видно было, что их бросили на произвол судьбы и они теперь не знают, кто они, что им делать.

— Что-то надо придумать... — лихорадочно произнес Яницкий. — Комиссар! Впрочем, при чем здесь комиссар?.. Ни одной подводы, ни одной машины... — Он помедлил. — Вы, Люба, на ногу легкая?

— Легкая, — сказала она.

— Тогда берите ходячих и уведите их, пока не поздно. Пойдете через Юцу и Баксан, оттуда на Нальчик. Там, я думаю, еще спокойно.

— Есть, — сказала она.

Начальник госпиталя собрал ходячих: в основном это были довольно бодрые и крепкие ребята, раненые кто в руку, кто в плечо.

— Пойдете с этой товарищ медсестрой. Если будете идти быстро, то проскочите...

И вот: они не проскочили. И сидят теперь в кукурузе, полной шорохов испуганных, крадущихся людей.

— Посчитайте, сколько вас, чтоб не растеряться в темноте, — сказала она.

Они посчитались.

— Семнадцать.

Тут только она заметила, что один из «ходячих», доставшихся ей, опирается на палку. Он был ранен в бедро.

Не выдержит, начнет отставать. Намаемся с ним... — подумала она.

Они пошли обратно в ночь. Вторую ночь на ногах. Она устала и слышала теперь только шорох кукурузы, сбитые шаги рядом да молчаливое, натруженное дыхание своих раненых. Она уже научилась отличать дыхание своих от прочих, кто брел в темноте; кто-то из раненых на выдохе пристанывал, будто наступал на больное. Над головами идущих прекрасно рассыпались по небу звезды. Скоро стало светлеть, и снова впереди — только не слева уже, а справа — возник величественный зубец Бештау.

Почему-то сейчас вновь видеть гору было невыносимо.

Она остановилась. Раненые молча ждали позади нее. Неожиданно один подошел и осторожно дотронулся до рукава гимнастерки. Она подняла на него глаза. Это был тот солдат, с палкой, раненный в бедро.

— По кругу ходим? — сказал солдат. — Перепуганы люди. Сами себя боятся, друг от друга прячутся... Ни одного немца не видел никто, а уже боятся... Но ты людей не вини, — мягко сказал солдат. — Ты скажи: что делать будем? Так нам мотаться смысла

больше нет. Надо расчетливей действовать, иначе, как баранов, сгуртуют нас да и погонят, куда следует. Скажи, как звать тебя?

— Люба.

— Вот, Люба. А я из Севастополя. Володя меня зовут. В героических боях дрались мы, Люба, и умирать теперь из-за того, что все невидимого немца испугались, никакой охоты лично у меня нет...

— Стонет там у вас кто? Ты? С ногой что-нибудь? — спросила она.

— Нет, — сказал солдат. — Лешка стонет. Душа мается, вырваться хочет: не понимает он, что к чему. Молодой очень...

Рассветный час сменился жарким утром, когда они вошли в Пятигорск. С первого взгляда ясно было, что город оставлен всякой властью: на улицах царил суета, похожая на суету муравейника; часто закрывались и открывались двери домов, окна, а главное, на улицах много было людей, но все они двигались в разных направлениях, и при этом каждый тащил что-то. Вот оттуда в мешках тащат муку, тут рассыпано мыло; тут вся дорога залита растительным маслом, и женщины с бидонами все бегут, бегут куда-то, откуда тянется этот след... Магазины, склады, бывшие госпитали — все было раскрыто, и люди тащили все, что могли унести на себе: гвозди, соль, кровати, простыни... Они оторопело смотрели на шевеление развороченного муравейника города, но их никто не замечал. Люди знали, что армия ушла, не забрав даже раненых, и что уже поэтому никаких солдат в городе быть не может, а если случайно объявились на улице какие-то в форме, то это просто несчастные бездомные существа, которым не повезло убраться вовремя и которые поэтому в первую очередь будут подвержены гибели. Она поглядела на страшные лица солдат, на их разбитые рыжие сапоги и грязные бинты, потемневшие от пота. Она поняла, что нужно спасать их, скорее уводить отсюда.

— Стойте! — крикнула она двум женщинам, которые тащили железную кровать, груженную больничными подушками и одеялами.

Те грохнули кровать посреди улицы и, чуть отдышавшись, утерли вспотевшие лица.

— Че тебе?

— Немцы... — спросила она. — Были здесь?

— Немцы! — усмехнулась одна из женщин. — Мы не видали. Кругом, говорят, уже они: в Ворошиловске¹, в Минводах, в Георгиевске... На Орджоникидзе фронт уходит... До нас у них руки пока не дошли... — выпалив эту тираду, женщины подхватили кровать, словно вспомнив, что зазор во времени, приоткрывшийся отсутствием властей, может захлопнуться в любую минуту.

— На Орджоникидзе... Видала, как? — с досадой проговорил Володя из Севастополя. — До самого Кавказа, значит, провалился.

Он обращался к ней, но она, кажется, не понимала, слишком захваченная картиной охватившего город безумия.

— Кто провалился?

— Фронт...

Солдаты сидели в тени вокзальной стены, как убитые. Она вспомнила, что такие лица уже видала когда-то. Она поняла: каждый из них сейчас получил свежее ранение и не может прийти в себя, не может найти точку опоры, чтобы встать.

— Ребята, — позвала она.

Ничего не изменилось в выражении их лиц. Она подумала, что надо все равно рассказать: влить им эту историю, как лекарство, сквозь зубы.

— Когда я попала на фронт, немец первый раз взял Ростов. И к нам стало попадать очень много солдат с психическими расстройствами. Они пережили разгром, страшный разгром под Ростовом, и вот, у которых помоложе, психика не выдерживала, потому что им казалось, что это — все, окончательно. Они не могли смириться с

¹ Ставрополе.

разгромом. Они, особенно которые помоложе, пришли победить. А тут... Немец тогда цистерны резал, с самолетов их бросал. Она, как труба: так воеет, что кожа стынет. И вот они не в бою, не под бомбами, а от этого воя сходили с ума. Здоровенные парни, ни одной царапинки. И когда через две недели обратно отбили у немцев Ростов, они уже все в солдаты негодные были. Не выдержали самую малость — и на инвалидность прямым ходом...

Она успела заметить, что все до одного открыли глаза и смотрят на нее.

— Вы сейчас потерпите немножко. Не смотрите по сторонам, если не можете. Это люди не от подлости все вокруг тянут, они от страха тянут, головы потеряли, всем запасаются... Им тут под немцами худо придется. Хуже, чем вам, если дойдете. А мы сейчас... — она все думала, чем обнадежить их и находила только одно. — До мамы дойдем... Там отдохнете. Покушаете... И я вас всех, обещаю, выведу. Всех накормлю, одену: если захотите — все проберетесь на фронт...

II

— Ну, слава тебе Господи, жива... — сказала мать.

— Вот... — повернулась она к семнадцати.

— Да уж, намучались, — сказала мать, пропуская солдат во двор.

Потом она уже не помнила.

Проснулась она в доме, в прохладной комнате, где всегда спала: вечерний свет освещал цветы на окошке. Краешком детского сердца ей захотелось позвать мать и спросить: мама, что это было? И было ли что? И чтобы мать ответила: что ты, Любка, спи, ничего не было.

Но она знала, что было. Застегнула гимнастерку, поправила волосы, спустилась вниз. Солдаты спали во дворе у забора, разделявшего соседние участки, в тени последней яблони: все остальное пространство сада было засажено кукурузой, как будто люди загодя знали о войне и готовились к голоду.

— Юрка! — позвала она.

Откуда-то из глубины сада возник брат.

— Где мать?

— Насчет одежды для них спрашивать пошла.

— А ты?

— Кукурузу варю.

...На третий день, когда в город вошли немцы, к ним пришел летчик. На окраине немцев никто не видел, но весть о них распространилась молниеносно. Немцы должны были прийти на танках, и так они пришли: в центре, у вокзала и на площади перед прокуратурой, у входа в парк стали немецкие танки. Окраина погрузилась в окончательную тишину затаившегося пространства, наполненного лишь звуками природы, игрой ветра да шорохом насекомых. Летчик шел по улице от дома к дому, беспощадно-обнаженный в своей разорванной на коленях и местами прожженной летной форме, стучась по очереди в каждую дверь. Но где-то двери просто не открывались ему, где-то приотворялись, прогоняя улицей все дальше и дальше, пока он не дошел до их дома, дома Шаталовых с четырьмя высокими акациями под окнами. Он постучал.

Женщина открыла калитку, молча оглядела и впустила его.

— Простите, — прижал он почерневшие ладони к груди, — Все направляют к вам. Я летчик. Машина разбилась на Бештау... Мой напарник погиб...

Он назвал, разумеется, и по имени, но, кажется, это не имело такого уж большого значения для этой женщины; она не переспрашивала его и не назвала себя, просто сказала: «пойдем».

Он успел заметить лица и глаза двух маленьких детей у стены дома, кажется, мальчика и девочки, и, как корова, пошел за женщиной вглубь сада. За стеной зеленой еще кукурузы он увидел открытый окоп и сидящих там таких же, как он, людей.

— Вот, — сказала женщина. — Располагайся тут с ребятами...

Он понял, что ему придется разделить общую судьбу этих людей, и шагнул к ним.

Семнадцать пар глаз сверлили его, с поразительной точностью угадывая все подробности его бедствия: самолет, измученный смертельной раной, пламя, пробившееся в кабину, низвержение в гущу леса, удар о землю, гибель товарища, блуждание в незнакомом лесу с гудящей от удара головой, колючки, изодранные руки, первая ночевка на голой земле, голод, случайно обнаруженный родничок ледяной воды, которой он, как бурдюк, заполнил свое чуткое пустое брюхо...

Рядом с окопом на треножнике стоял казанок с остатками грубой каши, под которым тихо дотлевали комли деревьев — пни с обрубленными корнями, неподвластные уже ни пиле, ни топору...

Он прислушался: где-то блеяла коза, где-то плакал ребенок, и мать, укачивая его, долго нараспев повторяла две ноты, издревле связующие мотив материнской нежности. Где-то звякнула посуда, где-то женщина, невольно вздыхая, собирала в таз опавшие яблоки, где-то крупорушка пережевывала сухое зерно в муку. Ни одного мужского звука не было слышно здесь, ни раскатистого мужского смеха, ни звука мужской работы, ни даже покашливания старика...

Познакомился с сидевшими в окопе. На каком-то вираже своего рассказа он вдруг умолк, заслышав тихий женский разговор:

— Я даже не знаю, мама, у него там под гипсом гангрена, я гипс сняла, а там по всей голени гнойные черви... жирные, белые... — молодой женский голос, казалось, дрожал от ужаса.

— Это ничего, они до мяса объедят, почистят только, а сейчас рану надо дубом... Я в парк схожу, коры надеру, ты свари покрепче, бинты вымочи и забинтуй — как на собаке зарастет...

Этот голос он знал: это был голос матери, впустившей его сюда, голос матери всех этих молодых женских голосов, голос матери всех этих несчастных, оказавшихся ничьими на дорогах войны. Он понял, что их гораздо больше, чем он подумал сначала, что они везде, почти в каждом доме, и только там, на улице, по ту сторону заборов, могло казаться, что дома оглохли и вымерли: пространство внутри дворов жило тайной жизнью улья, самой подвижностью и суетой этой жизни, непрерывным движением среди таганков с каким-то варевом, кипящих пеленок, орущих младенцев, бессмысленных уток и блеющих коз пытаюсь скрыть в глубине кишашего роя несколько неучтенных человеческих особей, меченных бинтами ран, и тем уберечь их от смерти...

Потом он проснулся и понял, что долго спал. Никто не будил его.

Потом пришли две девушки и принесли раненым брюки и пару рубаш.

Двое раненых вылезли из окопа и, скинув заношенное солдатское обмундирование, торопливо переоделись, словно смущаясь своих худых, нечистых и ослабших тел...

Девушки чуть-чуть причесали и прихорошили их, по возможности придав их засидевшимся окопным физиономиям гражданский и даже бравый вид парней, которые вышли прогуляться с девчатами...

Девушки выходили за калитку и шли первыми. Пройдя квартал, сворачивали в проулок, в пустое, пронизанное закатным солнцем пространство запущенных садов у реки. Два женских силуэта бесшумно двигались впереди, чарующе-прекрасные в своей самоотверженной решимости сопроводить их к краю мира. На берегу реки девушки останавливались. Парни приближались к ним. Со стороны и вправду могло показаться, что между ними происходит объяснение в любви...

— Если пройдет, напишите сестре в Хафиз, — говорила Люба, давая каждому записочку с адресом: сестра работала учительницей в Средней Азии, куда не могла же дотянуться война...

— Прощайте...

— Прощайте, добрый путь...

Так их осталось шестнадцать.

Только после войны выяснилось, что в Хафиз сестре приходили письма «от чужих людей» — значит, многие сумели, прошли, «прорвались».

III

Немцы заняли Ессентуки 11 августа 1942. За неделю сестры — Люба и Мария — успели вывести «в сады» на тайные тропы, снабдить хлебом и указать путь четырнадцати окрепшим раненым. Теперь в окопе на дворе оставалось лишь двое: Володя из Севастополя (у него началось воспаление пулевого канала) и другой, имени которого она не спрашивала, но который, похоже, вовсе не хотел, рискуя жизнью, пробиваться к своим. К тому же немецкой комендатурой был выпущен приказ: всем бывшим советским военнослужащим, раненым — явиться и стать на учет. За неподчинение — расстрел. За укрывательство — тоже расстрел. И были люди, которые «сдали» своих раненых в комендатуру. Или соседям. От Даниловых Шаталовым передали раненого (там своих было пятеро детей), от Павленкиных другого, и так собралось их в окопе снова шесть человек: Гриша Гаража, Сергей Муххо, Иван (фамилию забыла), Саша Кумской из Армавира да два Володи — из Брянска и из Севастополя. А дальше... А дальше была просто жизнь: ходили за кукурузой, за дровами, варили кашу, делали перевязки, обстирывали, выменивали по дворам теплую одежду... Вы понимаете, ничего *такого уж* героического во всех этих походах не было. Только у Любы от тяжелых мешков позвоночник на всю жизнь сорван, диафрагма лопнула от натуги и сердце слева направо как-то переползло...

Солдаты потихонечку окрепли, раны их затянулись. Обычным путем — в сторону Кавказа ушел однажды летчик, прихвативший молодого Андрея, пристанивавшего от ужаса жизни тогда, в кукурузе: летчик был силен, у него был настоящий пистолет. Как-то раз Люба ездила в бывший совхоз «Карл Маркс» — муки намолоть, там была мельница — и выяснила, что близко, через Верблюд-гору, есть товарная станция, железнодорожники готовы помочь, отправить, кого надо, на Украину.

Володя из Севастополя стал готовиться «в прорыв». Чуть не сорвало это дело одно обстоятельство. Однажды на улице появился немец. Улица окраинная, сроду немцев здесь не бывало, а тут — на тебе. Идет вполне целенаправленно — за гусем. И вот, гуси побежали, один юркнул под калитку, немец за ним во двор — а там все шестеро во всей красе. Сидят, на осеннем солнышке греются. Девушки даже не заметили, что он вошел, — обедали. И вдруг — гос-по-ди... Он посмотрел на них, на мужчин, все понял, сел на пенек, закурил. Глубокую затяжку сделал. Как будто переживал, какую-то думку думал. Потом обвел всех глазами и говорит: Сталин-Гитлер гр-гр-гр, а мы, камрад, капут, капут. Потом Сталин-Гитлер будут тринкен — чокаться — а мы будем в земле гнить — вот так показал. Потом говорит: мне гусь нужен. Мать тут же отловила ему гуся. Он забрал его и ушел. И весь дом дрожал несколько дней: выдаст — не выдаст? Не выдал. В конце уже осени 42-го зашел еще раз. Сказал, что его отправляют под Сталинград. *Nach Stalingrad*. И газетную вырезку дал: там были сфотографированы несколько повешенных. Постучал пальцем: вот, дескать, что вам за ваши дела может быть...

Через Верблюдку на Украину переправила Люба обоих Владимиров — из Севастополя и из Брянска. А четверых так и додержала до прихода Красной Армии — 11 января 1943.

IV

Я приехал в Ессентуки. Разыскал этот дом. Люба Шаталова стала, разумеется, бабушкой, и только в той особой заботливости, с которой она со мной беседовала, кормила, укладывала спать, видна была в ней неистребимая и добрая воля настоящей медсестры. И воля, видимо, железная. Потому что когда я огляделся, не поразиться было нельзя: домик маленький и садик маленький, сотки четыре. Пара яблонь там новых выросла, на месте кукурузы — пара грядок и тут же, на границе с соседями, был тот окоп, где они жили и, значит, разговаривали, или хотя бы чихали, или кашляли,

ели, и неизбежно, выходит, ходили по нужде... Чтобы тут кого-то прятать... Тут не в храбрости дело. В воле. В решении.

Я тогда три дня у нее прожил и расспрашивал очень подробно, потому что у Сергея Бодрова (младшего) была мысль: а не сделать ли фильм по этому сюжету? Обсуждали мы такую тему. И для полноты, что ли, картины не хватало малости: романтической интриги. Чтобы, скажем, Володя из Севастополя, уходя через Верблюдку в неизвестность войны, немецкого тыла, в конце остановился и сказал... Даже не про любовь. И даже, может быть, не сказал, а просто — взял за руку. Мол, я вернусь, Люба.

Но сколько я ни расспрашивал Любовь Дмитриевну, к каким бы журналистским ухищрениям не прибегал — ничего у меня не выходило. В конце концов ломанулся напрямик: вам девятнадцать лет, вы — красавица, а они, хоть и раненые, но мужики же молодые, да как оказалось и герои... И ничего меж вами не было? Не верю. Она грустно так рассмеялась и произнесла: вы, Вася, даже не понимаете, о чем говорите... Такие чувства... Они знаете, после войны хлынули... Будто расцвело все. А тогда была зима. И в прямом, и в переносном смысле. Оккупация. Поймали бы меня с кем-нибудь из них — расстреляли бы сразу. Соседи бы слово шепнули — всем бы конец. И плюс их накормить, дров притащить, одеть, проводить... Это все такого напряжения чувств требовало — вы, что хотите, думайте, — но не до любви...

Я тогда понял, как надорвалась и выстыла душа этой прекрасной девушки, как чутка она была — как животное, по следу которого идет охотник, у которого нет и не может быть мысли о пощаде. Разумеется, «романтический момент» для фильма можно было бы додумать, привнести в сценарий намеком, лучиком тепла, надежды. Но это было бы вранье. Пять месяцев жили они среди голой беды, зимы, насады. Во всем себе отказывая, таясь, как преступники, на грани. Все время на грани... Ради чего? Чтобы спасти этих людей, раненных солдат, доверившихся им, беспомощных, как дети, попавших в смертельную для солдата беду. Они оплели эту беду коконом женской заботы, этим плетением *скрывая* раненных, но неизбежно *обнаруживая* себя: любой заинтересованный наблюдатель быстро просек бы, что значат эти походы за едой, выменивание мужских вещей, когда в доме одни бабы, поиски марли, спирта... Если уж говорить о кино, то тут фильм пришлось бы выстраивать на почти неуловимых психологических нюансах, в очень сдержанном, может быть даже черно-белом, эмоциональном ключе и, что труднее всего, строить всю драматургию на внешней бессобытийности (разве что немец) и колоссальном, но невидимом напряжении их подвига. Сергей Бодров выбрал потом более динамичный сюжет про войну, соответствующий его режиссерскому дару. И во время съемок погиб почти со всей киногруппой в Кармадонском ущелье. Это до сих пор памятная трагедия. А тот сюжет так и лежал не востребуемым до сегодняшнего дня. И мне было бесконечно жаль, что он, скорее всего, уйдет вместе с живой памятью о войне, которая слабеет год от года просто потому, что переживших войну людей с каждым годом неумолимо становится все меньше. Но когда я вспоминаю Любовь Дмитриевну Шаталову, я не перестаю удивляться даже не ее героизму, а тому, что героизм этот не превосходит естественной скромности, когда даже и неловко ей говорить о нем... Понимаете? Воистину высока и чиста ее душа, невероятно, по-платоновски как-то чиста.

Иногда я спрашиваю себя: о чем плачут герои, встречаясь 9 мая, и о чем они сквозь слезы смеются? Да, поколение, выигравшее войну, было воистину необыкновенно. И на мета-уровне духа оно оставило нам такие примеры героизма и самопожертвования, которых потом уже не было и даже не могло быть по многим причинам. Невероятные это бывали люди. Так что я думаю, что 9 мая герои плачут потому, что находят, наконец, последних собратьев по духу, тех, кто действительно понимает, о чем надо плакать, а о чем — смеяться... Жаль только, что таких людей, как Люба Шаталова, земля нашей родины больше почти не родит, — и это горше всего осознавать, это в эпицентре того невероятного и даже неловкого пафоса, которым мы обставили ее — их, всего поколения войны, — победу. Среди нашего пафоса их победы. Не наоборот.

Лиана Алавердова

Типично по-американски

Хоть и пестра современная Америка, но и в этой мешанине культур и языков есть устоявшиеся и легко узнаваемые привычки и черты. Когда мы говорим: «Это типично по-американски», то имеем в виду все что угодно, от безобидных привычек до устойчивых черт национального характера, от доминирующих убеждений до вкусовых пристрастий.

Когда-то существовал миф, что американский и русский национальные характеры схожи. Миф этот культивировался самими американцами. Помните Саманту Смит, написавшую письмо Андропову в разгар «холодной войны»? В своей книге «Путешествие в Советский Союз» милая девочка сформулировала это так: «Они такие же, как мы». Проведя более двадцати лет в США, я уверена, что это прекраснотушное видение и тогда, и теперь далеко от действительности. То, что все люди мира имеют сходные физиологические и психологические черты, еще не основание для отождествления неблизких культур.

Я не претендую на всеохватность, а пишу лишь о своем взгляде на абстрактного американца, которого так же невозможно встретить на своем пути, как среднестатистического русского. Впрочем... невозможное все же однажды удалось. В 2005 году на основании статистических данных и собственных теоретических выкладок Кевин О'Киф, автор книги «Средний американец. Удивительный поиск самого обычного гражданина страны» (Kevin O'Keefe, «The Average American. The Extraordinary Search for the Nation's Most Ordinary Citizen»), сумел-таки найти «среднего американца» во плоти... неподалеку от своего родного города в штате Коннектикут. У «найденныша» присутствовали все 140 показателей, которыми, по мнению автора, должен обладать «средний американец». Уже тот факт, что в многомиллионной Америке нашелся лишь один субъект, отвечающий требованиям строгой статистики, говорит о том, что подобный подход является скорее забавным исключением в мире реальных индивидов. Не сомневаюсь, что при желании можно было бы сыскать подобный

Лиана Алавердова родилась в Баку, закончила исторический факультет АзГУ. Работала в Институте философии и права Академии наук Азербайджана. С 1993 года живет в США, работает в Бруклинской публичной библиотеке. Является автором поэтических сборников, эссе, статей, переводов с английского и азербайджанского языков, которые неоднократно публиковались в журналах, газетах и альманахах в Азербайджане, России и Соединенных Штатах.

«показательный» экземпляр в любой стране мира. Однако, возвращаясь к реальности, замечу, что более продуктивным является не конструирование «выставочного представителя» того или иного общества, а выделение черт, которые бросаются в глаза иммигрантам и по сути являются типичными для культуры народа.

Начнем с рождения ребенка. Если не считать незапланированных младенцев, которые появляются у неразумных тинейджеров, все большее число американок решается на материнство, предварительно отучившись и став на ноги в финансовом смысле. Чем дольше оттягивается процесс приумножения семьи, тем с большей помпой обставляется ожидание долгожданного чада. В Америке популярен обычай baby shower, что в неуклюжем переводе означает «лялечный душ», когда подруги, родственники, коллеги и другие приглашаемые в дом лица осыпают беременную подарками для будущего младенца. У нас такой ритуал представить себе трудно из-за суеверия: боялись ведь даже заранее сообщать о беременности, не то чтобы закупать детские вещи и принимать подарки «впрок». Здесь же не успевает женщина забеременеть — сей радостный факт становится достоянием широкой общественности, а теперь, при существовании социальных сетей, аудитория может быть расширена до сотен знакомых и малознакомых людей.

У нас не принято устраивать всякие торжества и сразу после рождения ребенка, когда он еще не вполне окреп. Новорожденный и его мать в этот период жизни считаются наиболее уязвимыми, их здоровье тщательно оберегают, что не предполагает большого количества контактов с посторонними. В Америке при родах присутствуют, как правило, муж и мать, а то и другие родственники, и поглазеть на младенца пускают всех желающих, как будто не ведая о микробах. Американцы трубят во все трубы и звонят во все колокола, оповещая о радостном событии, не думая о «сглазах» и отменяя страхи. Тут и надписи на машинах «Baby on board» («Младенец на борту»), и надувные шарики соответствующих полу ребенка цветов, развевающиеся на крыльце, и плакаты «It's a boy!», «It's a girl!»

Говорят, что ребенка надо воспитывать, когда он лежит поперек кровати. Когда он укладывается вдоль, уже поздно. Американцы воспитывают чувство собственного достоинства у своих детей едва ли не с колыбели. Американская мамаша предлагает своему младенцу право выбора в развлечениях, одежде, да в чем угодно, тогда как наша считает, что сама лучше знает, что надо ее ребенку. Моя дочь наблюдала сценку. В магазине игрушек два отца с малышами: наш эмигрант и американец. Эмигрант приказывает: «Завяжи шнурки!» Американец вопрошает своего малыша: «Милый, что бы ты хотел посмотреть?»

Большинство американских детей сызмальства воспитывается на идее приятия любых религий, национальностей, оттенков кожи и сексуальных ориентаций. Акцент, неправильные ударения, речевые ошибки, которых так стесняются эмигранты, для США настолько привычное дело, что раздражают они только наиболее «нервных» старожилов.

Учительница русского языка в американской частной школе попросила ученицу прочесть вслух какой-то текст. Девочка отказалась. Учительница назвала ее бесстыжей. Абсолютно непредставимо в устах американского педагога. Начать с того, что здесь в школах не заставляют читать вслух или отвечать

урок перед классом (особенно тех учеников, у кого есть дефект речи, или тех, кто слишком сильно волнуется и не может справиться со своим волнением). Вызывают с места только тех, кто не имеет подобных комплексов, и то далеко не все учителя. Здесь не сообщают оценок во всеуслышание, и родители на родительском собрании сидят перед педагогом индивидуально, а не группой.

Кстати, когда-то я присутствовала на лекции, которую Евгений Евтушенко читал перед русскими студентами в Квинс-колледже. Два его поступка шли в разрез с этикетом, принятым в американских учебных заведениях: то, что он предложил студентам по очереди читать стихи вслух по книге, и то, что попросил студента сходить за чаем.

Но вернемся к учительнице русского языка. Вторая ее ошибка, с точки зрения американского воспитания: она приписала девочке качество, которое, кстати, никак не соответствовало ее проступку. У нас не редкость сказать ребенку: «плохая девочка», «плохой мальчик», даже «дурак». Американские родители (само собой разумеется, я имею в виду тех родителей, которые еще могут служить примером для подражания, а не «пещерных» жителей) обсуждают поведение, а не моральные качества ребенка. Американская поговорка гласит «Labeling is disabling», то есть навешивание ярлыка калечит, оно равнозначно постепенному превращению ребенка в морального инвалида, в неполноценное существо. Если вы по какому бы то ни было поводу внушаете ребенку, что он плохой, вы наносите удар по его достоинству, он может перестать чувствовать свою ценность и уважать себя. Он станет только хуже. О телесных наказаниях я вообще не говорю, это противозаконно в Америке, и родителей просто привлекут к ответственности, если о факте порки станет известно. Название книги Игоря Кона «Бить или не бить?» звучало бы абсурдно для американцев. Вопрос давно снят.

Американцы тоже сердятся на своих детей, но популярный подход заключается в том, что за свои промахи и ошибки наказывать себя должны сами дети. Типичный американец дает ребенку time out, чтобы он посидел и подумал о своем поведении, или отправляет его в свою комнату, лишая привычных развлечений. Когда сердятся на ребенка, зачастую называют его полным именем: «Мэри Анн Смит, ступай в свою комнату и никаких видеоигр на сегодня!» Или называют дочь «young lady», показывая тем самым крайнюю степень неудовольствия. Если же вина за какой-то инцидент лежит на взрослом, то ему следует признать свою вину. Бесчестность и обман считаются тяжким грехом, и многие родители уверены, что шпаргалки и подсказки на экзаменах — не безобидные шалости, а проступок, заслуживающий серьезного наказания.

Американцы обычно выдают детям allowance, что-то вроде пенсии, определенную сумму в неделю, чтобы они умели распоряжаться деньгами и разумно их тратить. Три слова родители внедряют в сознание своих отпрысков с младенческих лет: «спасибо», «пожалуйста», «извините». Их усилия большей частью не пропадают втуне. Образованные и необразованные, черные и белые, американцы автоматически, легко и не задумываясь, произносят эти слова. Приветливость и благожелательность при встрече, пресловутая «американская улыбка» — результат того же воспитания.

Начнем со слова «спасибо». Вероятно, многие, когда смотрят церемонию награждения «Оскара», удивляются, с каким энтузиазмом американские кинозвезды благодарят все свое окружение за собственные успехи. Родители, жены

и дети, коллеги по работе — все получают свою долю благодарностей. Искренно это или нет — дело совести кинозвезд, но выглядит такая признательность благородно и трогательно. Так же почти любая книга не обходится без списка тех, кто сподвиг автора на его труд и помог ему. Американцы не оставляют без внимания никакую услугу, никакой знак внимания, каким бы мелким он ни казался. После визита в гости — телефонный звонок или открытка с благодарностью хозяйке, по правилам, обязательны. Дверь тебе открыли или поприветствовали перед тобой — «спасибо» следует автоматически.

Но вот приходит время, и милый ребенок превращается в подростка, тинейджера. Когда-то я, по совету подруги, не без пользы прочла популярную книгу «Reviving Ophelia: Saving the Selves of Adolescent Girls» («Возрождающаяся Офелия: как сберечь свое «я» у взрослеющих девочек») — о том, что происходит с девочками-подростками под влиянием американской массовой культуры. Никакие книги, однако, не в состоянии помочь, когда ваши дети внезапно, но неизбежно входят в штормовую зону — подростковый период. Тинейджеры — это родительское наказание, причем в этом случае почти нет разницы между недавними эмигрантами и коренными жителями страны. Грипп не делает различий между национальностями и расами, и тинейджерство, подобно тайфуну, проносится по прежде мирной жизни, чтобы вы еще больше ценили прекрасное прошлое, когда дети были маленькими и вы что-то значили в их глазах. Американские подростки полагают себя свободными людьми, игнорируя общепринятые модели поведения и культуру «взрослых», пока их не принудят обращать внимание на расхождение с нормами этикета. Подростки считают, что имеют право на неограниченную свободу. Им неведома поговорка «Знай край, да не падай», и они агрессивно реагируют на рамки, в которые их пытаются загнать. Американское общество весьма толерантно к свободе самовыражения и чудачествам поведения. Один из дельных советов, который я слышала, звучит очень по-американски: дать детям самим пожать то, что они посеяли, то есть прочувствовать последствия своего неправильного поведения. Но как же трудно следовать этому совету, когда мы только и желаем подстилать коврики дорожки, чтобы детки наши не набили синяки и шишки!

Как они справляют праздники. Только в русских ресторанах допускается приносить выпивку с собой, и только наши люди приносят конвертики с деньгами в ресторан вместо подарка юбиляру. Американцы отмечают свои дни рождения по-другому. Если они идут в ресторан, они принимают в расчет то, насколько там хорошее обслуживание. Если американцы приобретают крупные вещи, то непременно проводят тщательное «расследование» по интернету, используя результаты опросов потребителей, чтобы покупать со знанием дела именно то, что действительно необходимо.

Принимая гостей у себя дома, американцы часто устраивают фуршет, без сидения за столом, без тостов, песен и танцев. Или идут в бар и платят за именинника и за себя. И не всегда дарят подарки. А если дарят, то уж не то, что полезно и нужно, а то, что индивидуально, редко и без чего вполне можно обойтись. Дарят вещи, имеющие символическое значение, отнюдь не шикарные в обыденном понимании. Подарки могут быть дорогими, но не «гламурными». Браслет в знак дружбы, например, не драгоценный, а простой. Когда я успешно сдала экзамен на гражданство, моя приятельница американка подарила мне

жестяной патриотический флажок. Другая подруга американка подарила мне на день рождения майку с изображением Анны Ахматовой. Типичные американцы стараются делать «персонализированные» подарки. Они исходят из того, что у человека все необходимое для жизни есть, а подарить ему надо нечто специфическое (майку или кружку с любимым литературным персонажем), кухонную утварь с именными монограммами, дощечки с банальными либо смешными цитатами, подушки и коврики, воспевающие радости домашнего очага, безделушки, привезенные из путешествия, либо, повышая уровень утилитарности, билет на концерт или кружку пива в баре. Им и в голову не придет принести на день рождения деньги в конверте.

Или они устраивают сюрприз имениннику. Когда он приходит домой, усталый после работы, и включает свет, на него с воплем «Surprise!» набрасывается группа взбудораженных родственников и друзей. Насчет подарков существует обязательное правило: или развернуть их в присутствии дарителя и поблагодарить, или, если вы получили подарок по почте либо через третье лицо, отметить в письменной форме, желательно открыткой или письмом, написанными от руки. Конечно, это страшно старомодно, но куда предпочтительнее, чем отписка электронной почтой. И уж вовсе неправильно смолчать, оставив в недоумении пославшего вам подарок человека: получили ли вы его и понравился ли он вам? Кстати, желательно отвечать благодарственной открыткой и на приглашение, скажем, на обед. Прекрасный обычай, но соблюдается он лишь теми, кто прошел соответствующую школу воспитания.

Вообще американцы относятся к празднованиям своих дат гораздо спокойнее, чем наши, и частенько вообще их не отмечают, а отправляются в путешествие. Американцы любят необычно, «тематически» справлять свадьбы, дни рождения и другие торжества. Свадьба у сына моей коллеги пришлась на хэллоуин, 31 октября — можете себе представить костюмы гостей и страшилки! Может все быть стилизовано под детский лагерь, куда невеста ходила ребенком. На одной такой свадьбе гости играли в детские игры, а прием проходил в кафе, напоминавшем кафе ее детства. Подруга моей дочери справляла шестнадцатилетие, так называемое торжество Sweet Sixteen, «на тему» Little Mermaid, Русалочки. Всем гостям подарили ракушки на память. Платье было в русалочьем стиле, декорации на столах — рыбы, морские коньки, ее лучшие подруги были одеты в соответствующие костюмы. В конце любого знаменательного торжества гостям обычно раздают party favors, сувениры на память.

Американская улыбка. Один из отличительных признаков американца — белозубая и широкая «американская улыбка». Принято улыбаться во время интервью при приеме на работу, начальству и коллегам, соседям и просто случайным знакомым, с которыми встретишься взглядом. Многих иностранцев американские улыбки раздражают. Они им представляются неискренними, искусственными. Михаил Жванецкий писал, что американцы улыбаются, как будто лампочка включилась в электросеть. Очень многие выходцы из Союза, в том числе иммигранты «со стажем», не видят смысла в том, чтобы постоянно улыбаться, тем более незнакомым людям.

Выпускник Гарвардского университета Франсис Тэйпон (Francis Tapon) оставил мир бизнеса, чтобы исполнить свою мечту: посетить все страны мира и написать о своих впечатлениях. Сейчас он путешествует по Африке и в своих

заметках возражает угрюмым оппонентам: «Я предпочту ежедневную фальшивую улыбку хмурому лицу». Европейцы говорили нашему путешественнику: пусть мы холодны вначале, но потом, когда потеплеем, можем стать друзьями на всю жизнь. Представьте себе, американцы тоже имеют друзей на всю жизнь.

Американская улыбка не так фальшива, как представляется. Многие американцы настроены позитивно и склонны полагать, что незнакомец, встреченный ими, хороший человек и не причинит им зла. Улыбка при встрече взглядами — культурная норма, сигнал доброй воли, означающий, что вы благожелательно настроены, не причините зла и верите, что незнакомец тоже настроен благожелательно. Распространенность улыбки возрастает по мере удаления от больших городов. Нью-Йорк, например, считается более «холодным» городом. То ли потому, что в нем много иммигрантов, то ли потому, что он просто чересчур огромен, но тут улыбку не встретишь так же часто, как в американской «глубинке».

Средний американец. Раз уж мы заговорили о таких стереотипах, как американская улыбка, не могу не коснуться вопроса о «среднем американце». Что такое «средний американец» и существует ли он в реальности? Или это ходячий стереотип с набором характеристик: улыбчивый, но страшно деловой господин, с энтузиазмом берущийся за разрешение как своих личных вопросов в районе собственного огорода, так и мировых проблем? В США средний американец воспринимается как принципиально важное понятие, с которым надо считаться. Демократы и республиканцы во время избирательных кампаний апеллируют именно к среднестатистическому американцу. Под среднего американца выстраивают свои рекламные призывы американские корпорации, его интересы учитывают или, напротив, игнорируют местные телевидение и радио. Его называют «средний Джо» или «средняя Джейн», в зависимости от пола.

Казалось бы, задача вычислить и понять, что из себя представляет этот среднестатистический американец, как минимум довольно трудна, если вообще принципиально разрешима. Далеко не всегда можно провести статистический анализ, так как перепись населения не включает в себя все необходимые характеристики. Зато существуют опросы общественного мнения и данные многочисленных исследований. В конце концов, средний американец — это не только результат вычислений, скажем, среднего дохода на душу населения, но и статистически наиболее вероятный типаж, наделенный тем, что характерно для большинства американцев, будь то привычки, вкусовые предпочтения, интересы, хобби и множество других показателей. Такие исследования проводятся в США регулярно с целью изучения структуры производства и рынков сбыта различных товаров и услуг. В результате вместо карикатуры, какие любят рисовать за пределами США, проявляется картина, претендующая на объективность.

Вот некоторые характеристики. Большинство американцев женятся хотя бы раз в жизни, и первый их брак чаще всего заканчивается разводом. Средний возраст вступающих в брак для мужчин 26.8, а для женщин — 25.1 лет. Разведенные чаще всего вступают в брак вторично. Средний работающий американец зарабатывает около 24.5 долларов в час (данные Bureau of Labor Statistics). 67% американцев — домовладельцы, проживающие в домах не более чем с тремя спальнями. Основная часть американцев принадлежит к среднему

классу, во всяком случае, считает, что к нему принадлежит, даже если доход не дотягивает до среднего. Кстати, 55% американцев думают, что они умнее, чем «средний американец». Среднему американцу сегодня 37 лет. Курят только 22% американцев. Самая распространенная для этой категории американцев религия — христианство.

Сами коренные американцы зачастую понятия не имеют, кто мог бы быть олицетворением большинства их соотечественников. Есть исключения, конечно. К ним принадлежит уже упомянутый Кевин О'Киф. Он путешествовал по всей стране, встречался с людьми, пытаясь выяснить, каковы наиболее существенные черты облика искомого героя, и в общей сложности принял во внимание 140 показателей.

Где живет большинство американцев? В городах? А вот и не угадали. Большинство американцев живет в пригородах, правда, в урбанизированных пригородах.

Перечислю еще несколько характеристик среднего американца, учтенных О'Кифом. Он должен закончить среднюю школу, проживать в одном и том же доме не менее пяти лет и в том же штате, где родился. Он должен работать, быть американским гражданином, верить в то, что семья очень важна, быть женатым и иметь как минимум одного ребенка. Так как ни одна национальность в США не составляет большинства, критерий национальности не важен. Большинство «средних американцев» живут в домах, принадлежащих одному из членов семьи, семья составляет в среднем не более четырех человек. Дом для большинства — самое крупное капиталовложение в жизни. Дом «среднего Джо» будет стоить от 100 000 долларов до 300 000 долларов. Вокруг дома — от одного до двух акров земли и обязательно лужайка. Находиться этот дом будет не дальше трех миль от ближайшей закусочной McDonald's и в двадцати минутах езды от магазина Walmart. «Средний Джо» водит автомобиль и всегда пристегивает ремень безопасности. Дома у него есть какое-нибудь домашнее животное, причем не обязательно кошка или собака. Ложится спать он до полуночи. «Средний Джо» поддерживает право на аборт, но против абортов в своей семье. Считает себя счастливым и уверен, что счастья на деньги не купишь.

Он умеет стрелять из ружья, поддерживает право носить оружие при условии, что владельцы оружия зарегистрированы. Играет в лотерею хотя бы раз в году. В его семье по крайней мере у одного человека есть хобби. Он ежегодно жертвует на благотворительность и работает как волонтер. Большую часть дня проводит в помещении, хотя не менее одного раза в неделю дает себе какую-нибудь физическую нагрузку. Весит от 135 до 205 фунтов (то есть от 61 до 92 кг). Пьет кофе и содовую, ест арахисовое масло, никогда не употреблял наркотиков. Хотя раз в жизни он делился своими проблемами с психологом. Поддерживает американскую армию, хотя считает войны во Вьетнаме и Ираке ошибкой. Носит очки, имеет дома стереопроектор, цветной телевизор с видеопроектором, посудомоечную машину и стиральную машину с сушилкой. Не курит, пьет иногда, нерегулярно. Список можно было бы и продолжить, но не многовато ли статистики?

Средний американец, однако, всего лишь пустая оболочка, где такие характеристики, как доход, возраст, мобильность, привычки и многие другие показатели, хотя и представляют интерес, но далеко не исчерпывают содержа-

ния, скрывающегося за скорлупой ореха, вернее, под черепной коробкой среднего американца. Чем живет он, каковы его взгляды на жизнь, моральные ценности?

Базовые ценности. Социолог Робин Мэрфи Уильямс предложил ряд базовых ценностей, которые, по его мнению, укоренены в национальной психике и разделяются большинством американцев. Что представляют из себя эти ценности? Изложу в произвольном порядке.

В первую очередь американцы ценят достижения и успех, причем успех заслуженный, обретенный не любой ценой, не окольными путями, через знакомства, связи, наследуемое богатство, а как результат собственной упорной деятельности. Не любят нытиков, тех, кто сваливает неудачи на внешние обстоятельства и предпочитает надеяться на случай. Умный человек, не стремящийся к успеху, для американцев почти оксюморон. Другое дело, что они разносят понятия известности и успеха. В 1998 году опросы Louis Harris выясняли у американцев, хотят ли они быть знаменитыми, прославиться (славу определяли как «быть популярным, широко известным и признанным за достижения, деятельность, способности, экспертизу и мнения»), и 69% сказали «нет». Представление, насаждаемое массовой культурой, будто все в Америке одержимо желанием прославиться, не соответствует действительности. В 2002 году тинейджеров попросили назвать своих кумиров, и, согласно опросу Гэллопа, только 25% выбрали артистов, известных людей или спортсменов.

Деятельность и труд, принцип «делу время, потехе час» до сих пор исповедуется многими. Американцы в массе своей трудятся истово и неутомимо. Workaholic (трудоголик) — широко распространенное явление в Америке. И если раньше основные тяготы работы ложились на плечи мужчин, то теперь, уже давно, американские женщины разделяют трудовое бремя в семье, а то и пахнут в одиночку. Многие женщины не мыслят себе радости жизни без работы, ориентированы на успех и вкалывают так, что и времени на личную жизнь почти не остается. Выражение *sageer woman* я узнала только в Америке. Американцы работают больше (если исчислять часами в неделю), чем французы и немцы, но меньше, чем корейцы или сингапурцы (Business Insider, 2013), в среднем — 38 часов. К сожалению, американское правительство годами насаждает иждивенческую психологию, «борясь с бедностью», а в результате этой «борьбы» количество бедных не снижается, зато зависимость от государственной помощи становится все крепче.

Нерасторжимо связан с упомянутыми моральными ценностями и американский индивидуализм. Как уже было сказано, американцы традиционно ценят успех, являющийся следствием индивидуальных усилий и инициативы. Опора на самого себя, свой вкус и предпочтения — этим духом проникаются с детства. Родители, как правило, прислушиваются к предпочтениям детей, а не навязывают им свои взгляды. Но индивидуализм имеет и свою обратную сторону — одиночество. Чувство одиночества вполне субъективно: можно остро ощущать одиночество и в кругу семьи. Одиночество усугубляется и зависимостью от электронных игрушек, gadgets, социальных сетей, которые, при всех их преимуществах, все же являются суррогатами живого общения. Как результат — страдают семейные ценности. В 2012 году 27% всех домашних хозяйств в США состояли из одного человека. В 2013 году неженатыми были 44.1 % жителей

США старше 18 лет. Родители и дети часто живут далеко друг от друга и видятся только по праздникам. Родители стараются не вмешиваться в жизнь детей, а дети яростно обороняют границы своей независимости.

Понятие privacy — одно из понятий, труднее всего усваиваемых нашими иммигрантами. Тем более, что оно тесно связано с представлениями о дружбе и близости, которые не вполне совпадают у разных этносов, включая русских и американцев. Насколько я понимаю, прямого перевода этого слова на русский не существует. «Уединение или уединенность»? Не совсем то... Более близко стоит по смыслу слово «невмешательство», но и оно неточно передает понятие, весьма существенное для американской культуры. Я бы перевела это слово как принцип невторжения в частную жизнь, право на принадлежащие исключительно их владельцу личное пространство и время, на которые никто не имеет права посягнуть! Очередь в аптеке или на почте не дышит друг другу в затылок, а позволяет каждому иметь возможность переговорить с работником так, чтобы его не слышали окружающие. Если один человек ненароком нарушает персональное пространство другого, проходя к выходу в автобусе или в любой толпе, извинение слетает с его уст автоматически. Если вы подойдете к кому-то слишком близко и при этом не извинитесь, на вас посмотрят осуждающе. И будут правы!

Нашим соотечественникам нелегко дается понимание того, что нельзя позвонить знакомым до 10 утра или после 9 вечера, потому что вы можете их потревожить. Американцы в этом случае не церемонятся и прямо говорят, если по той или иной причине им неудобно с вами разговаривать. Уважение к privacy для американцев превыше всего.

Один из коренных принципов privacy — не задавать лишних вопросов, не стараться проникнуть в чью-то частную жизнь, пусть даже с самыми лучшими намерениями. Например, беседую я со своим коллегой американцем. Он мне жалуется на здоровье: разорванный мениск в колене, врач не советует делать операцию. Я немедленно делюсь семейным опытом: моему мужу сделали операцию одновременно на обоих коленях и (о ужас!) рекомендую моему коллеге последовать его примеру. Это явно превышает допустимый уровень участия с моей стороны, и я почти мгновенно понимаю, что сказала лишнее, но слово не воробей. Мой коллега мягко повторяет, что ему врач операцию делать не советует, и тут, по законам здешнего этикета, мне следует извиниться и заткнуться, что я и проделываю со смущением.

В публичной библиотеке, например, privacy неукоснительно соблюдается. После того как посетитель воспользуется компьютером, вся информация стирается, и никто не может получить к ней доступ. А после возврата книг читателем в компьютерной системе не будет сохранена информация о том, что он читал. В Бруклинской библиотеке, где я работаю, ввели новый каталог, который позволяет читателям сохранять в памяти своего персонального файла список прочитанных книг. Но это делается сугубо добровольно, и никто, кроме самого читателя, не будет иметь доступа к этой информации.

Открытость — только добровольная. Сказанное отнюдь не означает, что американцы совершенно закрыты для общения. Они открываются настолько, насколько хотят открыться, и форсировать этот процесс ни в коем случае нельзя.

Не рекомендуется выуживать личную информацию, забрасывать вопросами, что называется «лезть в душу». Как нигде здесь уместно следовать максиме «Не задавайте вопросов — не услышите лжи». Но ложь — не самое страшное. Вас сочтут *posy*, *sneaku*, то есть сующим нос не в свои дела, пронырой. Составить столь нелестное мнение о себе — не слишком ли высокая цена за попытку удовлетворить любопытство?

С другой стороны, американцы не любят и слишком закрытых людей, тех, кто категорически не делится никакими сведениями ни о себе, ни о своей семье. Дело в тонком балансе, который соблюдать ох как трудно! По себе знаю: то лишнее скажу, то не скажу того, что надо. Как говорится, век живи — век учись... Интерес к ближнему поощряется, но проявлять его нужно в очень деликатной форме, а то ближний может отдалиться. Спросите, есть ли у кого-то дети — и нечаянно наступите на большую мозоль. Интересоваться семейным положением тоже может быть чревато: а что, если тот, кого вы спрашиваете, имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию? Открытость приветствуется, но только добровольная. И — обоюдная. Как говорится, не спрашиваете — не отвечаем!

В одной связке с индивидуализмом идет свобода. В первую очередь, конечно, свобода, связанная с правом на выбор, но не только. Имеются в виду и гражданские свободы, и свободы в основании собственного бизнеса. Хотя очень многое в стране делается в помощь малому бизнесу, бюрократические препоны создали в последнее время менее свободную атмосферу для бизнеса, чем ранее. В результате США не входят сейчас в десятку самых свободных для бизнеса стран (отдельное спасибо нынешнему президенту и его команде!). Зато туда вошли Гонконг, Сингапур, Австралия, Швейцария, Новая Зеландия, Канада, Чили, Мавритания, Ирландия и Дания. Это не касается свободы индивидуального выбора, будь то выбор одежды, еды, прически, стиля поведения или карьеры, обучения и т.д. В книге «Парадокс выбора» профессор социологии Барри Шварц писал: «Когда у людей нет выбора, жизнь почти невыносима. С ростом возможностей выбора, как это существует в нашей культуре потребления, автономия, контроль и освобождение, приносящие это разнообразие, являются мощными и позитивными. Но с возрастанием вариантов выбора негативные стороны усиливаются до такой степени, что мы становимся перегружены ими. В этот момент выбор уже не освобождает, а ослабляет». (Перевод мой. — Л.А.).

Практичность. Очень важны для американцев эффективность и производительность, практичность. Это народ, который не терпит долгих проволочек и любит работать быстро, применяя инновационные решения, преобразуя идеи в практические дела. Ноу-хау американского бизнеса — важнейшие наработки, которые неотделимы от американской культуры. Когда я закончила учиться на степень магистра в библиотечном деле, то приняла участие в церемонии окончания колледжа. К тому времени я только три года прожила в Америке, и меня, помнится, поразила четкая организация этой церемонии. Толпы выпускников, их родственников и друзей, и при всем при том — никакой давки, неразберихи, все продумано, как оркестровая партитура. Тщательная подготовка любого мероприятия и начинания — норма, а не исключение в Америке. Плохо ли, хорошо ли, но даже такая, казалось бы, по природе консервативная

организация, как библиотека, и та постоянно что-то меняет, внедряет новые модели обслуживания, новые технологии. То вводится система автоматического приема книг, то к этому прибавляется и сдача книг с помощью автоматов. Еще недавно мы выдавали читателям только книги и диски, потом — электронные книги, а теперь уже выдаем на дом пластины Google Nexus, и читатели пользуются в библиотеке переносными ноутбуками.

Америка, безусловно, поклоняется научно-техническому прогрессу, а это, в свою очередь, сопровождается все возрастающим уровнем экологического сознания. Как ни крути, Америка — локомотив прогресса. Продвижение вперед по тернистой дороге прогресса ускоряется заинтересованностью частных бизнесов в получении прибыли. Побочный продукт этой корыстной деятельности — все более широко удовлетворяемые потребности всех, стремящихся к материальному комфорту. Мы жили в стране под лозунгом «Все во имя человека, для блага человека!», когда в реальности советский прогресс подразумевал принесение в жертву интересов людей интересам государства. Приехав в Америку, мы обнаружили, что не существует практически никаких бытовых удобств, которые не были бы уже придуманы и внедрены здесь.

Важнейший элемент американского сознания — равенство. Идея равенства лежит в основе американского общества с самого его зарождения. Свобода вероисповедания с годами трактовалась все более расширительно, и теперь я часто встречаю в родном Бруклине мусульманок в паранджах, из которых проглядывают только щелочки глаз. Расовое равенство, за которое пришлось побороться, в нынешние времена разыгрывается как игральная карта демагогами всех мастей. Они ухватываются за любой случай, когда белый убивает черного (когда происходит наоборот, это не так интересно, так же, как и политически невыгодно обращать внимание на те примеры, когда чернокожие убивают своих же собратьев, что в 90% случаев и происходит). Вряд ли кто-нибудь станет возражать против идеи равенства возможностей. Однако когда пытаются распространить эту идею на сферу экономики, это чревато последствиями. Осуществи уравниловку — и Америка сползет к уровню стран третьего мира. Но не будем о грустном.

В бытовом плане американцы весьма просты и часто относятся к окружающим без всякого чувства превосходства. Во всяком случае, признак хорошего тона — вести себя в обществе именно так. Буквально с первых минут знакомства они предлагают обращаться к ним по имени и проявляют прочие признаки простоты в общении.

Если в 1960-х годах социолог Р. Уилльям писал о расизме как укорененной в национальной психике идее (язык не поворачивается назвать ее словом «ценность»), то сегодняшняя Америка разительно изменилась. Согласно опросу Гэллопа, в 1948 году только 4% американцев одобряли браки между белыми и черными. В 2002 году — 65%, в 2003 году — 72%. На смену узаконенному расизму за какие-то 50 лет пришли мультикультурализм и толерантность. Религиозная терпимость, которая всегда была присуща Новому Свету, распространилась на все расы и культуры, включила и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Причем мультикультурализм и терпимость к разным стилям жизни насаждается американской культурной и политической элитой,

государственными структурами, это идея, идущая не столько снизу, сколько сверху. Под ее влиянием меняется лицо Америки, общественное сознание. Многие штаты узаконили браки между гомосексуалистами. Что станет следующим шагом? Узаконенная полигамия? Не буду загадывать...

Еще одна идея, которую не выкорчевать из массового сознания (да и не надо!) — **идея демократии**. Не случайно Джорджу Бушу так понравилась книга Натана Щаранского «В защиту демократии». Буш по наивности полагал, что демократически измененный Ближний Восток — это благо для мира и для Америки. В реальности демократическим путем в Египте, например, пришла к власти религиозно-политическая ассоциация «Братья-мусульмане», и потребовалось вмешательство военных, чтобы положить конец этой власти. В Ираке демократически избранный шиитский руководитель прибрал к рукам все органы власти и вытеснил суннитов в оппозицию. В результате мы имеем совершенно отмороженных фанатиков ИГИЛа, рядом с которыми померкла угроза Аль-Каиды.

Важнейшей составляющей американского «коллективного сознательного» (если позволите подобное выражение в противовес юнговскому «коллективному бессознательному») является гуманизм. Слишком высокое слово в применении к практичным, деловым, одержимым желанием заработать и преуспеть янки? Настаиваю, что гуманизм не на словах, а на деле — одна из коренных, основополагающих характеристик американского морального сознания. В 2003 году, согласно опросам Гэллопа, 82% американцев пожертвовали деньги религиозным и другим благотворительным организациям, а 59% работали там волонтерами. По данным журнала «Philanthropy», пожертвования среднего американца более чем в семь раз превышают пожертвования среднего немца. Думаете, прижимистые и бережливые немцы, что с ними сравнивать? Но по данным за 1995 год, средний американец пожертвовал в три с половиной раза больше, чем француз, и в четырнадцать раз больше, чем итальянец. Дело не только в богатстве страны. Американцы гораздо чаще, чем жители других развитых стран, жертвуют не только деньги, но и время, помогая общественным организациям, школам, религиозным учреждениям. Вопреки мнению, что миллиардеры и корпорации могут себе позволить жертвовать деньги и жертвуют их больше остальных, на самом деле большинство пожертвований приходит от частных лиц, почти в три раза больше, чем от корпораций, фондов и других учреждений.

В 2004 году Гэллоп спросил тинейджеров, какова их цель в жизни. Превалировали ответы: «внести изменения в жизнь и помочь людям» или «быть хорошим христианином». Таких ответов было в 12 раз (!) больше, чем «быть успешным или знаменитым». В 1998 году старшеклассники школы Wareham, Massachusetts, открыли Зал Славы Обычных Героев. В него вошли, например, пенсионер, бывший уборщик Дин Пина, отдавший свое место в очереди по пересадке сердца шестнадцатилетней девочке, и некто Кевин Донахью, который переселился к своей прежней жене и стал заботиться о ней после того, как у нее был диагностирован рак. Дело не в том, что в Америке есть хорошие люди. Они есть везде, во всем мире. Дело в том, что идеал добрых дел здесь культивируется, пропагандируется, прививается с детства в семье. Моя подруга Мэри Лу, католичка, приучала дочерей помогать бедным и участвовать в разного рода благотворительных акциях. Совсем еще детьми они помогали в бесплатной

столовой для бедных. И такое поведение воспринимается как норма, а не как подвиг. Американцы в целом отзывчивы и великодушны. Правда, многие убеждены, что для того, чтобы по-настоящему помочь человеку, надо не рыбу наловить для него, а дать ему в руки удочку, чтобы он сам мог ее наловить.

Да, американское законодательство поощряет благотворительность, и те, кто жертвуют деньги, получают налоговые послабления. Многие корпорации и компании используют это преимущество. Однако треть налогоплательщиков не указывают в своей налоговой декларации сведений о пожертвованиях. В докладе влиятельной американской консервативной организации American Enterprise Institute сказано, что практически ни для кого налоговые послабления не являются главным стимулом для пожертвований.

Уровень религиозности влияет на уровень благотворительности. По данным того же института, религиозные люди жертвуют в четыре раза больше денег и в два раза больше личного времени на волонтерство, чем нерелигиозные. Вопреки расхожему мнению, религиозные люди жертвуют больше нерелигиозных не только на свои церкви и синагоги (что естественно), но и на другие общественные и индивидуальные нужды. В 2000 г. консервативные семьи пожертвовали на 30% больше либеральных, хотя либеральные имели на 6% больше дохода. Либералы будут сокрушаться, что правительство выделяет недостаточно денег на пособия, но деньги бездомному скорее пожертвуют не они, а консерваторы. Что ж, вера в большое доброе правительство — не только социализма наследие, но и удел тех, кто не прошел этого урока истории...

Fair Play. Ко всем перечисленным ценностям я бы добавила веру в честность, в правила, в то, что здесь называют fair play (честной игрой). Громкие политические скандалы и распушенность голливудских звезд не должны затмевать того факта, что большинству людей глубоко отвратительны неприглядные выходки знаменитостей, и на бытовом уровне честность ценится высоко. Кто соврет при приеме на работу, тот крепко рискует, если неожиданная проверка выведет обман на чистую воду. Вылетит с работы вмиг! Шпаргалка или списывание — скандал на всю школу. Американцы верят в эффективность открытых каналов коммуникации между людьми. Если их что-то не устраивает в поведении человека, предпочитают сказать ему об этом открыто, а не копить раздражение. Например, если кому-то не понравится анекдот с расистским душком, то вполне вероятно, что он об этом либо скажет шутнику, либо даже заявит по инстанциям.

Бытовые привычки. Вначале немного о еде. Образованные американцы более озабочены тем, насколько здоровую пищу они едят. Типично по-американски включить в обед белковое, углеводное и овощное блюдо. Нарезают огурцы в салат кружочками, а салат подают в огромной лохани, берут двумя специальными большими вилками или ложками, чтобы можно было его перемешивать, подбрасывая. И жаря яичницу, ее подбрасывают, чтобы перевернуть. Чеснок нарезают огромным ножом, очень быстро. Почти никогда не едят супов. А если едят, то это для них особая трапеза. Не принят обед из трех-четырех блюд. На одной тарелке могут лежать одновременно салат, рыба, картошка. Типичным для американцев считается сначала все нарезать на тарелке, а потом уже есть. Только американцам приходит в голову намазывать

на ломтики яблока, груши, сельдерея... арахисовое масло. Только они делают треугольные бутерброды, а дети запивают обед молоком. Иммигранты даже не подумают, что можно заправлять яичницу кетчупом или острым соусом, а также есть стейк с кетчупом. Очень характерно для американцев поглощать сосиски с пивом на спортивных матчах, жевать попкорн в кино, таскать с собой всюду бутылочки с водой. Спиртное пьют в основном русские, ирландцы и итальянцы, американцы в винах не слишком разбираются. Когда мы были у друзей в штате Миссисипи, то на обеде, где собралась родня, не было ни одной бутылки спиртного, даже пива. Мужчины там если и пьют, то очень немного, в мужской компании, на рыбалке и/или охоте, а на алкоголь в обществе американцы-протестанты взирают неодобрительно.

Американцы легко выбрасывают еду и ненужные вещи.

Несколько слов об одежде. Приехав сюда, я поразилась равнодушному отношению многих к тому, что на них надето. Помню, как я была удивлена, когда увидела молодую женщину в длинной юбке и кроссовках, для меня это было настолько же стилистически несовместимо, насколько носительнице сей экипировки было наплевать на внешнее впечатление от ее облика. Таков подход к одежде многих американцев, за исключением тех, кто работает и вынужден одеваться в соответствии с dress-code, или тех, кто неравнодушен к собственной внешности, есть и такие. Многие американки почти не прибегают к косметике. Могут весь день провести в постели, если устали. Чаще всего они не переодеваются, когда приходят домой с работы. Душ принимают утром, перед работой, а не вечером. Пользуются дезодорантами. Смертный грех — телесный запах или запах изо рта. Равно неприлично ходить с металлом или зияющими дырами во рту.

Можно перечислить еще мелочи, вроде того, что американцы зажимают нос, когда ныряют, или считают, не загибая, а разгибая пальцы, но пора остановиться. Облизывают пальцы во время еды — пренеприятная привычка. Для американца не редкость бухнуться в одежде и обуви на постель. Так что в их гигиенических навыках есть свои причуды. Американцы наивно полагаются на экспертов в любых вопросах, причем это свойственно частным лицам, компаниям и даже самим экспертам. За советом при решении любого вопроса следует обращаться к наставнику, будь то психотерапевт, финансовый консультант, автор популярной книги на тему успеха и преуспевания, организатор свадебных торжеств и пр. Однажды посетительница библиотеки попросила меня найти книгу по... завязыванию шнурков, а другая — на тему, как приучить детей отказаться от памперсов в пользу горшка.

Вот и судите сами: похожи мы на них или нет?

Марк Амусин

Под знаком памяти

Когда я открыл для себя Трифонова? Явно задолго до эффектного явления «Дома на набережной» в 1976 году. Началось ли это с «Обмена» (напечатанного еще в «твардовском» «Новом мире»), где сошлись на randevу призраки революционного максимализма-идеализма и низкие истины повседневности? С «Предварительных итогов» (появившихся в том же «Новом мире» уже после отставки легендарного главреда), где мышинное шуршание конформизма, компромисса, самопопустительства становится почти нестерпимым? «В доме повешенного не говорят о веревке, в доме помешанного не говорят о жировке»... А потом были и «Нетерпение», и «Другая жизнь». Но «Другая жизнь», кажется, читана мной после «Дома на набережной» — или до? Или вовсе вначале были рассказы, про Москву и голубей, про Среднюю Азию с ее пылью и жарой, урюком и арыками, с испанцами, занесенными туда ветрами истории? Но в какой книге я их читал — не помню, точно не в «Кепке с большим козырьком», которая появилась в доме вместе с «приданым» жены, а это было уже после «Дома»...

Думаю, именно таким образом правильно начать статью о Трифонове, не о творчестве этого замечательного прозаика вообще, а о месте и значении памяти в его книгах, в его мире. Память, воспоминания, припоминание — как модус жизни, как смысловая установка и как прием.

Но сначала — хотя бы кратко о самом этом мире, о его устройстве и параметрах. Трифонов так поставил себя в обстоятельствах советской эпохи, что все — и современники, и последующие поколения — относились к нему как к писателю ангажированному, и потому ангажированно. Соответственно, оценки его прозы была эстетическими в последнюю очередь. В советское время консерваторы и охранители ругали его как бы за бытовизм и мелкотемье, а подразумевали неблагонадежность, скрытую оппозиционность. Еще бы — ведь он вспоминал в своих книгах о «большом терроре», о выбывших в смерть, в лагеря, в неизвестность; он откровенно говорил о том, что и в 60—70-е годы людям, особенно творческим, трудно работается и дышится.

А другие, с других позиций и из других времен, упрекали Трифонова в излишней осторожности, в недоговоренности, в компромиссах с властью. Ему пеняли за то, что он не пошел, как Солженицын, на прямую конфронтацию с режимом, за то, что оставался формально лояльным советским писателем.

Недовольство с обеих сторон было по-своему логичным. Но, разумеется, не схватывало самой сути трифоновского феномена. Писателю было необходимо высказаться — пусть не прямым текстом, а образом, намеком, околичностью — о сталинских репрессиях и сегодняшней «мягкой» диктатуре бюрократии, о

цензуре и нехватке воздуха, как и о драмах и трагедиях первых послереволюционных лет, о жесткости, жестокости, догматизме «кожаных курток». И шире — он хотел донести до читателя свои мысли о России, о ее уникально трагическом пути, особенно в последнее столетие. Но еще важнее были для Трифонова принципы его художественной правды, главный из которых — «проникновение». Под этим я подразумеваю стремление понять любого человека раньше, чем оценить, осудить или превознести его как литературного персонажа. А понять — значит увидеть, изобразить его во всей полноте и перепутанности связей с «временем и местом», с историческими обстоятельствами, о которых «изображаемый» чаще всего не подозревает. И еще — в мельчайших подробностях его стремлений, надежд, страхов, предрассудков, привычек, иллюзий, убеждений, вожделений — в теплой, пахучей, розановской оболочке быта. Все это автор обязан ясно представить в своем воображении и воплотить в слове.

Рецепт трифоновской прозы — житейская эмпирика, густая, подробная, подлинная, на фоне исторических потрясений, идейных сшибок, которые и были «российской судьбой» на протяжении полутора веков. И в состав «конечного продукта» — его замечательных романов и повестей 60—70-х годов — важнейшим ингредиентом входили эффекты и механизмы воссоздания прошлого, «фигуры памяти и забвения», которыми автор мастерски пользовался. Сказанное, конечно, относится и к «Долгому прощанию», и к «Другой жизни», но особенно ярко проявляется в поздних его произведениях: «Дом на набережной», «Старик», «Время и место»¹.

Память — вообще субстанция тонкая, загадочная, чуть ли не магическая. Мы живем, оставляя все больше прошлого — и все дальше — за спиной. И оно, пережитое, пребывает с нами, но затянутое дымкой или туманом, то плотным, то с промывами, сквозь которые промелькивают расплывчатые контуры былого. А иногда туман забвения разрывается — и картины прошлого возникают перед нами резче и яснее, чем многие моменты текущей, рутинной жизни. Мы вглядываемся в эти картины — и это занятие дарит нам радость или горечь, но равно интенсивные, а значит, ценные.

Но — к Трифонову и его текстам. «Дом на набережной» строится как череда воспоминаний главного героя Глебова, с прослойками его сегодняшней жизни, т.е. хронологического момента, «из которого» он вспоминает (конкретно — из «жаркого лета» 1972 года). Повествовательная и оценочная перспектива романа сложны. Задача автора, вспомним, в первую очередь — погрузить читателя в жизненную атмосферу советских 30—40-х годов с их страшными испытаниями — репрессиями, войной, эвакуациями и переселениями, чистками и «атмосферным давлением» страха, но и с энтузиазмом, чистотой, наивным идеализмом...

Главный инструмент такого «погружения» — память, в первую очередь самого Глебова. Изображаемые в повести события мы видим проходящими через фильтр памяти героя, т.е. окрашенными его личностным отношением. Но — тонкий нюанс — в этих воспоминаниях заметно присутствие невидимого Автора, уточняющего, корректирующего «поток памяти» главного героя.

Для начала Автор дает нам знать, что вспоминать прошлое Глебову не

¹ Все три эти романа Юрия Трифонова были впервые опубликованы в «Дружбе народов» — соответственно: «ДН», 1976, № 1; «ДН», 1978, № 3; «ДН», 1981, № 9. — *Прим. ред.*

хочется — только случайная встреча с Шулепой побуждает его к этому. В тексте есть «подсказка»: «Глебов ненавидел те времена, потому что они были его детством». Это замечание, ставящее под сомнение объективность героя, призвано воздействовать на читательское восприятие, «насторожить» его по отношению к глебовским свидетельствам.

При внимательном чтении мы обнаруживаем, что Глебов вспоминает не сам по себе, а «на пару» с Автором. Точнее, картины, возникающие в его сознании, лишь иногда отображают «аутентичные» ощущения и мысли Глебова-подростка и юноши, как, например, при описании его свидания с одноклассницей: «Они засмеялись. Дина внезапно приблизилась к нему толстым жарким лицом, и он почувствовал прикосновение — на одну секунду — чего-то влажно-летучего возле своих губ, и это был первый поцелуй в его жизни. Ничего особенно приятного, просто облегчение. Они сбежали по лестнице вниз и тут же, у подъезда, расстались...»

Чаще же содержимое памяти героя дается отстраненно, с оттенками значений и оценок, привнесенных извне. Вот как описываются его чувства по отношению к Шулепникову, которому на долю выпало привилегированное детство: «Как Глебова ни тянуло прикоснуться ко всей этой увлекательной житухе,... Глебов держался вдалеке: тут было не только самолюбивое нежелание быть десятой спицей в колеснице, но и природная глебовская осторожность, проявлявшаяся иногда без всяких поводов, по наитию». Или, много позже, когда уже начинает разворачиваться главная фабульная интрига — подкоп под Ганчука: «Если бы знать, куда дело загнется! Но Глебов всегда был в чем-то тут и недальновиден. Сложные ходы, которые потом обнаружились, были для него тайной за семью печатями».

Сверх того — работа памяти главного героя перебивается другим потоком воспоминаний. Они принадлежат анонимному повествующему «я», одному из детской компании конца 30-х, к которой примыкал и Глебов. Этот оппонирующий голос вторгается в регулярное повествование, благодаря ему изображение обретает новые грани и оттенки.

Глебов и «я» вспоминают по-разному — и разное. У главного героя в памяти всплывают прежде всего «материальные» подробности: детали быта, факты повседневной жизни его семьи и друзей. Идет постоянное сравнение его собственного «маленького домишки», Дерюгинского подворья, и соседнего, того самого «дома на набережной»: «Серая громада висела над переулочком, по утрам застила солнце, а вечерами сверху летели голоса радио, музыка патефона. Там, в поднебесных этажах, шла, казалось, совсем иная жизнь, чем внизу, в мелкоте, крашенной по столетней традиции желтой краской. *Вот и несоответствие!*» Его эмоции и ощущения замешены в основном на чувстве неравенства, на зависти, на подспудной жажде реванша.

К этому добавляется страх, то хронический, почти неощутимый, то резко обостряющийся, когда ситуация становится по-настоящему неудобной, требующей выбора. Как, например, когда от него требуют «расколотся», рассказать, кто придумал в школе «темную» Шулепе. И тут снова Автор приподнимает завесу над механизмом памяти главного героя: «Все ушло в такую даль, так исказилось, затуманилось, расплозлось, как гнилая ткань, на кусочки, что теперь не поймешь: что же там было на самом деле? И почему он поступил так, а не по-другому? Отчетливо сохраняется чепуха. Она нетленна, бессмертна.

Например, бурчание в животе [Это от страха перед допрашивавшим его грозным отцом Шулепы)].

Внутренний монолог «альтернативного рассказчика» вроде бы подхватывает мотив: «Я помню всю эту чепуху детства, потери, находки, то, как я страдал из-за него, когда он не хотел меня ждать и шел в школу с другим,... и еще то, что во дворах всегда был сырой воздух, пахло рекой, и запах реки был в комнатах,... и, когда шел трамвай по мосту, металлическое бречание и лязг колес были слышны далеко». Но мы сразу чувствуем разницу: воспоминания «анонима» красочнее, образнее, эмоционально разнообразнее и точнее. Встречаются здесь и афористические обобщения: «Все детство окутывало багряное облако тщеславия».

В них присутствуют и события большого мира, когда индивидуальные судьбы плотно вплетаются в ткань истории. Мы понимаем: «аноним» и Глебов в трифоновской картине мира воплощают разные начала, разные грани той эпохи. Глебов — конформизм, «умеренность и аккуратность», осторожность, опасливый эгоизм. Альтернативный рассказчик — стремление жить всеобщими интересами, готовность к самопожертвованию, юношеское благородство. Они — антиподы в мире повести, они соперничают и не терпят друг друга, и не только из-за Сони Ганчук. Точнее, это соперничество одностороннее, потому что в глебовской-то памяти его знакомец-«аноним» отсутствует.

Подспудное, глухое соревнование двух «монологов памяти» идет до самой развязки, до момента, поменявшего всю жизнь Глебова: момента слабодушия, предательства по отношению к Ганчуку и Соне, подретушированного смертью бабы Нилы, которая дала ему повод не выступать на разгромном ученом совете. После этого момента Автор уже в полной мере демонстрирует избирательность и недобросовестность воспоминаний героя, их функцию самооправдания, уклонения от истины. Рефреном идут примеры вычеркивания, стирания лиц и событий: «Вот что Глебов старался не помнить: того, что сказал ему Куно Иванович... Вот это застывшее лицо он сильно старался забыть, потому что память — сеть, которую не следует чересчур напрягать, чтобы удержать тяжелые грузы... Иначе жить в постоянном напряжении... Все было, может, не совсем так, потому что он старался не помнить. То, что не помнилось, переставало существовать».

Зато Глебов и четверть века спустя ясно видит перед собой лицо Ганчука, жадно поедающего в кондитерской пирожное «наполеон» после второго, добившего его собрания. Этот эпизод наглядно подтверждает направленную избирательность памяти Глебова: запомнившаяся картина говорит о витальности, «выживаемости» преданного героем учителя и тем самым оправдывает самоубеждение Глебова: ничего постыдного, непоправимого он не совершил, жизнь после его п(р)оступка течет своим обычным, естественным руслом.

Итак, в «Доме на набережной» мозаика воспоминаний главного героя и его неназванного оппонента помогает создать объемный, многогранный образ времени, 30—40-х годов, со сложной игрой светотени, с выявлением противоречивых тенденций, хотя доминирующей характеристикой его — и Трифонов показывает это вполне однозначно — являлся всепроникающий страх.

Одновременно тонкими средствами решается нравственно-художественная задача: без прямых инвектив, как бы от имени самого героя выявить его ущербность, человеческую недоброкачественность, органически ему присущую,

но «активированную» временем. Глебов, по Трифонову, напоминает Генриха, сына бургомистра, из «Дракона» Шварца:

«— Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили.

— Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником?..»

Так автор демонстрирует совершающуюся на глубине, на молекулярном уровне взаимную диффузию «частного» и эпохального.

Роман «Старик» продолжает ту же линию двухфокусного изображения: конкретной личности в ее уникальной жизненной ситуации — и исторического времени, с его атмосферой, «родимыми пятнами», могучими силовыми полями. Однако есть и заметные различия. Во-первых, в «Старике» отсутствует «обвинительный уклон» в отношении главного героя. Павел Евграфович Летунов, в ранней юности захваченный «железным потоком» Гражданской войны, а нынче, на склоне лет, мучительно разбирающийся в кровавых узлах и противоречиях тех далеких событий, — фигура, вызывающая симпатию. Во-вторых, Трифонов здесь стремится передать дух и облик двух очень разных эпох: ранней пореволюционной поры — и середины 70-х годов, которые позже, задним числом, обозначат как «эпоху застоя».

Летунов — старый человек, и это обстоятельство, подчеркнутое в названии романа, получает в повествовании глубокую, психологически достоверную разработку. Автор ненавязчиво выявляет особенности миро- и самоощущения старика: его замкнутость на собственных переживаниях и воспоминаниях, желание отгородиться от назойливых вторжений текущей жизни, которая ему во многом непонятна, чужда. Есть в этом и нарастающая с годами заскорузлость восприятия, и «усталость материала», и эгоизм, вызываемый малостью оставшихся жизненных сил, желанием сосредоточиться на том, что нужно додумать, понять, оценить для себя — а окружающие мешают, отвлекают.

Тем не менее на точность и ясность воспоминаний героя возраст как будто не влияет. Они на редкость фигуративны, насыщены подробностями, живыми эпизодами, прототипами реальных исторических персонажей. Дело в том, что и здесь у Трифонова есть в повествовании побочная цель: заново рассмотреть и рассудить давний «казус Миронова» (в романе он фигурирует под фамилией Мигулин), красного казачьего атамана, казненного в конце Гражданской войны по несправедливому обвинению. Именно по этой причине роман порой оказывается перегружен фактографией, событиями полувековой давности. Героя, в отличие от Вадима Глебова, можно скорее заподозрить в избыточности воспоминаний, а автора — в чрезмерной эксплуатации памяти Павла Евграфовича.

Герой романа начал заниматься реабилитацией Мигулина уже давно, в стремлении восстановить историческую истину. Но письмо, полученное от сверстницы, участницы тех событий, которую он страстно любил когда-то, заставляет его погрузиться в прошлое еще глубже и безогляднее, привносит в его воспоминания драматизм и личностный окрас.

Сам Летунов немало размышляет о свойствах памяти, о месте, которое она занимает в человеческой жизни, особенно на ее исходе: «Дни мои все более переливаются в память. И жизнь превращается в нечто странное, двойное: есть одна, всамделишная, и другая, призрачная, изделие памяти, и они существуют рядом... И вот задумываюсь: что же есть память? Благо или мука? Для чего нам

дана? Память — это оплата за самое дорогое, что отнимают у человека. Памятью природа расквитывается с нами за смерть. Тут и есть наше бедное бессмертие».

Это рассуждение служит неким введением в череду картин прошлого, времен революции и Гражданской войны, которые оживают в сознании Павла Евграфовича. Картины эти всплывают вне всякой хронологической последовательности, как и подобает спонтанным порождениям памяти. Самое первое воспоминание — о шоке, который он, совсем еще юным, испытал, увидев в станице Михайлинской тела ревкомовцев, изрубленных белоказаками. И среди них тело Аси, которая, оказывается, жива, которую он давно и безнадежно любит...

А дальше — временные скачки и зигзаги, возвращения в детство, перетасованные эпизоды событий между Февралем и Октябрем, буря на Дону: красный террор, белый террор, рассказывание, мятежи, прорывы фронтов, наступления и отступления. Трифонову важно погрузить читателя в атмосферу времени, смыть с событий «хрестоматийный глянec», наполнить изображение, пусть и мозаичное, конкретными, подлинными подробностями — войны и революции тоже ведь обрастают своим бытом. Апрель семнадцатого в Петрограде: «...на улицах все та же сумятица, неразбериха, жутковатая качка толпы, митинги, драки, стрельба. Вижу, по Невскому идут вооруженные рабочие завода Парвайнена со знаменем "Долой Временное правительство!". Им навстречу с Литейного сползает демонстрация студентов, офицеров, каких-то хорошо одетых дам, несут знамя "Да здравствует Милюков и Временное правительство!"... Две демонстрации вязнут друг в друге, вскрикивают женщины, свалка, падают, бегут, с треском рвется знамя, ломают древко...

И еще слышу, двое разговаривают, стоя у стены дома. Один вполголоса: «Эти толпы на улицах напоминают знаете что? Точно кишки вывалились из распоротого живота. Не оклемается Россия от этого ножа.» — «Господь с вами!» — «Вот увидите. Это смертельно. Но что приятно... — тихий смешок, — я умираю, и России конец, одним махом... Так что и умирать не жаль».

Набрасывая портреты людей, окружавших в те годы юного Летунова, — брата матери большевика Шуры и Мигулина, Шигонцева и Браславского, Наума Орлика и комиссара Янсона, юного идеалиста Володи и родственников Аси, находившихся на «другом берегу», — Трифонов одновременно очерчивает контуры главных идеологических, этических, психологических коллизий, которые определили судьбу России. Он занят персонификацией могучих тенденций и стихий времени. Дядя Шура, Володя представляют, по Трифонову, разумно-гуманное начало революции. Они преданы коммунистическому идеалу, но не готовы приносить массовые жертвы на его алтарь. А главное, считают, что безоглядный, беспощадный террор не совместим с *интересами дела*.

Но преобладают другие — доктринеры, фанатики, «мученики догмата», вроде Шигонцева и Браславского. «Время пережгло их дотла». Те считают, что только прямые и кратчайшие пути ведут к цели, и прорубать их надо сквозь человеческий лес. Трифонов старается соблюсти равновесие в своем описании-анализе: революционную устремленность этих людей (невольно внушающую уважение) он показывает подробно, а зловещее в них — властолюбие, скудоумие, презрение к человеку — дает лишь в намеках. Они в романе — именно что жертвы, кто логики истории, кто обстоятельств, как Браславский, семью которого казаки вырезали в екатеринославском погроме в 1905 году. Теперь, в 1919 он объявляет: «По этому хутору [казацкому] я пройду Карфагеном!»

Писатель, сознательно оставаясь в пределах советско-коммунистической парадигмы, пытается понять, был ли у революции и последующей советской истории другой, альтернативный маршрут, если бы в те первые годы верх одержали люди вроде дяди Шуры из романа. А за этим образом явно просвечивают фигуры из его собственной памяти, из его прошлого: отца и дяди, Валентина и Евгения Трифоновых, ставших жертвами репрессий.

В «Старике», однако, обширным «флешбэкам», погружениям в прошлое, сопоставлены лаконичные, но очень насыщенные и выразительные картины советской жизни середины 70-х годов. Здесь напряженная, на грани фола, борьба за домики и сотки дачных участков, неуклонное, как путь танка, выстраивание карьеры, безграничное пьянство и раздолбайство народонаселения, бесконечные споры интеллигентов о судьбах России... Трифонов достигает здесь виртуозности в создании портретов-миниатюр, в запечатлении характера или человеческого типа несколькими мазками или штрихами, на одной-двух страницах текста.

Характерно, что и в этих, сегодняшних, сиюминутных делах и заботах тоже есть место светотеневой игре памяти и забвения. Люди пожилые припоминают старые обиды или стремятся вычеркнуть куски собственной жизни, потому что и то, и другое тесно связано с грозной (а часто и грязной) историей последних десятилетий: партийными чистками, репрессиями, доносами или — экзотикой вроде нудистских обществ 20—30-х годов.

А интеллигенты, что помоложе, постоянно обращаются к памяти исторической, к смутным и грозным образам далекого прошлого, используемым в качестве аргументов в идеологических (платонических) спорах: к Ивану Грозному, и опричнине, к Варфоломеевской ночи и кострам инквизиции... При этом им совсем неинтересны те конкретные, укорененные в почве времени загадки и вопросы, которыми мучится Летунов. Так же полвека с лишним назад Шигонцев и другие бойцы Стального отряда постоянно оглядывались на события Великой французской революции — она служила для них обобщенным, величественным примером: «Не надо бояться крови! Молоко служит пропитанием для детей, а кровь есть пища для детей свободы, говорил депутат Жюльен...»

Память Летунова в романе — главная субстанция повествования, из нее соткан насыщенный деталями исторический гобелен: предреволюционная жизнь, революция, Гражданская война. Но в ней же совершается и чудо оживления давно прошедшей любви героя. И уже не понять, чего больше в его погружении в прошлое: воли к истине и справедливости или стремления вновь пережить тогдашнее состояние духа — смесь восторга, боли, зависти, досады, надежды завоевать Асию и страха ее потерять. Трифонов очень тонко и убедительно подчеркивает в тексте момент «смятения чувств» Павла Евграфовича, непроизвольности его воспоминаний. Это проявляется, например, во внезапных, как бы необязательных вспышках ассоциаций, в совмещениях прошлого и настоящего: «Не так уж хочется есть мороженое, но все вокруг покупают снарядики и грызут, как мы когда-то грызли морковь на даче в Сиверской, воровали с чухонского огорода. Мама однажды сильно побила. Я возвращаюсь в Сиверскую... Я мечтаю хотя бы ночью, летними потемками пробежать мимо дачи, где на втором этаже окно Асиной комнаты всегда полуоткрыто, колеблется, как живое... Ася спит и не знает, что я бегу по песчаной дороге мимо. Но завтра я с ней увижусь утром... Вафельный снарядик несъедобен. По вкусу он напоминает ледышки, которые я любил когда-то в незапамятные времена, до Сиверской».

Особенно трогательны и достоверны возникающие в памяти героя «склейки» образов Гали и Аси, умершей жены и возникшей из небытия возлюбленной: «Опять вспомнилось письмо от Гали и потянуло прочесть. Бог ты мой, почему от Гали? Не от Гали, а от Аси. Он испугался. Как-то странно и легко перепуталось». Или: «Ливень, беседка, мокрое платье, испуганное Галино лицо — из какого-то гимназического далека... Вдруг: не Галя, а Ася. Это Ася в беседке! В саду дома уездного воинского начальника».

Так в «Старике» подтверждается важнейшая, жизнеобразующая роль человеческой памяти. И в следующем произведении Трифонова, романе «Время и место», этот мотив получает дальнейшее развитие. «Надо ли вспоминать...» — этот риторический зачин рефреном прошивает начало романа. А заканчивается первая его глава почти патетическим утверждением: «Надо ли вспоминать? Бог ты мой, так же глупо, как: надо ли жить? Ведь вспоминать и жить — это цельно, слитно, не уничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет».

Однако вопрос: кто же «вспоминающий субъект» повествования? Главный герой, Александр Антипов, существует только в своем настоящем, которое тянется из детства, из 30-х, через десятилетия, до конца 70-х. Он переживает все события и повороты своей судьбы как происходящие здесь и сейчас, в качестве их непосредственного участника, «актанта».

Есть в романе и условный рассказчик, повествующее «я» (прием, отработанный в «Доме на набережной»), глазами которого мы видим и некоторые сцены, разыгрывающиеся в Москве осенью 41-го, и Антипова, который вместе с рассказчиком работает в годы войны на авиационном заводе. Хотя на самом деле рассказчик и Антипов — «близнецы-братья», раздвоение единого личностного ствола. Повествующее «я» служит в романе лишь для расширения картины и для того, чтобы на главного героя можно было бросить объективный, несколько отчужденный взгляд со стороны. В эпизодах, рассказанных от его лица, интерференция прошлого и настоящего возникает лишь изредка.

В конце концов становится ясно: тот, кто вспоминает, — это сам невидимый Автор, в сознании которого существуют все события, отношения и коллизии романа. Это его память в сочетании с воображением образует череду рельефных картин, охватывающую десятки лет биографии героев и истории страны, создает достовернейший жизненный фон, в том числе и с помощью таких второстепенных фигур, как приятель Антипова Маркуша, книжный жучок, забулдыга и завсегдатай ипподрома.

Изображение здесь, таким образом, полностью сливается с воспоминанием. Тем самым к неразрывному единству памяти и жизни, заявленному в начале романа, добавляется третий элемент: собственно творчество. Оно тоже неотделимо от памяти.

Это не значит, однако, что в последнем романе Трифонова нет специфических мотивов памяти, выделяющихся из общей ткани повествования. И снова писатель делает их «агентами» людей, пребывающих на склоне своих лет. В потоке актуальных событий и переживаний порой возникают «врезки» давно прошедшего. К Москве подступают немцы, близкие хлопочут об эвакуации больной и беспомощной старухи Елизаветы Гавриловны — а она, безучастная к происходящему вокруг, погружается в воспоминания о своем революционном прошлом, о ссылке в Сибири и побеге... Но безучастность кажущаяся — к воспоминаниям примешиваются впечатления от происходящего здесь и сейчас,

только с искажениями и инверсиями помраченного сознания: «Всякую секунду могут вломиться стражники, ... мы с Дашей скрываемся третий день, убежали из под надзора... Ледяной ветер врывается в каморку, гудит машина, шлепает колесо, брызги влетают сквозь щель, громадная жизнь впереди, она останавливается, как колесо, просто брызги перестают лететь, машина не гудит, бедные дети пьют чай, как будто ничего не случилось. Они погибают, ... прикованные к постели, не могут двигаться, говорить, я должна кормить их с ложечки, убирать за ними, переодевать их...»

В смысловой системе романа это, казалось бы, не несет никакой функциональной нагрузки, зато повышает психологическую достоверность повествования, придает ему объемность, пронзительный драматизм: как контрастируют внутренние состояния людей, находящихся в потоке повседневных забот — и на пороге небытия!

Есть здесь и моменты, которые я назвал бы «притчами памяти». Это, в первую очередь, история отношений бывших друзей, писателей Костина и Тетерина. Один — «проскочивший» в 30-е годы, другой — «пострадавший». Универсальная коллизия возвращения невинно осужденных из лагерей получает в романе сугубо индивидуальную разработку. В сознании Костина это — «точка боли»: «Возвращение Михаила, о чем я прежде так сильно и горячо мечтал, превратилось для меня в какое-то мучительное, все более жестокое истязание. Суть муки в том, что я чувствую свою перед ним вину».

Мечтал он о возвращении друга в том числе и потому, что у них — одна на двоих память об общем прошлом. А мучается из-за «казуса». Когда-то они написали совместно пьесу. Над Тетериным сгустились тучи, и он — с глазу на глаз — попросил друга в случае своего ареста снять его, Тетерина, фамилию, а гонимыми деньгами поддержать его семью. Костин так и сделал. Но потом поплзли слухи о том, что он ограбил опального соавтора.

Так все обстоит в сознании, в памяти Костина. Когда же он, наконец, встречается с другом и заговаривает об этом, больном, Тетерин отказывается подтвердить его версию: «Костин спросил: "Помнишь, ты просил снять фамилию с пьесы, а деньги посылать Татьяне?" — "Когда? — хрипел Тетерин — Не помню... Ни черта не помню... Забыл, Боря..."»

Конечно, в забывчивости Тетерина есть, пожалуй, оттенок мстительной насмешки над товарищем, когда-то спасовавшим и тем спасшимся. Но нельзя исключить и того, что вся история с просьбой Тетерина — плод адвокатской работы памяти, стремления Костина оправдать свою тогдашнюю слабость в глазах других, да и в собственных. И не только в связи с пьесой. Тетерин тогда, в 37-м, отказался поддержать травлю товарища, а он, Костин, поплыл по течению. И это мучит его глубже, чем история с «ограблением».

Так или иначе, а нестыковка воспоминаний становится для Костина последней каплей — он кончает жизнь самоубийством. И этот поворот сюжета в очередной раз подтверждает глубинную мысль автора о судьбоносной роли памяти, о ее способности выстраивать жизнь и разрушать ее.

Память всегда была притягательной, «центральной» темой в мировой литературе — достаточно вспомнить Пруста. В последнее время писатели Востока и Запада все активнее эксплуатируют ресурсы «субстанции памяти» — в нашем бешено меняющемся мире соединение разбегающихся галактик человеческого микрокосма становится экзистенциальной потребностью. Испытываются раз-

ные способы соединения настоящего с прошлым, исследуются функции и эффекты памяти, строится «этика воспоминания».

Навскидку — в нашумевшем недавно романе Джулиана Барнса «Предчувствие конца» сюжет строится на двукратном обозрении героем его прошлого. В первой части он излагает каноническую версию автобиографии, события которой предстают весьма обычными, банальными. Единственное, что тут из ряда вон, — это кажущееся нелепым самоубийство друга в возрасте 22 лет. Во второй части романа прошлое посылает герою-рассказчику «артефакты», подсказки, возникает совсем другая конфигурация событий и отношений, герой должен понять случившееся в молодости как смесь случайности, ошибок и недоразумений, собственной — вольной или невольной — вины. В итоге — тень вселенского абсурда, ненавязчивые моралите экзистенциалистского толка...

Новоиспеченный нобелевский лауреат Патрик Модiano сделал узоры памяти своим брендом. В его книгах — «Кафе утраченной молодости», «Улицы темных лавок», «Горизонт» — раз за разом воспроизводится одна и та же матрица: герой совершает экскурсии из настоящего в прошлое, то в поисках утраченного, то в желании понять, кто же он на самом деле, то вовсе произвольные. Воспоминания всплывают в его памяти причудливыми, обрывистыми тенями, фрагментами развалившегося «пазла». Прошлое окутано аурой загадочности, смутной тревоги, и для сохранения ее автор прикладывает слишком заметные усилия: чтобы не сказать лишнего, не объяснить, не прояснить...

И Барнс, и Модiano демонстрируют нам не работу памяти, а выборочные ее результаты, то более, то менее убеждающие и впечатляющие.

Ассоциации эти, конечно, вполне произвольны и необязательны. Отношение к памяти, к прошлому у Трифонова совсем другое, чем у названных авторов. Это обусловлено не только несходством индивидуальных дарований, но и противоположностью культурных контекстов и творческих устремлений.

Трифоновскому «детерминизму» новая эпоха — в лице Барнса, Модiano и др. — противопоставляет вольный художнический импрессионизм. Может быть, наш автор, с его стремлением «во всем дойти до самой сути», до истоков и глубинных связей, просто устарел, отстал от «мейнстрима»?

Может, и так. Нужно, однако, сказать: необычайно плотная застроенность, заселенность мира Трифонова — вовсе не дань натурализму, бытовизму, эмпиризму или прочим «измам». В ней проявляется мощная воля писателя к целостности и осмысленности мира, сопротивление пустоте. В личном измерении аналог пустоты — беспмятство (забвение). В социальном пространстве этому соответствует распад цепи времен, обрыв нитей, волокон, соединяющих людей друг с другом и с «общим» бытия. Итог — атомизация, утрата смыслов, рост энтропии.

«Вспоминающее усилие», которым проникнуто все творчество Юрия Трифонова, может быть, действительно не в духе времени. Но оно — прекрасный лечебный настой от постмодернистской расслабленности, разреженности. От этого усилия «вещество жизни» стягивается к центру, сгущается, обретает предметные формы. Люди, погруженные в потоки истории и в болота быта, в лаву страстей и в рутину привычек... Связанные между собой события, обстоятельства, поступки, акты выбора и уклонения от выбора... Создание подобного словесного макрокосма «под знаком памяти» — высокое антиэнтропийное действо. И Трифонов был усердным, иногда скромным, иногда горделивым, мастером этого действа.

Леонид Бахнов

Ворованный воздух

Начать с того, что довольно долго я за Трифонова принимал совсем другого человека. Хотя тоже писателя. Вернее, поэта и переводчика. Всегда немного потерянного и с грустными глазами. Мне казалось, что автор книги «Кепка с большим козырьком» — единственное, что я тогда читал у Трифонова, — должен был быть примерно таким. Прямо говоря, невеселым. И вот такого человека я нередко встречал в нашем писательском дворе у метро Аэропорт.

Очень задумчивого человека.

С настоящим же Трифоновым я познакомился позже. В смысле, позже, чем я с ним познакомился в первый раз.

Привел меня к нему на семинар мой товарищ по институту Витя Харченко. Впрочем, тогда в институте мы уже не учились. Витя работал в какой-то многотиражке, а я в школе, по распределению. Преподавал русский и литературу в четвертых и в восьмых классах.

В институте мы с Витей ходили в одно «лито» — литобъединение. Называли друг друга, как тогда водилось, «старик». Он писал рассказы, и я писал рассказы.

А потом оказалось, что он ходит на семинар к Трифонову. Кажется, это называлось «Литературная студия при МК ВЛКСМ». Там были разные семинары — поэзия, проза, драматургия, кажется, даже критика. И вели их не абы кто — Слуцкий, Рошин, тот же Трифонов... Такой немножко недолитинститут.

Очень мне захотелось туда попасть. Но как? — середина года, к тому же отбирают по конкурсу...

— Да брось, старик, — сказал Харченко. — Я тебя с ним познакомлю. Порекомендую, так сказать.

И если не похлопал по плечу, то всем своим видом показал, что собирается это сделать. А может, даже и похлопал.

Словом, спустя какое-то время я оказался на семинаре. С горящими от самозванства ушами.

Трифонов был совсем не похож на того потерянного поэта. Во-первых, довольно высокого роста и шире в плечах в два раза. Крупный то есть. Во-вторых, спокойный, вальяжно неторопливый и вполне уверенно высказывающий свои суждения человек. В темно-бежевом хорошо сшитом пиджаке и больших очках с чуть затемненными стеклами.

Сначала читал, не помню, кто, потом еще кто-то, а потом настал Витин черед. Рассказ был о футболисте, кумире всех пацанов, включая девушек, которому не удалось забить свой звездный гол. Помню его фамилию — Букин. Рассказ был написан, что называется, смачно и поигрывал затаенной иронией.

Все слушали со вниманием. Как обсуждали — не помню. Но вот слово взял Трифонов. Прокашлялся.

— Да... — сказал он. — Таковую прозу Горький называл «шикарная». Или — «роскошная». Проза, где каждое слово будто любит себя...

Тут Витя, конечно, немного сник. Думаю, он рассчитывал на имя Бабеля. Ну, или Искандера, Аксёнова, как минимум, Катаева. А вместо этого — великий пролетарский. Да еще и не выделяют его, а ставят в какой-то сомнительный ряд. «Шикарная»!.. Помню витины сжатые губы.

Дальше, правда, Юрий Валентинович повел речь в том плане, что, в принципе, Горький ценил такой стиль и даже как-то признался, что завидует тем писателям, которые им владеют. Так что, в конце концов, Витя расслабился и помягчел, в какой-то момент на его лице промелькнуло подобие улыбки.

После обсуждения Харченко подвел меня к мэтру.

— Вот, — сказал Харченко, — разрешите вас познакомиться.

Трифонов внимательно смотрел на меня сквозь массивные стекла. Видел, наверное, как я от смущения потею.

— А мы знакомы, — вдруг улыбнувшись, сказал он. — Вы ведь были на свадьбе Иры Гинзбург?

И с некоторым, как мне показалось, удивлением посмотрел на Харченко.

О, да! Был. И даже был свидетелем в ЗАГСе — в качестве ближайшего друга жениха. Сама свадьба была пышной, проходила в одном из залов ресторана «Прага». Много гостей, но, хоть убей, Трифонова я не помнил. Наверное, был поглощен общением со сверстниками, Юрий Валентинович — это все-таки старшее поколение.

Ира была дочерью Льва Гинзбурга, переводчика и публициста, близкого друга и даже родственника Трифонова (кажется, жена Льва Владимировича приходилась Трифонову двоюродной сестрой или что-то в этом роде). С моим отцом, Владленом Бахновым, Трифонов учился в литинституте. Отец там тоже был, на той свадьбе. Может, он просто Трифонову сказал: Юра, смотри, это мой сын.

Как бы то ни было, слова Юрия Валентиновича вогнали меня в еще большее смятение. Это сейчас детки, допустим, чиновников преспокойно идут по отцовской стезе, и это считается в порядке вещей. Тогда же быть «писательским сыночком» являлось сильно отягчающим обстоятельством для литературной карьеры. Не говоря уж о том, что само это слово — «карьер» — выглядело чуть ли не ругательством. Так было воспитано мое поколение.

Получалось, что я вроде как по блату напрашиваюсь в трифоновский семинар. Правда, непохоже, чтобы его руководитель видел в сложившейся ситуации что-то для меня предосудительное.

Так что, бекая, мекая и красный, хоть выжимай, я на семинар все-таки напросился. И ходил те два года, что Трифонов его вел.

Каким он был педагогом? Надо сказать, что друг друга мы, «семинаристы», не слишком щадили. Было принято так: все мы читаем рукопись, кто-то, чаще всего двое, назначаются главными рецензентами, то есть подробно говорят о

прочитанном и о том, что они об этом думают. (Иногда, если не всем удавалось прочитать и тексты были небольшими, они читались вслух.) Потом в рубку вступают остальные.

Вот тут-то она и начиналась по-настоящему.

Юрий Валентинович редко кого перебивал. Внимательно, иногда, казалось, рассеянно, слушал. И только когда все договорят, выдавал свое, как он не без иронии это называл, «веское слово». Представьте себе: молодого (кстати, и не очень молодого, на семинаре собрались люди самых разных возрастов, были и за сорок, а один седовласый и лысоватый, если и был моложе наставника, то не намного) писателя раздраковали в такой пух и прах, что перья зависли в воздухе и не торопятся опускаться. И тут вступает Трифонов. Один его неторопливый, спокойный голос был способен изменить атмосферу. Нет, он не спорит. Он даже готов подхватить и расширить некоторые упреки автору, поддерживая тем самым высокое реноме выступающих в их собственных глазах. Он даже готов чуточку поиронизировать над прозвучавшей только что прозой. Как, впрочем, и над словами выступавших. Но! Он ведь был психолог, Трифонов. Если автор склонен заноситься, то он (как это было с моим товарищем) каким-нибудь образом его приосадит. Если беднягу совсем заклевали, он повернет как-то так, что — нет, ребята, этот писатель совсем не безнадёжен. При этом умудрялся не снизить планку.

Однажды, уже следующей осенью, среди нас обнаружилась незнакомая молодая женщина в высоких, до колен, темно-коричневых шнурованных сапогах. Сидела, молчала, положив перед собой журнал. Под конец семинара — в этот раз обсуждение продвигалось довольно быстро — Юрий Валентинович сказал:

— Я вижу, вы все задумались: что это за девушка у нас появилась? Знакомьтесь: Ольга Мирошниченко. Она хотела бы у нас заниматься. Оля, почитайте, пожалуйста.

Трифонов подвинулся, освобождая ей место за столом. А сам пересел куда-то к нам.

В руках у новой «семинаристки» был журнал «Москва». Она раскрыла его и стала читать. Это было из ряда вон — чтобы кто-то из нас читал что-то, напечатанное в журнале. Ни у кого из нас не было ничего *напечатанного*. Даже у почти ровесника Трифопова.

Она читала, по ходу для краткости что-то пропуская. Героем рассказа был человек, в оттепельную пору вернувшийся из лагеря.

На дворе стоял год 1973-й. Редактором журнала был известный мракобес Михаил Алексеев. Про лагеря уже сколько лет, как нельзя было упоминать. Сюр какой-то. Хотелось протереть глаза.

А Ольга все читала. Судьба героя сложилась трагически — сейчас уже не помню, как.

После началось обсуждение. В своих воспоминаниях Ольга Мирошниченко говорит, что ее заклевали и что она после этого долго не могла прийти в себя.

Ах, Ольга! Если бы она знала, что такое «заклевали» на нашем семинаре. По мне, так обсуждение прошло вполне себе обыкновенно — такое ли слышали те стены!

Трифонов, как всегда неторопливо и основательно, говорил про положительные стороны рассказа. Но было у него и замечание, которое запомнилось.

— Скажите, Оля, вот у вас герой возвращается из лагеря законченным алкоголиком. Автор должен знать про своих персонажей гораздо больше, чем рассказывает читателю. Это известно, это правило, о нем еще Чехов говорил. У меня вопрос: как он там, в лагере, мог пристраститься к выпивке? Разве для этого были условия?

Ответа не помню. Хотя наверняка Ольга что-то говорила, защищалась.

Больше она на семинаре не появлялась. Через несколько лет стала женой Юрия Валентиновича. А в ту пору у них протекал бурный и непростой роман. Но мы об этом, понятно, не знали.

Позже, едва настали перестроечные времена, Ольга, уже под фамилией Трифонова-Мирошниченко, опубликовала в «Дружбе народов», журнале, который печатал все последние, начиная с «Дома на набережной», повести и романы Юрия Валентиновича, незаконченный и явно писавшийся «в стол» роман «Исчезновение». А спустя еще десятилетие в течение полугода, из номера в номер публиковала дневники и рабочие тетради Трифонова с собственными подробными комментариями. А еще позже, уже под именем Ольга Трифонова, все в той же «Дружбе народов» печатала романы своего сочинения, за один из которых получила премию журнала.

В те годы я уже работал в «Дружбе» и неоднократно, письменно и устно, говорил, что Ольга в своей прозе замечательно усвоила уроки Юрия Трифонова, разумеется, не в плане «подражания», а в своем отношении к материалу и художественным задачам. Прекрасно понимая великое значение «разрывов, провалов, пустот» и прочих «недосказанностей».

Словом, обошлась без наших семинаров.

...А вот самому мне не получилось обсудиться у Трифонова. В январский день, на который было назначено обсуждение, я валялся в гриппу с температурой под сорок. Жена моя в ту пору была на последних месяцах беременности, поэтому меня как бациллоносителя перевезли в квартиру к родителям. Сквозь полубред помню, как отец с порога комнаты (дальше он, видать, заходить боялся) сообщает, что он по телефону говорил «с Юрой Трифоновым», что тот сказал, чтобы я не волновался насчет обсуждения — все в порядке, обсудим в следующий раз.

— Сказал еще, что ему понравилось, — добавил отец. Что именно Трифонову понравилось, он объяснять не стал. Да и не мог — свои опусы я ему не показывал.

Не то чтобы они перезванивались каждый день.

Но в следующий раз обсуждали кого-то другого (очередь все-таки), а когда дело дошло до моих рассказов, Трифонов куда-то уехал, оставив все студийные дела своему напарнику — Льву Александровичу Кривенко. Хорошему, между прочим, прозаику, который, как и Трифонов, ходил в литинституте на семинары к Паустовскому. Драконили меня, помню, не меньше других, а Кривенко — ну, он вел себя точно, как Трифонов. Одна школа.

А дальше семинара Трифонова не стало, как и всей студии. Ее расформировали, Трифонов ушел преподавать в литинститут, а многие из нас прибились к «Зелёной лампе» — студии, которую взял под крыло журнал «Юность» и где вели семинары тоже не последние в литературе люди — Искандер, Битов, Слуцкий, Сикорский, Ковальджи...

У меня к тому времени шла уже совсем другая жизнь. Педагог во мне так

и не проснулся, оттрубив в школе, я устроился сперва в «Литературную газету» (откуда с большим облегчением слинял, не проработав и года), затем в журнал «Литературное обозрение», в котором застрял аж на 14 лет. Там мне пришлось активно приобщаться к современной советской литературе, каковую до той поры я знал вполне отрывочно — в том смысле, что читал лишь самые заметные вещи заметных писателей. А критиков так не знал вообще.

Узнал. И сам что-то начал кропать в этом жанре. Но вот что интересно: сколько бы и чего я ни читал и ни писал, кого бы ни ругал и кем бы ни восхищался, Трифонов все равно продолжал оставаться для меня неким постоянным маяком. Это удивительно, особенно если учесть, что изрядную долю в моем чтении составлял сам — и тамиздат. Как, впрочем, и у многих других, с той лишь разницей, что кое-кого из авторов я знал в лицо.

Что-то, видимо, было в нем такое, чего я не находил ни у Солженицына, ни у Аксёнова, ни у Битова, ни у Войновича — ни у кого. Атмосфера, настроение, воздух...

Вот именно — воздух.

Для меня было очень важно, что он печатается *здесь*.

Почему?

Вспоминается Мандельштам — «ворованный воздух».

Дело в том, что этот воздух мы воровали вместе с ним. И вместе с ним им дышали.

Не все, правда, с этим были согласны — с тем, что воздух ворованный. Находились те, которые говорили, что Трифонову этот воздух разрешен верхними этажами. Типа — как спецзаказ на улице Грановского. Чтобы «выглядеть» перед Западом. Они нам: у вас нет свободы слова! А мы им: пожалуйста, Трифонов.

Писателю ставили в вину, что его печатают. Причем нередко сами писатели. Как будто кому-нибудь было бы легче, если бы его не печатали!

Хотя отчего же? Кому-то наверняка было бы легче. Конкуренция жестокая штука, знаете ли.

Об этой двойственности своей репутации он, конечно, знал, и она преследовала его до конца жизни. Удивительное дело — его довольно многие числили «генералом». Хотя никаких должностей он не занимал и никаких наград не получал, если не считать Сталинской премии на заре его литературной карьеры. Ко времени «московских повестей» и роман «Студенты», за который он получил эту премию, и само трифоновское лауреатство хорошо подзабылись, но стоило появиться «Дому на Набережной», как В.В.Кожин с компанией мигом ему припомнили тот давний бестселлер. Дескать, и тут, и там борьба с «низкопоклонниками», только в «Доме» Трифонов поменял знаки.

Не стану сейчас оспаривать этот корыстный бред, тем более, он давным-давно оспорен.

Скажу о другом. Журнал «Литературное обозрение», или коротко «Литобоз», где я работал, имел репутацию более-менее либерального. Ну, по тем временам. По крайней мере, очевидных подлянок мы избегали. А всякие там идеологические мантры — как же без этого. Ленин — всегда живой, партия — наш рулевой.

И вот заведовал у нас отделом русской литературы один критик, которому протежировал сам Кожевников. Говорят, он за него писал основополагающие

статьи, но я сейчас не об этом. Все при нем — партбилет, книги и статьи о «рабочей теме в литературе» — так это тогда называлось. При всем том он был человек довольно язвительный и азартный. Любил рассказывать, как давным-давно он раздраконил, кажется, в «Комсомолке», небезызвестный роман Ивана Шевцова «Тля». Как он провел в газете чуть не целую ночь, следя, чтобы у него не заменили ни слова или чтобы статью вообще не выкинули. Статья вышла — это был его звездный час!

Следующий звездный час настал у него уже в «Литобозе». Дело в том, что его голубой мечтой было по-настоящему лягнуть кого-нибудь из кумиров либеральной публики. И тут в «Новом мире» выходит роман Трифонова «Другая жизнь». Критик бросается к телефону. Впрочем, это я, наверное, фантазирую, кухни этого дела я не знал. Выходит очередной номер нашего журнала. И там здоровая, больше чем на печатный лист, статья Владимира Дудинцева. Разгромная. Просто он буквально разрывает в клочья роман и его автора. Тут вам и мелкотемье, и пошлость, и вообще — Трифонов зудит, как назойливая муха, по сути, ему не о чем писать.

Для заведующего отделом это была фигура высшего пилотажа! У Дудинцева — и об этом все знают — написан огромный роман¹, который никто не хочет печатать. И вообще никто не помнит, когда его имя последний раз появлялось на страницах хоть какого издания. Знаменитый опальный автор! И этот опальный автор, пишущий на запретную тему, набрасывается с руганью на своего успешного коллегу, в общем-то, единомышленника. Браво, бис, награду в студию!

Завотделом ходил именинником. Эх я его пропечатал, вашего Трифонова! Правда, чтобы все выглядело прилично, он рядом дал еще один отзыв — куций и незапоминающийся. Но в целом положительный. Была в журнале такая рубрика «С разных точек зрения» — будто специально для такого случая.

Именно от него я впервые услышал слово «генерал». Это он на редколлегии цитировал чью-то оценку — дескать, вот, не боитесь критиковать «генералов».

Для кого-то, наверное, Трифонов и впрямь был генералом. Которого не худо бы разжаловать. Были у него недоброжелатели в разных писательских эшелонах, не только среди начальства.

В следующий раз я услышал это слово — «генерал» — от человека, от которого меньше всего ожидал его услышать — от горячо мной любимого Юрия Владимировича Давыдова, автора «Глухой поры листопада» и других сочинений, в том числе романа о Германе Лопатине «Соломенная сторожка». По-моему, и в те времена, и по сию пору это лучший наш исторический романист, потрясающий знаток всего, что связано с «Народной волей» и вообще революционным движением.

Сразу же после публикации трифоновского «Нетерпения» «Новый мир» анонсировал его новый роман — о Германе Лопатине. И анонсировал его еще много лет. Между тем о Лопатине уже всю жизнь писал Юрий Давыдов. Как-то они оба вышли на эту действительно выдающуюся личность.

¹ Роман «Белые одежды» наравне с романом Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» обозначил перестройку в литературе в конце 1980-х годов.

А дальше, это мне рассказывал уже Юрий Владимирович, происходило вот что. Он писал и писал свой роман, хотел заключить договор с издательством. А «Новый мир» все обещал роман Трифонова о том же персонаже.

Я, говорит Давыдов, закидываю удочку в издательстве. А они мне: «Так ведь Трифонов о Лопатине пишет». Я — к Трифонову: «Юра, пишешь?» — «Да вот никак не возьмусь. Но собираюсь». А время идет, у меня уже роман почти готов. Встречаю Трифонова. «Ну как?» — говорю. — «Собираюсь». Все собирался. А он же для них, издательских, вроде генерала... Потом Трифонов позвал меня к Любимову на «Дом на набережной». Там говорит: «Ладно, бери его себе. У меня уже не получится».

«Вроде генерала»... Как будто не от своего лица Юрий Владимирович говорил, от «издательских». Но значит, такое отношение к Трифонову все же имело место.

А роман у Давыдова вышел, я думаю, ничуть не хуже того, что мог бы написать Трифонов, а может, даже и лучше...

... Трудно вспоминать те времена. Нет, даже не вспоминать, а объяснять, что там и как было. Вот я, например, очень хотел написать о Трифонове. Но не мог — даже в своем родном журнале. Потому что была табель о рангах, и об известном писателе мог писать только известный критик. А я был молодой, начинающий. Но что писали эти известные критики, причем из лучших побуждений? Их задача была *осоветить* писателя, то или иное его произведение. Трифонов писал непрямо, рассчитывая, как он сам говорил, на читателя «опытного». И тем, кто брался о нем писать, следовало не только не прояснять его потаенные, но все же *прочитываемые* мысли, а запрягивать их еще глубже, а зачастую при этом еще и переиначивать до неузнаваемости.

Причесанный опытными мастерами писатель теперь мог стать в какой-нибудь — даже вполне престижный — *советский* ряд.

Некоторые это называли «легализовать». Как-то я попросил писателя Феликса Кривина (на самом деле это писатель-мудрец, но за неимением подобного определения числился писателем-юмористом и, соответственно, в него периодически летели всякие шишки) написать некое эссе о писательски-читательском взаимодействии. Моя непосредственная начальница была очень рада, что мы заполучаем такого автора. Приношу ей текст. Читает. И начинает вычеркивать все мало-мальски живое.

— Зачем? — чуть не кричу я.

— Нам надо его *легализовать*. А потом он сможет написать что-то такое...

— Когда?

— Ну... Когда-нибудь.

В общем, слава богу, что я был лишен возможности *легализовать* Трифонова. По-настоящему я сумел написать о нем лишь много позже, когда наступили новые времена. Тоже, кстати, уже очень давно, четверть века назад. Юрия Валентиновича к тому времени уже не было, посмертно печатался его незаконченный роман — «Исчезновение».

А тогда, в конце 70-х, на волне оглушительного успеха «Дома на Набережной», мне удалось «пробить» (это стоило усилий!) лишь довольно большое интервью с ним. Господи, что это была за головоломка! Говорили-то мы с ним вполне откровенно — вот если бы та пленка сохранилась! Но магнитофонная

лента была в большом дефиците, и как я ни старался сберечь ту кассету, но, видимо, мне пришлось что-то поверх записать.

Говорили мы откровенно, да много ли толку? Если все, о чем имело смысл разговаривать, в печатном тексте ни в коем случае нельзя было называть своими именами? Даже название книги Трифонова о его расстрелянном отце, вышедшей на излете «оттепели», опасно было упоминать. А сталинских злодеяний вообще не было — так, легкие издержки социалистического производства, перегибы на местах. Нельзя было написать слов «посадили», «выслали» и так далее. А он рассказывал о судьбах товарищей своего отца или о тех, на чьи воспоминания он опирался в своей работе. 90 процентов из них были «сидельцы».

Вот, скажем, он говорил о когда-тошнем директоре Гослитиздата, Николае Никандровиче Накорякове. Ну, как, скажите на милость, написать, что его брата отправили в лагерь? Какое подобрать слово? Итогом моих долгих и мучительных словесных исканий стало «его арестовали, *удалили*».

Ну да, удалили. Словно зуб. Юрий Валентинович, когда я к нему пришел визировать текст, добравшись до этой моей находки, невесело хмыкнул. Но ничего не сказал. Поправил два-три слова, пробормотал что-то одобрителное о тексте интервью, предложил посмотреть футбольный матч, который начинался по телевизору. Тут появилась его тогдашняя жена, Алла Пастухова, редактор «Политиздата», где когда-то в серии «Пламенные революционеры» вышло «Нетерпение». О чем-то его спрашивала, он отвечал то ли ворчливо, то ли рассеянно, и я почувствовал, что мне пора уходить.

Вскоре я узнал, что Трифонов расстался с прежней женой и женился на Ольге Мирошниченко.

Потом было еще несколько мимолетных встреч. Хорошо помню его речь на вечере в честь столетия со дня смерти Достоевского в ЦДЛ. Зал был полон, а речь, я видел по лицам, многих разочаровала. То есть они не поняли: что это он — все о терроризме и террористах, будто не о чем больше поговорить.

Сегодня бы поняли.

А потом, очень скоро — траурное известие. Полная неожиданность. Столбняк.

Похороны прошли в ЦДЛе. Было много народа — но не настолько, чтобы пригонять конную милицию и несколько милицейских автобусов, которые притаились за углом. Чего они ждали — что почитатели Трифонова пойдут брать Кремль?

Гроб стоял в Дубовом зале. Церемонию вел секретарь Союза Карпов. Речи были, в общем, бесцветные. Кажется, одному Анатолию Рыбакову удалось сказать что-то по существу.

... Статью о Трифонове я написал много позже, в начале перестройки, когда уже можно было не изъясняться экивоками¹. Однако на писателя уже начали *наезжать* — почему, дескать, не писал прямо, а все намеками да намеками? Почему печатался, а не работал «в стол», почему не разделил судьбу диссидентов?

«Семидесятник» — этим названием мне хотелось подчеркнуть грань, отделяющую Трифонова от «шестидесятников». Я попытался взглянуть на позицию Юрия Трифонова как бы изнутри — изнутри его творчества, судьбы,

¹ Бахнов Л. «Семидесятник» // «Октябрь». 1988. № 9.

его эстетических пристрастий. И связать это с тем временем, в котором ему — и всем нам — довелось жить. Говорил о его органической тяге к недосказанности, о том, что его чисто эстетические требования к собственному творчеству «полярно сошлись» (его выражение!) с требованиями цензуры. А закончил я ее такими словами: «Сейчас настала пора прямого слова. Уходит, улечивается аромат намека, недомолвки, иносказания. Но трифоновские "пробелы" не выглядят анахронизмом. Потому что они насыщенымыслью — той, что звучала в 60-х, глушилась в 70-х, которую нам еще долго (вспомним напоследок любимое слово писателя) «дочерпывать»».

Увы, все пошло по-другому. Читающая публика Трифонова забыла надолго, почти на полтора десятилетия. Тому, наверное, были причины — не стану сейчас в них копать. И лишь в последние годы его стали переиздавать, писать о нем, и даже фильмы по его произведениям вдруг возникли на телевизионном экране.

Как-то совсем недавно одна известная критик сказала: ничего, вот скоро зажмут нас окончательно, и мы снова научимся говорить трифоновским языком.

Не знаю. Мы, — если говорить о нашем поколении, — мы-то, может, никогда и не разучались. Хорошая была школа, запоминающаяся. А новые поколения, привыкшие к прямому слову, вряд ли так уж быстро научатся воспринимать потаенные смыслы.

Да, Трифонова будут читать. Постигать, изучать, писатели будут у него учиться. Не дай, конечно, Бог, чтобы названное предсказание осуществилось. И все-таки я думаю: иное время — иные песни.

Иной Трифонов.

Илья Перельмутер

Русская поэзия поверх барьеров

Разговор ведет Ольга Балла

Журнал «Four Centuries. Russian Poetry in Translation» выходит уже четвертый год и выполняет совершенно штучную культурную работу. Прежде всего, в отличие от изданий более обыкновенных, он действует не в каком бы то ни было одном из внутрикультурных пространств, но принципиально и исключительно — в пространстве межкультурном, поверх всех возводимых человеческим разноязычием барьеров. Самое же главное: «Russian Poetry», как это отчасти следует из его названия, публикует переводы русской поэзии (всех веков, в какие существовала) — и только ее — на (по крайней мере — в идеале) неограниченное количество языков.

Английское название журнала — выбранное, скорее всего, для общепонятности, в качестве своего рода знака универсальности — не должно вводить нас в заблуждение. Круг языков, на которых может на этих страницах заговорить русская поэзия, в самом деле не ограничен, наверное, ничем — были бы хорошие переводчики и свел бы их великодушный случай с главным редактором.

И тут мы обнаруживаем еще одну черту этого издания, вполне способствующую его уникальности: делает его, по существу, один человек — Илья Перельмутер, живущий в Германии, в Эссене и смотрящий на почитаемые актуальными русские литературные события и происшествия извне и издаека. Издательство его так и называется: Perelmuter Verlag — «Издательство Перельмутера». В какой мере — сразу заинтриговывается, узнав об этом, читатель — это единовластие в его сочетании с венаходимостью сказывается (и сказывается ли вообще?) на облике журнала? Какие оно дает — даже не ограничения, ограничения всегда, в конечном счете, менее интересны, — а преимущества?

О том, как все эти названные и многие неназванные факторы определяют представляемый в журнале образ русской поэзии (или, скорее, — многие ее образы?), в чем замысел этого издания и каковы результаты идущей уже третий год и не лишенной утопизма и героизма работы по наведению межкультурных мостов, с Ильей ПЕРЕЛЬМУТЕРОМ разговаривает литературный критик Ольга БАЛЛА.

Ольга Балла: Как возникла идея создать такой журнал и кому она принадлежала?

Илья Перельмутер: Я уже достаточно давно собираю библиографию переводов русской поэзии на немецкий язык. С 2010 года стал размещать ее в интернете. В последнее время она обновляется медленно, но тем не менее существует: сейчас — от «А» до Наума Коржавина. Это — идея, которая в полном объеме, конечно, никогда не осуществится: собрать всю библиографию немецких переводов русской поэзии: монографии, антологии, периодику... В ходе этой затеи у меня и возник замысел журнала — как реакция на широко распространенное мнение, что, мол, в России искусство поэтического перевода

* Рубрика выходит при поддержке фонда «Русский мир».

достигло небывалого расцвета, а вот на Западе с переводами русской поэзии совсем плохо, никто ничего толком не переводит.

Что касается немецкого языка, я теперь уже точно знаю, что это не так. Между прочим, один очень известный филолог в ответ на мое робкое замечание о том, что на Западе перевод русской поэзии тоже существует, к моему удивлению, заметил: «Он не просто существует, а развивается сейчас гораздо интереснее, чем поэтический перевод в России». Есть, значит, и такой взгляд.

Так мне и пришла мысль об особом журнале переводов, причем на разные языки. Насколько мне известно, такого журнала еще не было. Конечно, речь могла идти только об абсолютно некоммерческом издании в сети.

Начиная этот проект, я, откровенно говоря, очень невысоко оценивал шансы такого издания на успешные «роды». Но практически уже первая попытка приглашения в журнал оказалась удачной: английский поэт и переводчик Алистер Нун первым прислал свои переводы Мандельштама. А начинался самый первый номер тоже как нельзя удачнее и очень символично — отрывками из «Евгения Онегина» в переводе на итальянский известного итальянского переводчика и слависта Джузеппе Гини.

Журнал пока существует в одном и том же формате — только тексты переводов. Читатели уже не раз высказывали мнение, что рядом с переводами стоило бы публиковать и оригиналы. Увы, боюсь, что из-за проблемы прав на перепечатку оригинала осуществить это последовательно невозможно. А печатать оригиналы стихов одних поэтов и не печатать других было бы тоже несправедливо. Но ведь сегодня найти оригинальный текст стихотворения для желающих сравнить его с переводом совсем не трудно.

О.Б.: Ваш журнал принципиально многоязычен. Как вы себе представляете своего читателя (скажем — «идеального» читателя)?

И.П.: Журнал с самого начала был ориентирован не на «Читателя», а на «читателей». Мне было ясно, что если журнал будет жить в такой форме, в какой был задуман, то трудно будет ожидать читателя, просматривающего каждый номер, ждущего каждый следующий выпуск или читающего от и до. (Хотя зачем лукавить? — нет большего счастья, чем иметь такого читателя.)

Гораздо реальнее было надеяться на читателей, которых интересуют лишь несколько страниц из всего номера. На читателя, который «забегает» время от времени, оглядывается по сторонам: «что тут новенького?», — и снова бежит по своим делам. И если через какое-то время, пусть и не скоро, он вспомнит о таком издании, снова заглянет к нам и увидит, что с тех пор, как он последний раз здесь был, уже вышла пара номеров, — то и это весьма неплохо.

В одном выпуске журнала сосуществуют тексты на разных языках, иногда на четырех-пяти. Подавляющее большинство из нас хорошо читает на одном иностранном языке, максимум на двух. Поэтому неудивительно, что каждый найдет для себя совсем немного. Но «немного» — уже лучше, чем ничего!

Однако существует все-таки одна группа читателей, для которой журнал может быть относительно постоянным источником информации. Это те, кого интересуют интернациональные связи русской поэзии, восприятие русской поэзии в других странах и культурах, история поэтического перевода.

О.Б.: Как вы проводите границы — на каких, например, языках будут публиковаться переводимые тексты? Список возможных языков принципиально открыт — или чем-то все-таки ограничен?

И.П.: При построении номера я стараюсь, чтобы были выполнены два условия. Первое: в каждом номере обязательно должны печататься переводы поэзии XVIII — XIX веков. И второе: надо стараться, чтобы языков было больше. До сих пор мне это удавалось — в каждом выпуске журнала появляется

хотя бы один новый язык. В восьмом, например, впервые помещены переводы на португальский.

Страницы с переводами на каждый язык получают свой цвет — совершенно условно, без какой бы то ни было связи с национальными цветами или флагами. В первом номере журнала, в письме издателя, была поставлена цель: пусть журнал будет многоцветным.

Никаких ограничений на языки в журнале нет. Например, однажды были напечатаны переводы на гэльский. Из тринадцати языков только один присутствует в каждом из вышедших номеров. Нетрудно догадаться, что это — английский.

О.Б.: Кроме Яна Каплинского, поэта из Эстонии, есть ли у вас еще авторы из бывших союзных республик, и публиковались ли — и планируются ли быть опубликованными — переводы на языки народов бывшего СССР?

И.П.: Кроме переводов Каплинского в журнале печатались стихи Бориса Поплавского в переводах на румынский/молдавский Лео Бутнару. И больше ничего. Но это не значит, что переводы на языки бывших союзных республик журнал не интересуют. Напротив, они очень желательны, и переводы на белорусский, литовский, латышский, другие языки, я надеюсь, в скором времени в журнале появятся. Недавно у нас появились переводы на украинский. Лично мне было бы интересно найти для журнала молодых переводчиков из бывших республик СССР, то есть из поколения, для которого советская «дружба народов» — уже история. Вдумчивое и творческое прочтение русской поэзии как части мировой культуры гораздо полезнее, на мой взгляд, любого фестивального братства.

О.Б.: Кто определяет качество переводов? Кем отбираются тексты для перевода и по каким критериям?

И.П.: В журнале уже сложился круг постоянных переводчиков-участников. Например, Ян Пробштейн, Алекс Сигал, Максим Шраер (английский), Мария Липискова (болгарский), Томас Пешхала (польский), Майя Цесарская (венгерский). Все они — очень известные поэты и переводчики.

Вопрос о «качестве» при этом не стоит. Не потому, что их переводы совершенны — о любом переводческом решении даже самого выдающегося мастера всегда можно спорить. Но для меня ясно одно: все эти переводчики страстно отдают себя делу перевода, поэтому халтуры тут быть не может. А среди тех, кто выступает на страницах журнала не так часто, тоже, как у нас принято говорить, «мастера поэтического перевода»: Кристоф Фербер и Адриан Ваннер, Арпад Галгоци и уже упомянутый вами Ян Каплинский, Лео Бутнару и Тони Бринкли...

Нужно помнить, что существуют разные модели и стратегии поведения издателя. Есть издатели, ставящие в основу журнала свои эстетические вкусы и художественные пристрастия, они активно и жестко отбирают материал. Я же — издатель пассивный, то есть сторонник полной свободы и автономности авторов, которые сами могут отвечать за свои труды. Поэтому мои мнения по поводу переводов — а я могу составить свое впечатление только о переводах на английский и немецкий — при отборе их для номера не имеют никакого значения. Рекомендация или совет хорошего переводчика для меня вполне достаточен, чтобы принять решение о публикации.

О.Б.: Кстати, много ли человек, кроме вас, участвуют в принятии таких решений и вообще в создании журнала?

И.П.: Никаких «редакционных советов», «консультантов» и прочих коллегий в журнале нет. Собственно, в журнале вообще никого нет, кроме меня, авторов и переводчиков.

О.Б.: На каком из известных вам языков, по вашему чувству, русская поэзия представлена лучше всего? А хуже всего? С чем вы связываете «недопереведенность» русской поэзии на этот язык?

И.П.: Тут стоит вспомнить Мандельштама:

И, может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И в самую душу проник.

Что, кто и как переводит «в эту минуту» в Италии, Чехии, Швеции, сказать действительно трудно. Как я уже сказал, мне знакома ситуация с переводами только на немецкий и английский. На мой взгляд, в целом переводы на немецкий интереснее, чем на английский. Видимо, все-таки сказываются десятилетия существования ГДР, когда «из-под палки» нужно было переводить прежде всего русскую поэзию. Переводить из-под палки, конечно, плохо, но опыт тем не менее накопился, и когда стены рухнули, два потока, восточный и западный, соединились: оказалось, что вместе они создают достаточно бурное течение. Как-то я составил список русских поэтов, которые хотя бы однажды были переведены на немецкий. Список оказался действительно очень длинным.

Но возьмем, например, такой важный для присутствия поэта в чужой культуре факт, как издание монографий переводов. Назову лишь несколько поэтов, у которых на немецком языке не выходили отдельные книги. Из века девятнадцатого: Батюшков, Жуковский, Аполлон Григорьев, Плещеев, Полонский... Из века двадцатого: Липкин, Межиров, Кирсанов, Нарбут... Из наших современников: Иван Жданов, Кибиров, Олег Чухонцев, Кушнер, Коржавин... И это далеко не полный список. Всех этих поэтов переводили на немецкий, в антологиях и журналах можно найти их стихи. А отдельных книг нет.

О.Б.: Кто из известных вам русских поэтов наименее «переводим»?

И.П.: Дело менее всего в том, что одних перевести легче, а других труднее. Хорошо перевести любого настоящего поэта всегда трудно. «В игре» оказываются внешние по отношению к поэзии факторы, часто — вообще случайные стечения обстоятельств. Иногда проза, удачно и много переведенная, становится странным барьером для перевода поэзии. В последние годы один за другим появляются переводы на немецкий прозы Михаила Кузмина, а вот поэтическая книга издавалась последний раз в 1923 году. Такая же история — с Шаламовым, стихи которого практически не переводятся. Я говорю «не переводятся», а имею в виду «не издаются». О том, что издательская практика — это выбор далеко не самого лучшего, все мы хорошо знаем.

О.Б.: В таком случае, кто из современных русских поэтов переведен на известные вам языки наиболее удачно? А кого бы вы — если бы вам принадлежала инициатива — предложили для более интенсивного ознакомления англоязычной и немецкоязычной аудитории?

И.П.: По способу работы переводчика я бы предложил выделять два подхода, обозначив их терминами, может быть, и не совсем удачными, — перевод «авторский» и «антологический». То есть переводчик либо переводит большой корпус стихов одного поэта, результатом чего может быть книга, либо участвует в антологиях, предлагая переводы отдельных стихотворений. В последнем случае он может составить и собственную антологию переводов разных поэтов.

В области авторского перевода на немецкий язык современной — в широком смысле слова — русской поэзии я считаю исключительно удачными переводы стихов Льва Друскина, сделанные Каем Боровским и Лудольфом

Мюллером. Две книги в переводах Боровского и одна в переводах Мюллера — прекрасное «собрание сочинений» поэта для немецкого читателя. В 2010 году вышла книжка стихов Давида Самойлова в переводах Кристофа Фербера — книжка небольшая, камерная, но очень цельная в смысле передачи облика поэта.

Из переводов «антологических» для меня всегда удовольствие читать, например, переводы Кристины Фишер. У нее есть и монографические работы, например, книги Ахматовой, «Демон» Лермонтова. Очень хороши ее переводы отдельных стихотворений Шаламова, Кибирова, Кривулина... Кстати, книги стихов каждого из этих трех поэтов в переводах на немецкий были бы интересны для немецкого читателя. Только перевести надо хорошо.

О.Б.: Вы заказываете переводы — или работаете исключительно с теми, уже готовыми, текстами, которые вам предлагают?

И.П.: Для публикации в журнале я никогда не «заказываю» определенных поэтов. Всегда хочется получить переводы из XIX века, они особенно приветствуются. (Кстати, в прошлом году мы отметили Лермонтова подборкой новых его переводов на разные языки.) И еще есть планы сделать в журнале тематические подборки. Тут уже придется просить более конкретно.

О.Б.: А какие тематические подборки вами задуманы?

И.П.: Об одной скажу, так как она уже была публично озвучена: мне хочется в следующем номере отметить юбилей Лермонтова подборкой новых переводов на разные языки. О других пока говорить не буду — издательская тайна.

О.Б.: Вообще, в какой степени ваши личные поэтические пристрастия и вкусы сказываются на редакционной политике журнала?

И.П.: Ни в какой. Я — всего лишь читатель поэзии, один из многих других читателей. И если я буду делать журнал только для тех, кто разделяет мои вкусы, это будет не совсем хорошо. Не говоря уже о том, что практически неосуществимо.

О.Б.: Но на что-то вы же все-таки ориентируетесь при отборе, при планировании того, что войдет в ближайшие номера? Стараетесь ли вы, например, отражать в публикациях наиболее яркие и/или актуальные, по вашему мнению, события русской поэтической жизни — и вообще, в какой мере вы за этой жизнью следите? Интересна ли она вам в принципе?

И.П.: Жизнь, и поэтическая, и внепоэтическая, сама вмешивается в планы. Вот в одном из последних номеров наш постоянный автор Ян Пробштейн опубликовал английские переводы стихов русскоязычного поэта Украины Александра Кабанова. Кабанов, конечно, настоящий поэт и без всяких «событий», и все же читатель испытает волнение от чтения его стихов, в том числе и совсем свежих, именно сейчас.

С другой стороны, наш сетевой журнал — один в море многочисленных изданий, альманахов и проектов в интернете и на бумаге. Десятки этих изданий имеют многолетнюю традицию и хорошо известны. В нашем же случае радуешься каждому автору и каждому предложению новых переводов. Так что пока нашу лодочку несет бурным течением, мы еще не корабль, чтобы самим гордо выбирать, куда плыть.

Конечно, мне интересна российская поэтическая жизнь. Но журнал дает иногда неожиданные возможности соприкоснуться и с простой человеческой жизнью. В шестом номере у нас были стихи Евгения Туренко в переводах на английский Алекса Сигала и Даны Голиной. Уже смертельно больной поэт написал мне, что он рад видеть эту публикацию. Вскоре после выхода номера его не стало. Когда я думаю, что доставил несколько радостных минут измученному болезнью человеку, то вижу в этом главное достижение журнала.

О.Б.: Соблазнительно задать вопрос о том, что именно в русской поэзии — из пишущегося сегодня — видится вам наиболее значительным.

И.П.: Если бы я был литературным критиком, то смог бы ответить на этот вопрос профессионально — то есть анализировать текущие поэтические события вне зависимости от собственных вкусов и восприятия (оставим за скобками вопрос, возможно ли это вообще). Я же не критик, я читатель, и для меня «значительное» — это то, что меня взволновало. Поэтому я могу просто назвать имена поэтов, стихи которых меня волнуют — не каждое их стихотворение и даже, может быть, не так часто. Под «волнением» я имею в виду прежде всего состояние постоянного напряжения и ожидания при чтении стихов этих поэтов, когда точно знаешь, что если не сейчас, то совсем скоро будешь взволнован, может быть, даже сильно, может, и до слез. Из пишущих сегодня для меня к таким поэтам относятся Дмитрий Бобышев, Феликс Чечик, Виктор Каган, Александр Беляков, Катя Капович...

О.Б.: Расскажите, пожалуйста, немного о книгах, которые издает Perelmuter Verlag, кроме журнала. Можно ли сказать, что эти издания и журнал — части одного проекта? Кстати: журнал существует только в электронной версии или есть и бумажная?

И.П.: Спасибо за интерес к книжной программе, но, увы, это уже прошлое. Началось с того, что я собирал библиографию книг о России на немецком языке, изданных в немецкоязычных странах. В результате возникла идея библиографического указателя биографической литературы о русских на немецком языке.

Конечно, я взял небольшой отрезок времени — последние тридцать лет, но и за этот период накопилось много биографических книг о знаменитых русских людях из разных областей жизни. Так получилась первая книга, я был и автором ее, и издателем. Затем мне захотелось продолжить серию библиографических указателей по другим странам. Вторая книга была об итальянцах. Один из ее авторов — известный в Германии специалист по итальянской литературе и культуре Дагмар Райхардт. Третья книга серии — о скандинавах, ее автор — Корнелия Крюгер, филолог-скандинавист из университета в Грайфсвальде. Четвертая книга издательства тоже оказалась библиографией, но по другой теме. Она написана по-русски, ее автор, Агата Бочарова, тогда еще студентка Государственного института печати, составила указатель переводов художественных произведений немецкоязычных писателей Европы для детей и юношества за период с 1950 по 2008 год. В этой библиографии 1150 книг, тщательно и аккуратно собрана полная библиографическая информация об этих изданиях, есть список российских издательств, выпускающих переводы немецкоязычной детской литературы. Для библиотек, прежде всего детских и юношеских, это очень ценное издание. В России большая сеть детских библиотек, в Германии и других странах такого нет. А книга А. Бочаровой есть в основном в зарубежных библиотеках, в Европе и в США. После выхода книги я отправил предложения приобрести ее в более чем сто библиотек России — от центральных до областных. Только пять из них прислали заявки. Потом я стал предлагать книгу вообще бесплатно. С тем же результатом.

Тематической связи между книгами издательства и журналом, который существует только в электронной версии, как видите, нет. К тому времени, как издание книг стало по экономическим причинам невозможно, вирус издательства настолько внедрился в меня, что излечиться уже не было сил. Электронное издание дает возможность выпускать журнал, не тратя денег на бумагу, на производство, на распространение.

О.Б.: Можно ли спросить, на какие деньги удастся существовать журналу при том, что он — издание, как и было сказано, некоммерческое?

И.П.: А зачем такому журналу деньги? За место в сети, где помещается журнал на сайте издательства и где, кроме того, есть информация о книгах, библиография немецких переводов русской поэзии и описание моей коллекции издательских каталогов, я плачу 25 евро в год. Можно было бы найти и более дешевые варианты, но мне просто не хочется прекращать многолетние отношения с этой фирмой. Если и дальше будут выходить три номера в год, то на каждый номер приходится пять евро расходов. Компьютерная программа для верстки куплена уже давно, и с ней сделано столько вещей, что все уже окуплено. Переводчики участвуют в журнале безгонорарно. Я им безмерно за это благодарен — как и ныне живущим авторам за разрешение безвозмездно публиковать переводы их произведений. Тексты присылаемых переводов я набираю сам, сам же делаю корректуру, а переводчики контролируют. Если вы посмотрите на дизайн журнала, то станет ясно, что никакие профессиональные дизайнеры тут и не бывали (как говорит мой сын нигилистического возраста, «только в теории может быть еще худший дизайн, в реальности такого нет»). Журнал не надо рассылать, все могут читать его в сети. Таким образом инвестируются не деньги, а труд. Но мой труд — это мое хобби. Тратят же люди уйму времени и труда на коллекционирование консервных банок! А я — на журнал. Все это я могу спокойно говорить, потому что не продаю журнал и набивать ему цену нет смысла.

О.Б.: Есть ли у вас обратная связь с читателями? Удастся ли узнать, что из опубликованного оказалось для кого-то важным, а может быть — и о читательских ожиданиях?

И.П.: Должен признаться, что эта пресловутая «обратная связь» пока весьма слабая. Но тут я беру всю вину на себя. Я мало рассказываю о журнале, рекламную кампанию веду вяло и чувствую, что я в долгу перед моими авторами: прежде всего их труд заслуживает большого внимания. Время от времени, правда, когда я в кратких посланиях знакомлю людей с журналом, приходят ответы: «А я Ваш журнал знаю, слежу», — и это, конечно, мне приятно. О каких-то упоминаниях журнала в прессе, бумажной или электронной, пока не знаю. Встречал раз или два ссылки на журнал в блогах. Но, с другой стороны, и блогосфера, и литературный интернет настолько необозримы, что, может быть, кто-то что-то где-то когда-то о журнале и сказал... Тем более, что там тексты на многих языках.

В заключение хочу воспользоваться правом последнего слова и рассказать об одном проекте в рамках журнала. Я имею в виду библиотеку журнала, старт которой был объявлен в одном из первых номеров.

Идея, на первый взгляд, может, и маниловская, но многие хорошие вещи кажутся в самом начале утопией. В библиотеку собираются книги русской поэзии в переводах: антологии, отдельные книги поэтов, периодика. Сейчас в ней около 80 книг, в основном на английском и немецком. В каждом номере публикуются списки пополнений с благодарностью дарителям.

Конечно, все это не останется лежать в редакции. Может быть, в результате когда-нибудь возникнет отдельная общедоступная библиотека русской поэзии в переводах. А пока пользуюсь случаем и приглашаю к участию поэтов, переводчиков и издателей. Будем благодарны за присланные экземпляры.

Александр Котюсов

Селфи. Антигерой нашего времени

Новый век ломает мир резко и быстро, выбрасывая в мусорные баки лучшие, столетиями создаваемые человеческие качества, выжимая душу, высушивая сердце. Падение нравов, смещение жизненных приоритетов, деградацию современника фиксируют многие писатели — все чаще на полках книжных магазинов появляются романы о людях, которых можно охарактеризовать тремя словами: *антигерои нашего времени*. В них мы уже без удивления узнаем жителей нашей страны, города, деревни, видим родных и знакомых, соседей по лестничной клетке, друзей. Десятки авторов художественных произведений демонстрируют в своих текстах не только срез жизни общества или конкретного человека — они делают «селфи», фотографируют себя. Сергей Минаев даже в названии новой книжки застолбил прием: «Духless 21 века. Селфи». Вот только на снимках этих многим, взявшим в руки книгу, все отчетливее видится собственный, далеко не всегда симпатичный портрет, проступающий на фото поверх портретов автора и героя.

Именно таким антигероем представляет нам главное действующее лицо своего романа «Холод» и Андрей Геласимов. Эдуард Филиппов, скандальный театральный режиссер, известный далеко за пределами России, яркий представитель современной богемы, «селебрити», баловень судьбы, летит на свою родину, в далекий заполярный город, расположенный где-то на берегу реки Лены. Летит на день-другой, потом снова в Париж. Летит, чтобы сказать правду своему другу,

партнеру, соавтору, художнику, человеку, давшему старт его карьере, выведшему к вершинам славы. Правду о том, что новый спектакль он будет делать один, без него. Так решили французы, художник у них свой, другие им не нужны. Гонорар за работу огромный, за такие деньги можно и «кинуть» старого товарища. Конечно, неудобно, начинали вместе, но что поделывать, таковы правила шоу-бизнеса, цифры с многочисленными нулями в договоре не дают повода сомневаться. В принципе можно бы и не ехать так далеко — просто позвонить по телефону, извиниться, мол, прости, дружище, всякое бывает. Но нужны зарисовки, наброски, начинали работать над спектаклем вместе, черновики остались у друга.

Филиппов летит в свой нелюбимый город, в котором он не был долгие годы и который стремится как можно быстрее забыть. Наш герой — человек небесталанный, избалованный славой (на запрос фамилии в интернете тысячи и тысячи ссылок) и деньгами, привлекающий внимание женщин, весьма хамоватый (практически каждого в книге на «ты»), уверенный в себе. Жизнь его легка и весела — ночные клубы, рестораны, алкоголь, фотосессии, интервью, разгульная жизнь, обложки глянцевого журнала. Он еще не представляет, что предстоит пережить ему на родине. За последние годы он отвык от ситуаций, не укладывающихся в привычные стереотипы. Прилетев в город детства, герой, словно персонаж старинной русской сказки, оказывается перед выбором: направо пойти — коня потерять, налево — самому погибнуть. Разумеется, никаких коней в романе нет, из животных только собаки, да и не о физической смерти идет речь (как позже выяснится, и о ней

тоже). Перед героем нравственный выбор. Филиппов вправе ничего не менять в своей жизни, навсегда забыть (впрочем, он почти и не помнит) о существовании совести, любви, чести, жить ложной жизнью, в которой есть восторженные, пусть и не всегда заслуженные, овации зрителей, дорогое вино, женщины, Париж. Как это просто и необременительно — плыть по течению, не думать, не смотреть по сторонам. Как это сложно — переосмыслить все прожитое, понять, как многое в нем было фальшивым, мнимым, абсурдным. Еще сложнее сломать все, что раньше он считал успешной жизнью, и начать строить другую, настоящую. Сам он на это не способен, уже отвык. Поэтому Геласимов забрасывает Филиппова туда, где жизнь заставляет принимать нелегкие решения.

О творчестве Эдуарда Филиппова в романе говорится скупо. Мы лишь понимаем, что основой его постановок является скандал, гротеск. Филиппов эпатирует зрителя, полагаясь зачастую даже не на сценарий, а на порыв, интуицию, шестое чувство. В чеховской «Чайке» все роли отдает инвалидам. «Парализованную Аркадину возили в кресле, Нина Заречная была без рук, Тригорина он, вообще, мечтал найти без головы, но это так и осталось мечтою, а Треплева играл семнадцатилетний мальчик с дискинетической формой ДЦП». Еще одна постановка даже ему самому впоследствии кажется чудовищной: «он случайно задушил на одном из своих спектаклей собаку». Все делается ради денег, славы, лайков в интернете. Филиппов живет придуманной жизнью, переместившейся из виртуального мира в реальность. Впрочем, такая жизнь ему нравится. Или же нет? Он сам не понимает.

Интересно, что на более чем трехстах страницах книги автор ни разу не называет своего героя по имени. Вначале по фамилии — Филиппов, а позже просто Филя, совсем уничижительно. И только однажды, в самом начале — Эдуард, да и то латиницей — *Eduard*. Нет, мол, у тебя имени, не заслужил ты его, оставайся просто Филей, так легче. Геласимов словно пытается изничтожить героя, сделать из него пустое место, хотя и выбирает, с моей точки зрения, абсолютно непра-

вильный вектор. Впрочем, к пустоте мы еще вернемся. Заполярный Север, минус пятьдесят на улице, замерзающий в результате аварии на ТЭЦ город, другая, не божественная вовсе жизнь — и вот Филиппов, страница за страницей, сбрасывает с себя московскую одежду, медленно превращаясь в человека. Уходят от читателя разбросанные в начале романа чужие для крайнего севера словосочетания — пиджак от Burberry, односолодовый виски Balblair, пальто Dirk Bikkembergs, iPhone, кедки от Kris Van Assche. Штамп вживления в текст названий иностранных брендов появился еще в конце девяностых, можно было бы его там и оставить. Впрочем, это не главное. Главное, что жизнь героя медленно приобретает черты реальности. И вот тут удивительным кажется, что автор, стремясь по ходу действия очеловечить главное действующее лицо романа, не возвращает ему собственное имя. В последней главе Эдуард Филиппов окончательно и бесповоротно превращается в Филю, что противоречит общей концепции книги, состоящей все-таки в том, чтобы показать — у героя еще не все потеряно, он должен найти в себе человека.

Сюжет романа «Холод» напоминает о десятках голливудских триллеров. Катастрофа, всемирное обледенение, люди на таком холоде не могут выжить. Спрятаться от убийственного мороза некуда. Человечество должно исчезнуть. Кто-то должен спасти мир. Стивен Сигал, Арнольд Шварценеггер, Шон Конерри, Брюс Уиллис. Ну или еще с десяток звезд помладше. Имена спасителей Голливуда известны. В случае с романом Андрея Геласимова все и проще и сложнее одновременно. Сложнее потому, что Эдуард Филиппов не тянет на спасителя. Он слаб, вечно пьян и труслив. Он — антигерой, образец того, каким не должен быть мужчина. Даже со ссылкой на присутствие таланта и, как следствие, умение зарабатывать (хоть и набивается другое слово — *делать*) деньги. Проще — по причине локальности происходящего. Спасать надо не мир, а только один город с населением в двести тысяч человек. Впрочем, по ходу повествования задача еще больше сужается. Оказывается, что Филиппову нужно спасти лишь самого себя, заблудшего, замершего, за-

терянного. Мир, а заодно и город с неизвестным названием будут спасать другие. Предприниматель Данилов, следователь Толик, бывшая любовница Инга с дочерью Ритой, врач Анна Рудольфовна и, в конце концов, простой русский парень Виталик, работник ТЭЦ вместе со всей своей бригадой.

С задачей спасти себя Филиппов справляется с трудом. Какого Филиппова ему спасать? Прежнего, приехавшего из Москвы щеголя с бутылкой виски в кармане, или нового, концентрирующегося из полярного тумана Человека? Филиппов не понимает. Но постепенно склоняется ко второму варианту. Однако этот второй затерялся в сгустившемся сумраке. Его еще предстоит идентифицировать. Филиппов ищет сам себя в промерзшем городе. Оставленный замерзать среди реки и пропавший мальчик — это он, Филиппов, бредущий по улицам в огромном негнущемся коконе-тулупе двадцать пять лет назад. Эдуард словно возвращается в прошлое, пытаясь понять, где же тогда он совершил ошибку, сделавшую в итоге его жизнь легкой, сытой, но никчемной. Бездомный, брошенный всеми, безымянный пес — это тоже он. Да, оказалось, что когда ради творческого успеха Филиппов задушил пса, он задушил самого себя. Эдуард идентифицирует себя с бродячей собакой, ищущей тепло, ночлег. Филиппов все время спасает собак: одного, сбитого машиной, в которой он едет, пса забирает собой, забинтовывает и оставляет в доме, другого, сожравшего от голода курицу, вырывает из рук мстительных работников ТЭЦ, третьего согревает теплом своего тела. Собаки одинокие, никому не нужные. Такой же и Филиппов. А еще он пустой. «Сколько бы человек ни приобрел, ему все равно будет мало. Его всегда мучает жажда чего-то еще. Или хотя бы подозрение того, что есть что-то еще. И лишь пустота способна идеально заполнить человеческую душу. Только она не оставит в душе ни одного незанятого местечка». Это девиз Филиппова, принцип его жизни. Абсолютная пустота. Абсолютный ноль. Мир без чувств, без эмоций, без смысла. Филиппов долгое время создавал этот мир, привыкал к нему, обживался и в конце концов обустроился.

Жил и думал, что счастлив. А однажды оказался в таком же мире, замерзшем, холодном и циничном, но только настоящем. И многое понял.

Если верить обложке, перед нами — «Самое громкое литературное событие 2015 года!». Я бы засомневался — год только подошел к своему экватору.

В романе множество неясностей и нестыковок. Отчасти это можно списать на замысел автора, его желание показать абсурд ситуации. Однако порой возникает ощущение, что, взявшись за тот или иной сюжет, где-то на середине автор попросту потерял к нему интерес и переключился на более, с его точки зрения, привлекательный. Скажем, эпизод в самом начале книги — поездка Зинаиды и Павлика, подвозящих Филю из аэропорта в гостиницу, за реку. Автор откровенно стремится накалить обстановку — главного героя незнакомые люди везут ночью по льду в неизвестном направлении, ничего не объясняя, на все вопросы — куда, зачем, односложно отвечая — мы быстро, тут недалеко. Через пару страниц смысл поездки открывается — просто им нужно расплатиться с рабочими, все оказывается предельно банальным... Остается за кадром (за страницей) причина, по которой одна из героинь романа — Рита (то ли дочь Филиппова, то ли нет?!) рвалась навстречу ему, убежав от Данилова. Зачем за ней гнались его охранники, если в дальнейшем на взаимоотношения Риты и Филиппова не накладываются никаких запретов?.. Или вот еще — Геласимов вводит в текст инкогнито — человека без имени, без прошлого, да и человека ли, еще вопрос. Герой этот возникает в антракте между двумя действиями. Филиппову новый знакомый по душе, с ним есть о чем поговорить. Они сплетничают, рассказывают «смешные гадости» об общих знакомых. Проходит время, и однажды, проснувшись, Филиппов обнаруживает своего друга у себя в квартире. «Вскоре он (новый друг) объяснил Филиппову, кто он такой на самом деле», — так заканчивается антракт. Но в чем же тут интрига? Внимательному читателю давно понятно: это альтер-эго героя. Однако «второе Я» Филиппова — персонаж, названный «демоном пустоты», — присутствует в ро-

мане уже с первых его страниц. Чтобы вообще не оставалось сомнений, что в собственной квартире Филя находит не кого-нибудь, а себя, свои сконцентрированные минусы, селфи, в конце концов, Геласимов так и называет этот антракт — «Демон пустоты».

Герои Геласимова словно недописаны — практически без лиц и характеров. Тот же Данилов, человек, практически спасший жизнь и Филиппова, и многих других, поселив их в своем доме, реально невидим. Мы не понимаем, зачем вдруг он собирает у себя с десяток людей, дает им кров, охраняет, кормит. Мы не знаем ничего о нем. Анна Рудольфовна то ли умирает на руках Филиппова, то ли, судя по приходящим от нее эсэмэс, остается живой. Непонятно, каким образом в доме Данилова материализуется следователь Толик. Если он приехал искать тех, кто виновен в смерти замерзших на реке людей, то почему сюда, на дальнюю загородную дачу, только что построенную, о существовании которой никому не известно. Художник Пётр, к которому так рвался Филя, за всю книгу произносит одно лишь слово и навсегда исчезает.

Есть претензии и к формированию самого текста. «Ему *было* жалко не только актрису, но и самого себя. Его мало что примеряло с жизнью, но сцена, в которой только что сыграла несчастная толстуха, *была* исключением. Он дорожил ею, зная, что *был* человеком в тот момент, когда так сильно страдал, и теперь, когда над этим так зло насмеялись, ему *было* обидно...» Подобными повторами кишат страницы книги.

Запоминающихся, по-своему сильных фрагментов в романе немного. Наиболее, пожалуй, яркими являются рассуждения героя о смерти. Жизнь, размышляет он, это интервал между тем временем, пока тебя еще не было, и тем, когда тебя уже не будет. «Ведь не было его, такого замечательного, талантливого и неповторимого до определенной точки во времени, до двух закорючек в календаре. Точно так же

не будет и после другой цифры. Он просто выйдет за скобки, и уравнение будет решено». В скобках жизнь. За ними — ее отсутствие. Филиппов уже решал уравнение, выносил за скобки жизнь другого человека. Много лет назад он убил свою бывшую жену. Убил почти случайно, словно между прочим — просто покрепче закрыл двери и окна на даче, где она спала возле печи с непрогоревшими дровами и задвинутой кем-то (может, и ею самой) заслонкой. Филиппов знал, что такое угарный газ.

Решить уравнение можно порою разными способами. Математики меня поймут. Много лет назад Филиппов выбрал неверное решение, вынес за скобки не то, что нужно, нашел не тот корень и, как следствие, лишил себя бессмертия, уничтожив другую жизнь. Филиппов возвращается в холодный город, чтобы исправить эту ошибку, решить уравнение иначе. Так думаю я. Думает ли так автор?

Конечно, каждый из нас вправе жить в придуманном им самим мире. Жить среди людей, чувствуя себя одинокой, никому не нужной собакой. Можно заполнить пустотой свою душу, сердце, изгнать из собственного тела все известные человеку чувства. Изгнать — и спокойно жить. Уютно и комфортно. Десять лет, двадцать, тридцать. И чувствовать себя счастливым. Вот только, как оказывается потом, у такой жизни есть своя обратная сторона. В ледящем холоде вакуума счастье замерзает вместе с остальными чувствами. Вместе с добротой, грустью, радостью, состраданием. Человеку, заполненному пустотой, не нужны жена, дети, счет в банке. Даже алкоголь не способен ему помочь. Пустота выжигает изнутри. Пустота делает больно. Филиппов решил избавиться от пустоты. Возможно, решил слишком поздно. Решил тогда, когда наступило переохлаждение. От переохлаждения люди умирают. Особенно если они одеты в пиджак от Burberry, пальто Dirk Bikkembergs и кедки от Kris Van Assche.

Любовь Турбина

Параллельные срезы

Еще не забылись те времена, когда интеграция национальных литератур была делом государственной важности. Взаимодействие литератур безусловно было большим плюсом нашего общего государства, но после его развала затрещало по швам и культурное пространство, сформированное за долгие годы существования Советского Союза; народы, его образующие, одновременно оказались разомкнутыми не только политически, экономически, но и культурно. Потому неслучайным нам кажется название творческого проекта, задуманного и осуществленного в Белоруссии, — «Созвучие сердец». Цель этой многотомной книжной серии — познакомить разобщенные национальные литературы и их читателей друг с другом. В рамках проекта задуманы 13 сборников, в том числе «Святая любовь» (Беларусь—Туркменистан), «Благословенный миг» (Беларусь—Узбекистан), «Счастливая встреча» (Беларусь—Азербайджан), «Не ведая границ» (Беларусь — Казахстан)... Вниманию читателей представлены параллельные срезы современного состояния наших литератур. Подобное исследование имеет смысл, только если мы верим, как верили прежде, что художественное слово существенно влияет на общественный климат через сознание тех, кто еще продолжает читать — это во многом и определяет состояние духовности нации на будущие времена.

«С думой о Родине»: Сб. произведений писателей Беларуси и России / Сост. Алесь Бадак. — Минск: Издательский дом «Звезда», 2013. — («Созвучие сердец»);

«Звездный родник»: Сб. произведений писателей Беларуси и России / Сост. Алесь Бадак. — Минск: Издательский дом «Звезда», 2013. — («Созвучие сердец»).

Две книги серии — «С думой о Родине» и «Звездный родник» — посвящены белорусской и русской литературам.

В первый том вошли произведения писателей, которые начинали свой творческий путь в разные годы, но еще до развала СССР.

Русскую литературу представляют Константин Ваншенкин, Юрий Бондарев, Владимир Костров, Виктор Лихоносов, Глеб Горбовский (кстати, многие из своих стихов он написал на Витебщине, в озерных лесных уголках северной части Беларуси, лауреат Премии Союзного государства), недавно ушедший от нас Валентин Распутин, соратник и учитель не одного поколения белорусских прозаиков... В числе белорусских поэтов и прозаиков, вступающих в заочный диалог, Алесь Савицкий, Николай Чергинец, Виктор Гордей, Раиса Боровикова, Виктор Супрунчук, Андрей Федоренко, Виктор Шнип. Их имена известны читателям не только на родном, белорусском, но и в переводе на другие языки, прежде всего — на русский, потому что публиковаться они начали еще до развала СССР.

В совокупности представленные в сборнике тексты — реквием по ушедшей жизни, которую нам остается вместе с их авторами оплакать и понять. Вряд ли это входило в задачу составителей, но «по факту» представленные тексты вызывают чувство острой ностальгии...

Книга выстроена в форме рондо — зачином идет небольшая повесть Валентина Распутина «Изба», а заканчивается сборник одноименной поэмой Виктора Шнипа.

В основе повести «Изба» — самый больной для Валентина Распутина сюжет: затопление целого ряда прибрежных дере-

вень ради постройки на Ангаре мощной гидроэлектростанции, поэтому жители вынуждены перетаскивать свои избы на новое место. Конечно, была и помощь, организованный перевоз; естественно, в первую очередь помогали многодетным семьям и тем, кто мог заплатить. Но одинокой Агафье рассчитывать не на что и не на кого, она сама, надрываясь, таскает по бревнышку свою избу, ее труды разделяет какое-то время тоже одинокий немолодой сосед. И кажется — вот-вот эти два набедовавшихся за жизнь человека поймут, насколько легче будет им жить вместе. Но прагматичное решение — не для героев Распутина. Савелий, сложив свою избу и серьезно облегчив работу Агафьи, уезжает в город, где вскорости умирает. Агафья долго еще заставляет себя каждый день переносить из старой избы в новую остатки уцелевшей утвари. Нельзя сказать, чтобы эти сверхчеловеческие усилия пропали впустую — изба стоит, Агафья доживает в ней свои последние дни. А когда хозяйки не стало, если кто-то из проходящих заглядывал в пустую, никому не нужную избу, то замечал, что «изба прибрана, догляд за ней есть... Дышится не вязко и не горько, воздух не затвердел в сплошную, повторяющую контур избы, фигуру. И в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют и, кажется, отзвучат, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры».

Символический план налицо: изба — это Россия, ценой невероятных усилий перенесенная на другое, безопасное место (в другой «формат?»), и только упорство да выносливость ее бывших обитателей, может быть, сохраняют стены, потолок, пол, крыльцо... Именно так: «Фундамент», «Стены», «Двери», «Окна», «Стреха», «Труба»... — названы 13 частей нерифмованной поэмы Виктора Шнипа.

Основа всего, начало начал, естественно — «Фундамент»:

Фундамент — это каменный остров
В зеленом море травы
На котором
Раньше или позже
Появляется жизнь.

Фундамент это начало
Которое ничего не обещает
Однако своей каменностью
Фундамент способен настоять на своем
И внушить нам веру
Что мы здесь не случайно
Потому что у нас есть свой фундамент
Корни родового древа.

Перевод с белорусского Глеба Артханова

Один из старейших белорусских писателей Алесь Савицкий пишет, естественно, о войне. Партизанский отряд преследует отступающих фашистов. Но однажды ночью, перед наступлением, поступает приказ: засеять силами отряда только что отбитое у врага поле — время подпирает, не успеют оставшиеся в живых жители окрестных деревень вернуться к сроку. Фактически в рассказе два персонажа — разведчик и подрывник, деревенский и городской. Хлебопашца от рождения естественно гложет тоска без работы на земле, подрывника, наоборот, раздражает промедление в наступлении, но постепенно он заражается энтузиазмом своего напарника и сам просит деревенского друга дать и ему тоже побросать зерно в свежевспаханную землю. И вот это новое чувство причастности к самому древнему на земле ремеслу, да еще в разгар войны, когда до победы предстоит идти да идти фронтовыми дорогами, и есть главный духоподъемный заряд рассказа.

Хорошо известный русскому читателю в том числе и по публикациям в «Дружбе народов» Андрей Федоренко — один из самых молодых участников сборника. Но его рассказ «Морок» тоже о двух немолодых деревенских женщинах. Антоля и Ева соревнуются за внимание последнего оставшегося в деревне мужичка. Антоля, заподозрив подругу в коварстве и снедаемая завистью к соседке (мол, «у богатого и петух несется»), наблюдает из-за забора, как Кузьма, сгорбившись и прихрамывая, ведет за веревку Евкину корову, а сзади Евка погоняет корову хворостинкой — «прошли, не взглянули, только корова повернула к ней голову». Автор доброжелательно ироничен: «Если бы и вправду Кузьма с Евкою свадьбу сделали — на легковых машинах, как Антоля в телевизоре видела, с кольцами, с фотографом, —

не так было бы обидно, как после этой коровы на веревке». Антоля едет в ближайший городок, пытаясь найти знахарку, чтобы снять «морок», потому что от ревнивых мыслей потеряла сон и аппетит, но попадает на прием к врачу районной поликлиники. А вернувшись из города, обнаруживает, что Кузьма ремонтирует ее забор под руководством Евки, и та, отведя соседку в сторонку, объясняет, что нарочно крутит с соседом шуры-муры — хочет сохранить единственного мужчину в селе, одного на двоих. А то его уже пыталась переманить к себе какая-то вдова из соседней деревни... «И прошел у Антоли морок, благодаря добрым людям. Снялся сам собою, как и не было его. Хоть под старость, а и ей счастье выпало». Так кончается этот рассказ, и в памяти читателей сборника запечатлеваются рядом два образа: две деревенские женщины — сибирячка Агафья Валентина Распутина и белоруска Антоля Андрея Федоренко.

«Мир богат многообразием цветов и красок» — так назвал свое вступительное слово ко второму тому сборника произведений писателей Беларуси и России «Звездный родник» Алесь Карлюкевич.

В очередной том серии вошли стихотворения Расула Гамзатова в переводе с аварского Елены Николаевской; Хабиче Хаметовой в переводе с лезгинского М.Ахмедовой-Колюбакиной и в ее же переводе с лакского — стихи Салимат Курбановой; перевод с башкирского Ильгиза Каримова прозы Мустая Карима, стихи Рената Хариса в переводе с татарского Ирека Гатина, стихи Лулы Куни, написанные на русском, стихи ингушского поэта Магомед-Саида Плиева в переводе Михаила Синельникова, стихи Арсена Додуева в переводах с балкарского Глана Онаняна; проза Вячеслава Абукаева-Эмгак в авторском переводе с марийского; перевод М. Синельникова карачаевского поэта Альберта Узденова, стихи на русском языке Вячеслава Ар-Серги, рассказ алтайского писателя Дибаша Каинчина в собственном переводе; стихи Бадрутдина Магомедова — в переводе с кумыкского Петра Кошеля, Ахсара Кодзати — переводы с осетинского Г.Онаняна и М.Синель-

никова; проза Маадыр-Оол Ховалыга в переводе с тувинского М. Кыргыз, стихи Валери Тургая — перевод с чувашского Аристарха Дмитриева; Инги Артеновой из Нарьян-Мара и Риммы Ханиновой из Калмыкии — обе поэтессы пишут на русском языке...

Конечно же — сетует автор предисловия — хотелось бы в этом небольшом томике представить гораздо больше имен и произведений. Гораздо больше литературы — их в Российской Федерации — десятки. Том, представляющий литературы народов России, появился в серии не случайно: в Минске сформировалась определенная площадка внимания к разным литературам, а значит — к разным художественным мирам. На международный круглый стол, учрежденный Министерством информации, приезжают писатели и переводчики из разных уголков России, из Санкт-Петербурга и Москвы. Результатом этих встреч являются налаживание переводческих связей, организация публикаций произведений из других литератур в белорусских литературно-художественных периодических изданиях. Как на русском, так и на белорусском языках.

Процесс этот работает не только на расширение связей между народами, но и на расширение внутреннего мира белорусской культуры.

Белорусскую часть книги открывает народный писатель Беларуси Иван Шамякин главами из повести «Вернисаж», продолжает ее Георгий Марчук своими «Давид-Городсковыми канонами», Алесь Кожедуб представлен рассказом «Ганна», а Виктор Правдин — небольшой, остро драматической повестью «Досрочник». За «команду» белорусской поэзии выступают широко известный поэт Василь Макаревич в собственном переводе, а также белорусские русскоязычные поэты: Тамара Краснова-Гусаченко, Валерий Казаков и Анатолий Аврутин, одновременно прекрасный переводчик.

Бесспорным украшением тома является проза известного башкирского писателя Мустая Карима — это главы из книги «Мгновения жизни»: каждый из отрывков имеет свою тональность. Так, в первом из них, под названием «Роз-Мари», моло-

дым солдатом после госпиталя рассказчик заходит в Москве в здание, где находится Союз писателей, и неожиданно получает новое назначение — во фронтовую прессу, а вечером попадает на спектакль в театре оперетты. Автором прекрасно переданы острота эмоциональных переживаний человека, чудом выжившего после ранения, открытость души музыке, щедрое желание делиться радостью... Интересен и второй отрывок — уже из послевоенной, благополучной жизни автора, встречающего на организованном СП СССР совещании своих соратников и друзей, известных писателей Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, Михаила Дудина, Чингиза Айтматова, Давида Кугультинова — все самые известные имена. Интересно им стало проверить, считаются ли с ними партийные руководители республик, которые они представляют? Откровенный и вполне неожиданный аспект — из бравады или озорства, сильно захмелевшие, писатели приглашают «царей» на ночную пирушку в номер... Третий из сюжетов «Мгновений жизни» рассказывает о матери автора, которая перед близкой кончиной дает сыну наказы. Важнейший — никогда не проклинать близких своих, какие бы непростительные на первый взгляд поступки они не совершили... От этой удивительной прозы, написанной просто и точно, «пахнет жизнью».

А вот для того, чтобы описать впечатления, которые испытываешь при чтении «Лунной сонаты» алтайского писателя Дибаша Каинчина, надо долго искать слова: значительность происходящих в ней событий, неоднозначность характеров есть встреча с неведомым доселе явлением иной культуры. Старый чекист вспоминает о расстреле белогвардейца, которым он руководил. Поразило последнее желание приговоренного — воспроизвести некую неизвестную чекисту мелодию. Именно она, эта мелодия (позднее чекист узнает в ней «Лунную сонату» Бетховена), заставляет его неотступно возвращаться памятью в тот день. И многое открывается с годами ему по-новому и запускает внутреннюю работу в его душе.

Стихи поэтов, вошедших в этот томик, подобраны таким образом, чтобы дать по

возможности самое неповторимое впечатление о той национальной культуре, которую он представляет: это поэтическое переложение легенд и древних эпических песен, а также «Ода Татарстану» Рената Хариса, «Колыбельная Нарьян-Мару» Инги Артеновой, «Калмыцкий язык» Риммы Ханиновой...

Отдельно хочется упомянуть стихотворение «1957. Возвращение» карачаевца Альберта Узденова — именно образ из первого катрена этого стихотворения о возвращении одного из переселенных народов дал название всему сборнику:

Мой конёк вороной
Пьёт из звёздного родника.

Теперь о белорусских текстах, вошедших в эту книгу: главы из повести «Вернисаж» Ивана Шамякина живописуют новые реалии в среде творческой интеллигенции после распада общего прежде государства, о катастрофичности мировосприятия художника из Беларуси перед лицом непонятных реалий нового времени.

Эсхатологическое сознание, окрашенное национальным менталитетом, является в своей подборке поэт Василь Макаревич:

Хотя ещё на улице темно,
А серым воробьём в бронезилете
Поглядывает вновь в моё окно
Пришедшее с зимой тысячелетье.

Давид-Городок — местечко в глубине Полесья — дал немало прозвучавших достаточно громко в белорусской литературе имен, в их числе известный поэт Леонид Дранько-Майсюк. Прозаические зарисовки яркого белорусского драматурга и прозаика Георгия Марчука приобщают читателя к реалиям существования этого уникального, можно даже сказать — сакрального для Беларуси места. «Каноны», как и положено по жанру, дают обобщенный образ жизни и коллективного характера жителей, сформированного во многом окружающей средой. В отличие от Марчука Виктор Правдин пишет в своем рассказе «Досрочник» индивидуальную судьбу и, соответственно, особый характер: нелегкий, трагический, во много обусловленный реалиями времени...

Завершает книгу стихотворение Анатолия Аврутина «В двадцатом столетии»:

В двадцатом столетии... О времена,
Когда не спешат предаваться итогу!.. —
В двадцатом столетии осталась страна,
Меня снарядившая в эту дорогу.

Можно подвести итоги. В рассмотренном нами русско-белорусском двухтомнике для белорусской читающей публики открытий новых русских авторов не произошло: это известные русские писатели и поэты, и выражают они настроения и мысли двадцати постперестроечных лет. Однако не всегда новизна имен есть достоинство: глубина мысли и тяжелая работа души ощущается почти в каждой строчке написанного ими — произведения эти подводят обобщающий итог не только лично ими пережитому, но и всему XX веку. Россия не только взяла на себя долги бывшего Союза, но поневоле именно ей приписаны все грехи нашего совместного существования, и эта почти непосильная тяжесть давит на сознание писателей, поскольку они по определению есть совесть нации. Главная нота собранных под одной обложкой и поэзии, и

прозы — ностальгическая; это воспоминания и сожаления о времени, более счастливым, когда страна была нашим общим домом и дружба народов действительно существовала. Реанимировать ее и есть глубинная задача этого крайне своевременного, созданного в Республике Беларусь проекта.

Белорусских авторов меньше знали в России, хотя тех, кто стал известным до 1991 года, среди включенных в сборник большинство. Но есть и новые имена, и узнавать их интересно, что и доказывают авторы сборника.

Идея сблизить некогда братские народы на новом этапе через литературу, через знакомство с авторами новых независимых стран, входивших прежде в СССР, воплотившаяся изданием серии книг, каждая из которых содержит произведения писателей двух литератур, одна из которых — белорусская, безусловно заслуживает благодарности и всяческой поддержки. Симптоматично, что таким образом именно Беларусь выступает ныне в роли собирателя постсоветской литературы, то есть успешно занимается сшиванием разорванного двадцать лет назад культурного пространства.

Юрий Ломовцев

«Театр жестокости» Клима Шергина

Куда уходит человеческая жизнь? Таким вопросом задаешься, читая роман Владимира Шпакова «Стражник». И еще вспоминаешь сакраментальное: «Не сотвори себе кумира». Кумиров сейчас пруд пруди, они свои у каждого микро-социума

(иначе говоря, тусовки), и ради них немало людей отказывается от собственной судьбы, жизни, привязанностей и т.п.

Чаше всего кумиры создаются на политическом Олимпе — людям обязательно нужен «вождь» или хотя бы «лидер». Но и культурная среда нуждается в тех, кому следует поклоняться, кем должно восхищаться, и кого по прошествии времен

Владимир Шпаков. Стражник: Роман. — СПб.: «Алетейя», 2014.

(если повод найдется) можно безжалостно скинуть с парохода современности. Мы знаем немало историй, когда блиставшие во время оно режиссеры и актеры сходили со сцены и погибали в полной безвестности. Знаем и такие случаи, когда кумира создает не мнение тысяч поклонников, а ближний круг, претендующий на элитарность восприятия и в упор не видящий других ценителей искусства. Такой круг, по сути, и описан в романе «Стражник», который можно с полным правом (но без всяких попыток с чем-то сравнивать!) назвать «театральным романом».

Когда-то давно главный герой романа Жора Булкин вместе со своими друзьями прибыл из провинциального городка «завоевывать» Москву. Друзья увлекались театром, но лишь один из них добился на этом поприще реального успеха — это Клим Шергин, ставший известным режиссером. Судьба других сложилась менее удачно: Базин — вроде бы успешный, но не слишком заметный художник, интеллектуал Рогов нашел неожиданное применение своему таланту — он зарабатывает на жизнь, «обчищая» казино. Но Булкину не повезло в особенности, он по всем статьям классический неудачник. Вот эта четверка и составляет конфликтный многоугольник, где каждая вершина — собственный полюс напряжения.

Клим Шергин уже который месяц пребывает на грани жизни и смерти в одной из московских клиник (так начинается роман). Вход в его палату, можно сказать, *охраняет* Булкин, тем самым оправдывая прозвище — Стражник. Он получил его еще в детстве, когда вместе с друзьями играли в рыцарей. Вместе с другими юными романтиками (Базиным, Шергиным и т.д.) он смело шел в бой с загадочными существами в серых плащах, что обитают в таинственном замке Иргиль и властвуют над стихией времени. Булкин до сих пор бережно хранит детский рисунок, на котором изображен план местности, где расположен замок.

Однако детская игра, как явствует из сюжета, затянулась для него на целую жизнь, оказавшись совсем не «детской», а очень даже взрослой. План замка — не

единственный фетиш Булкина, их у него собран целый чемодан. В нем афиши спектаклей и программки, обломки театральной бутафории, газетные вырезки, лоскутки театральных тканей и прочий ненужный хлам. Но для Булкина это святыне реликвии. Более того, он собирается пополнить их список, ведь он всю жизнь, словно тень, неотступно следовал за Шергиным, а теперь, когда тот на пороге смерти, назначил себя главным и единственным его биографом. «Жора, который и раньше культ создавал, теперь вообще начнет ваять новое евангелие! Евангелие от Булкина!» — говорит о нем Базин.

«Евангелие от Булкина» — сюжетобразующий стержень романа. Герой проявляет изрядную изобретательность и находчивость, собирая материал для него. В погоне за письмами смертельно больной знаменитости, страничками его дневников, аудио- и видеозаписями, он встречается с теми, кто окружал Шергина. Со старой актрисой Берсеновой, некогда игравшей в его спектакле, с театральной критикессой по кличке Каракатица, с бывшей женой режиссера, ныне пребывающей в клинике для душевнобольных, с престарелым мэтром, у которого когда-то учился Шергин, и т. д. Все эти персонажи обрисованы автором точно и сочно. И каждый из них в той или иной мере добавляет новый кирпичик в «памятник нерукотворный», который ваяет Стражник-Булкин. Он вроде бы нелеп (что подчеркивается даже фамилией), но при этом предельно серьезен, он творит свой миф с маниакальным упорством, что скорее пугает, нежели смешит.

Но одним этим приемом структура текста не исчерпывается. Сюжет романа «Стражник» увлекательный, динамичный, изобретательный. Автор то переносит нас в прошлое, то снова возвращает в сегодняшний день, шаг за шагом приближая к ожидаемо трагической развязке, и одновременно с этим рисует яркую и узнаваемую картину театральной Москвы.

Творческая судьба Шергина совпадает с судьбами многих постперестроечных режиссеров. Его не обошло стороной тотальное увлечение драматургией Ионес-

ко, Мрожека и Жана Жене. И когда многие бросились осваивать методы известных ранее лишь понаслышке Ежи Гротовского и Антонена Арто, Шергин тоже оказался в лидерах. В искусстве он — экстремал. Уже в первом своем любительском спектакле он выводит актеров на крышу пятиэтажки, что могло стоить одному из них жизни. Проводя опыты в области психотехники, он погружает актеров в стихию древних мифов, выбирая «самые кровавые их эпизоды», изобретает для них язык, «составленный из звуков дикой природы», в результате — его любимая женщина сходит с ума.

То есть все эти «эксперименты» не столь безобидны, они вообще выходят за границы собственно искусства театра и на каком-то этапе становятся средством манипуляции и подавления человеческой психики. Но остановиться на этом гибельном пути трудно, поэтому даже на смертном одре Шергин проводит жестокий театральный эксперимент, заставляя Булкина следовать заранее просчитанному и срежиссированному плану. Да и сама болезнь Шергина, в результате которой он медленно и неизбежно распадается на атомы, суть результат его неудачной игры со свойствами времени. От этого уже просто веет фантастикой, но не забудем, что «фантастический реализм» — фирменная черта Шпакова-романиста.

Образ Шергина важен автору не только как сколок театральной эпохи, через него он ставит важные нравственные и философские вопросы. Как соотносятся искусство и жизнь? Какова мера ответственности художника? Где тот предел, после которого искусство становится разрушительной силой?

Для своих друзей, героев романа, Шергин своего рода пробный камень. Все они,

по сути, несчастные люди, в них ощущаются надрыв и неудовлетворенность жизнью, и все они в той или иной степени завидуют Шергину. Рогов прямо заявляет, что ему принадлежат идеи спектаклей Шергина, Базин доказывает, что своим успехом Шергин обязан его декорациям, у Булкина же преклонение и зависть слились в мощный комплекс, который определил всю его жизнь. Не случайно посвящение, предпосланное автором роману: «Константину Гавриловичу Треплеву». Да-да, тому самому Треплеву из чеховской «Чайки»!

Какой же выход предлагает автор, так круто замесив сюжет и предельно сгустив краски? Выход есть, он в жизни, в простых человеческих чувствах. На родине мальчишек, куда по прихоти Шергина заносит Булкина, живет пятый из «рыцарей» замка Иргиль — Виктор Кожурин по прозвищу Талисман. В свое время болезнь не позволила ему уехать вместе со всеми в Москву, и друзья, казалось, о нем совсем забыли. Тем временем Виктор создал свой театр в родном городке (антипод театра Шергина!), в котором теперь играет его взрослая дочь, да и сам он, хоть и ослеп, на удивление всем, как и прежде, выходит на сцену. Вокруг него группа преданных и заботливых учеников, помогающих режиссеру справиться со своей слепотой. Спектакли, которые ставятся в театре, приезжают смотреть зрители со всей России. Тепло, с легкой нотой сентиментальности описывает автор Кожурину, его дочь и окружение. Теплота, способная растопить окаменевшие сердца...

К финалу роман обретает черты философской сказки-притчи, наводит на мысли о бренности жизни и эфемерности славы. Но таким и должен быть настоящий «театральный роман».

Продолжаем жить?

Рубрику ведет Лев Аннинский

Из десяти прозаиков, представленных в литовском номере журнала «Иностранная литература»¹, я для сугубо личного отклика выбираю сначала двоих.

Выбираю по признаку, можно сказать, анкетному, то есть в этом случае достаточно странному: они — мои ровесники.

Юдита Вайчунайте моложе меня на три года. Ромуальдас Гранаускас — на пять лет. Война покрестила нас всех, покалечив детство, вывернув отрочество, выстроив юность. Хотя увидели мы события сквозь дымовую завесу с разных «фронтов»: Юдита, шестилетняя, из жилого квартала Каунаса, Римас — чуть помоложе — из пространства «земли и пахоты», окруженных лесом. Я — из-за Урала, из эвакуации, прикованный к радиорепродуктору сводками, которые читал Левитан.

Литература свела нас вместе уже в зрелости. Гранаускаса я узнал по рассказам в московских журналах. Вайчунайте — по стихам (в «Литературной газете», «Комсомольской правде», «Литературной России»). Прозу ее не встречал, да она и успела-то едва начать свои мемуары — чуть перешла жизненным сроком через грань веков (и тысячелетий). Гранаускасу судьба дала больший срок: он оставил нас в 2014-м. Успев выиграть первый приз на Вильнюсской книжной ярмарке.

Читая их теперь, я возвращаюсь в свое детство. В страшное военное время. Семь десятков лет спустя оно ранит так, как я и представить себе не мог. Словно леденящий ветер непонятно откуда. Может, из преисподней.

Начну с Юдиты Вайчунайте. С героев детства из книги «Гостиница Мабре». С солнечного, яркого, жаркого колорита ее прозы, хорошо переданного в переводах Далии Эпштейн. Война где-то за горизонтом, оттуда, как из преисподней, веет бедой. А здесь — знакомая улица, горячий тротуар, мыльные пузырьки, пускаемые по очереди, подружки, щебечущие рядом. И за зелеными деревьями — церковь.

«Мы увидели, что церковь открыта, и любопытства ради зашли туда. Внутри стоял открытый гробик, в бело-розовых кружевах лежал младенец, точно кукла, над ним стояла сестра милосердия в немецком мундире и еще какие-то немцы-офицеры...»

И прежде, чем девочка-повествовательница задает себе наивный вопрос: «Почему в церкви немцы? Как такая маленькая девочка могла умереть?» — в моем читательском сознании картина катастрофически переворачивается. Я вдруг осознаю, что подружки щебечут по-немецки. И врезаются в пейзаж еврейские дети из гетто, которых ведут не на прогулку, а на смерть. А потом и немецкие детишки — голодные, грязные, оборванные — появляются, чтобы исчезнуть навсегда. Что с ними случилось? Куда делось литовское солнечное утро и мыльные пузырьки на горячем тротуаре?

¹ «Литва: рассеяние и собирание»: Специальный номер журнала «Иностранная литература» / Сост.: Рута Мелинскайте и Мария Чепайтите. 2015. № 3.

Странная мысль закрадывается в мое сознание: а если бы русские не пришли и немцы бы не ушли? Я подчеркиваю: эту мысль может выдержать только мое *теперешнее* сознание — через семьдесят пять лет после событий. А тогда, во мраке военного времени, такое предположение было немыслимо: оно означало наше поражение в войне и мою неотвратимую смерть — и мне (сыну коммуниста-казака и обрусевшей еврейки), и всем моим близким была назначена гибель. Но теперь я решаюсь спросить: а что, если бы в Литве остались немцы? Что было бы после того, как война, пройдясь огненным смерчем, закончилась бы? Несомненно, постепенно ушли бы из жизни оголтелые старики-нацисты (как ушло в СССР поколение неприступных особистов-разоблачителей). И добропорядочные немецкие интеллигенты понемногу вернули бы жизнь к человеческим, христианским, гуманным началам...

Только говорили бы все по-немецки, на замечательном языке Гёте, Гейне, Томаса Манна...

Но тут другая мысль властно опрокидывает мое сознание: а на какой чертовой рулетке дьявол Истории определил немцам и русским столкнуться в двух мировых войнах убийственного века, чудовищных по количеству жертв и беспрецедентных по взаимной ненависти? Какой Вседержитель Истории и когда объяснит эту жуть? Никогда?

И останется двадцатый век необъяснимым проклятьем в памяти человечества?

Необъяснимо подступают к героине из тьмы неопределенности «оккупанты», сменяющие одни других. Может, придут русские, и тогда слово «Сибирь» зазвучит лагерным погребальным звоном. Откуда? За что? Неведомо. Словно из далекой экзотической Венесуэлы надвинется в дымовой завесе гибель. А может, вот из этого, родного, непроницаемого литовского леса...

И все то же ощущение смутной завесы — в крутых, трезвых, темных от присутствия беды рассказах Гранаускаса.

Время действия чуть сдвинуто. Это уже не та война, когда литовцы, терпя немцев, гадали: придут русские или не придут. Пришли! А место действия все то же: усадьба и лес вокруг. Герои обитают, впрочем, не в конкретно-исторической ситуации, а в загадочном пространстве бытия, где совершаются «Жития святых» (название книги Гранаускаса), и героиня, именем Паулина, вполне достойна святости.

Почему?

Потому что живет, не вникая в интересы власти или в доводы борцов против власти, — а просто потому, что жизнь дана. Где там русские, где немцы, — не уточняется, а если уточняется, то так: русские пьют до дна и залпом, а немцы — по глоточку, растягивая удовольствие... Так что можно выбрать, кому подражать. Все остальное — как сквозь дымку, сквозь серое безмолвие, сквозь молчание преисподней.

Молодые ребята из знакомой литовской семьи просят извиниться, что ушли, ни с кем не простившись.

Куда ушли?

В лес.

В какой лес? Зачем ушли?

Мастерство Гранаускаса, наверное, в том и сказывается, что он ничего не объясняет. Люди действуют как в тумане, и притом безошибочно. То ли эта необъяснимость оттого, что все и так понятно и автору, и героям (и читателям). То ли в последних объяснениях все будет окончательно непонятно, и лучше не допытываться о причинах, а просто действовать так, как подсказывает судьба.

И не переспрашивать.

Паулина (еще не святая) не переспрашивает, когда ей дают корзинку и просят отнести в лес — там ее встретят и корзинку заберут. Никому ничего нельзя ни говорить, ни переспрашивать. Идет с корзинкой и ждет, что ее встретят.

Встречают. Но не те, кто обещан. А красные особи из «ястребятника», каратели, очищающие лес и землю от непокорных обитателей.

Погружая повествование в юмор бесшабашности, Гранаускас предполагает, что случится раньше: то ли Паулину изнасилуют, а потом пристрелят, то ли поставят к стенке сразу и отправят на то свет, пока она не успела экзекуторов «обоссать» (вынужден цитировать, не смягчая, — русского мата в тексте нет, но он как бы висит в воздухе: перевод Григория Ефремова тоже мастерский).

Паулина, ничего не объясняя, вырывается из рук карателей и...прыгает в колодец.

Сухой колодец или полный, неясно. Куда делась Паулина, тоже не объяснено. Прыгнула в святость... как в преисподнюю.

Финал сюжета венчается следующим пассажем (опять-таки не смягчаю выражений)

Наливают скупое («по-немецки»). Потом — реплика:

«— Слышь!.. — Сопе стукнула в голову добрая мысль... — Пойдем насрем в эту их яму!

— Неа,— затряс головой Василиус. — Не выйдет.

— С чего ж не выйдет?

— Грохнемся вниз — и все.

— Да ладно! Я сяду — ты меня придержишь, потом я тебя...»

Ясно, что так рождается солидарность, а что за яма — неясно. Может, та самая, в которую прыгнула святая Паулина? Неважно! Яма — такой же безмолвный и неотменимый участник событий, как лес. Главное — удержаться и не свалиться в эту яму. Яма — как преисподняя, необъяснима и неустраима. Как лес, необъяснимо темный. И опасный. И спасительный.

Жизнь продолжается в условиях, которых люди не выбирают. Но в которых надо жить. И в военное время. И эпоху спустя... и две эпохи спустя...

Где теперь те партизаны? Где особи, за ними охотившиеся? Начальник карателей по имени Влоб (опять-таки — салют переводчику, сохранившему окрас имени) — Влоб этот самый подался в Россию и там сводит концы. А тут сводят концы литовцы, которых Империя разбрасывает во все свои концы, а они даже на краю советской преисподней собираются с духом... Для выживания? Для сопротивления? Для сведения счетов? С кем? С очередными «гостями»? Или друг с другом?

Финальный выбор, ясный и без объяснений, довлеет над людьми: посылает им сигналы из мглы, из лесной тьмы...

Былорассеяние. Почему? Не спрашивайте. Держитесь друг за друга над этой ямой, над дырой в преисподнюю, пока не дойдет из немоты новый сигнал: *собирайтесь!*

В публицистических материалах литовского сборника эта проблема высвечивается более четко, чем во мгле прозы, передающей волю Истории без объяснений.

Объяснения — в блестящей вступительной статье Юрате Сприндите, из которой я процитирую те фрагменты, которые особенно хочется откомментировать.

Сначала — эмоциональная сторона обретения независимости:

«Это был живой, бурлящий, захватывающий процесс, тем более что запас запретных плодов был огромен, их "вкусение" — радостно и возвышенно. Все первое десятилетие независимости литература осознала себя как существенную, заметную и неизменную часть общественной жизни...»

А дальше?

«...Свобода изменила внутреннее состояние творческой личности, что — как ни парадоксально — привело к исчезновению одних и возникновению других стереотипов культуры. Порог свободы оказался выше, а испытания свободой — труднее, чем ожидалось».

Что ж тут специфически литовского? И у нас в России, от которой Литва так

захватывающе отделялась, царило воодушевление; оно окрасило в цвета радужности все 60-е годы. Как ни парадоксально, и у нас в России смена стереотипов культуры привела к скорому разочарованию. Цель жизни решено было свести к приобретательству и потребительству, цель культуры — к удовлетворению этих страстей, то есть к рекламе и развлечениям. «Испытание свободой» и у нас оказалось драматичнее, чем ожидалось. Да и можно ли сказать, что мы, русские, выдержали это испытание? Не уверен. А о литовцах это сказано достаточно ясно...

Испытание свободой открывает в бытии еще одну сторону, о чем в статье Юрате сказано:

«Одно из заметных нововведений последнего десятилетия — воцаряющийся кочевой менталитет. Появился литовец с новым мироощущением: мобильный, «транзитный», спорно меняющий местожительство, отчего в его писаниях усиливается ощущение бездомности и бродяжничества».

О, как это и нам знакомо! Бездомность, обогатившая русский язык смачным словечком «бомж». Бродяжничество, веками манившее наших гуляк, по мере ослабления границ обретает новый ореол: теперь оно всеевропейское, всеазиатское, всемирное. Только бы рвануть в Объединенную Европу или еще в какой-нибудь альянс. Только бы получить шенгенский паспорт с визами, а там ищи ветра в поле миграций...

И кто ты в этом поле? Украинец? Француз? Литовец?

И что это: *рассеяние*? Но не в том смысле, в каком оно сменялось *собиранием*?

И что за менталитет?

«Кочевой менталитет».

Юрате Сприндите резюмирует:

«Это весьма заметный перелом... Кризис идентичности — неизбежная черта эпохи перемен... Литовцы приспособились, но не смирились...»

С чем не смирились? С петлей диктатуры, удерживающей малые народы в объятьях великого народа — с риском оказаться на краю гигантской деспотии? Или с ветром скитаний, грозящих вытеснить малый народ в безадресность на краю бытия, похожего на преисподнюю?

И с тем, и с другим! Это уж как История повернется. Любой народ обречен хранить себя в любой ситуации.

Судьба малого народа, волею истории оказавшегося то ли в составе большого, то ли вообще вне состава, — беречь память о своем прошлом, каково бы оно ни было. Память — пароль идентичности. Даже если ничего другого нет: только имя. То есть след языка, ушедшего в небытие. Его хранить.

Ну, а если в прошлом есть еще и великие деяния, вошедшие в легенды? Если Великое Княжество Литовское доходило границами чуть не до Чёрного моря? И претендовало на роль европейского гегемона? Можно ли забыть времена Миндовга и Гедимина, Ольгерда и Витовта? Пожалуй, только поляки имеют в прошлом такое же великое «неосуществление» — да ведь неспроста же литовец Ягелло столько сил потратил на объединение Литвы и Польши. Не удержалось величие: отошло к России вместе с бедой гегемонизма и клеймом «оккупантства» (терпеть не могу этого слова).

Вот между упорством малого народа в отстаивании своей самобытности и упрямством его участия в великой роли и хранит себя в истекшей ситуации литовская душа.

В дневниках авторитетнейшего литературного критика (и создателя «Хартии граждан Литвы») Витаутаса Кубилюса — запись 1977 года.

«Вернулся из Москвы. Дал себе слово — не лезть больше, хватит этого чувства долга, хватит растрачивать здоровье и нервы. Хотя когда сдвигаешься с места, в этом есть и плюсы — видишь свою жизнь как бы со стороны, какая она неглубокая, мало чего стоящая; какие потоки бурлят вокруг, какие кипят драмы и силы. а ты стоишь в

своем мирке, и что-то там делаешь, и чувствуешь себя спокойно. Как не хватает нам этого централизма, этой включенности в события, какие мы периферийные люди, далеко отстоящие от существенных вопросов!».

И он же несколько лет спустя:

«Вернулся из Ленинграда. Попал на юбилейный вечер Фёдора Абрамова. Послушал его речь. Она выламывается из круга будничной литературной круговерти. Литература здесь нечто большее, чем литература. У него такое высокое понимание ее миссии, которое возможно, наверное, только в русской литературе, унаследовавшей толстовское евангелие».

Так где душа? Там, где она, отрешаясь от себя, включается в мировые вопросы? Или там, где от них укрывается ради чувства собственной судьбы?

И там, и тут. Потому что вопросы все равно настигают, и удержаться на краю в одиночку не может ни один народ.

Но как это психологически совмещается?

А это лучше спрашивать не у литературных критиков и создателей Хартий независимости, а у поэтов.

Вот как передает это ощущение Томас Венцлова, третий среди моих ровесников в книжке журнала:

Вновь эхо. Это колокол, конечно.
Собор? Часы на башне? Все равно.
Из жажды, из размолвок и страданий
рождается вселенная двоих,
над нами реет неизвестность — с нею
и делим этот многомерный дар.
Нас виноградинки стеречь с тобою
поставили, и строить дом из кедра,
и в пламени сгорать неуголимом.
Почти что день. Как повелела Книга,
Пока ты спишь, я не бужу тебя.
В гул вслушиваюсь, затаив дыханье.

Что сумел передать переводчик Владимир Гандельсман — так это дыханье стиха, сдавленного ветрами с краев безжалостного мироздания. Бьет колокол. Откуда? Неведомо. Вселенная — размолвки и страдания. И неизвестность. Что ни построишь — сгорает. И вслушиваешься в гул: что там, за краем бытия?

Набухли небеса, и отчий кров
настороже, и в страхе домочадцы.
Задуй свечу, а двери — на засов.
Калигула с чумой в мой дом стучатся.

Не хочется заканчивать эти заметки ссылкой на римского императора: именем он Германик, прозвищем Сапожник, тяжелый эпилептик и анекдотический весельчак, удерживавший малые народы по краям деспотии, — он с ног до головы заляпан чужой и своей кровью... Хотя у такого признанного интеллектуала, как Томас, подобная ссылка понятна.

Лучше завершу строками Йонаса Айстиса, пронзительными в простоте и точности:

Тут, в Литве, и горе сладко,
Даже смерть и та — сладка!
Жизнь горька, а смерть сладка...
Продолжаем жить?

Summary

ANATOLIJ KIM. Long Short Story About Smoktunovskij

«Those twenty years of eternity that I happened to walk through next to him I don't want either interpret with thoughtful words or brighten up with touching emotions. I just want to see that length of road as I see it now and to hear it as I hear it always regardless of the time passed», — thus Anatolij Kim begins his long short story about Smoktunovskij. And as a matter of fact this is a story about Smoktunovskij as well as about the author himself — a story about two independent artists whose lives once crossed

Poetry

The «damned questions» of existence are rhymed with the most painful problems of our days in the rich, flying lyrics by ILYA FALIKOV. The same agitated tone is heard in the poems of ANNA SAYED-SHAH and MIKHAIL KAGANOVICH. And all this is echoing and tied in a knot in the transparent poetry by SERGEJ VASILYEV.

VASILIJ GOLOVANOV. Daughters-Mothers

The film-director Sergey Bodrov-junior and the writer Vasilij Golovanov once thought of a film about the first days of the War in the sanatoria resort of Caucasian Mineral Waters and about two women who saved 17 soldiers injured by Germans. Bodrov hasn't shot the film, he «chose a more dynamic subject» and was lost while shooting it. Now V. Golovanov has revived the unclaimed plot and wrote an essay «Daughters-Mothers» — what are the heroes crying about when meeting on the Victory Day and what are they laughing at through the tears.

LIANA ALAVERDOVA. Typically American Way

«Though today's America is very motley, even in this mishmash of cultures and languages there are quite settled and easily recognizable features. When we say «*this is a typically American way*», we mean whatever you want: from harmless habits till permanent features of the national character, from dominating beliefs till subjective likings». Many of them Liana Alavardova who has been living in the USA for a long time depicts in our regular section «The world in the eyes of our compatriots».

On the occasion of Yourij TRIFONOV's ninetieth jubilee

MARK AMUSIN. Under the Badge of Memory

The author analyses the most important publications (many of them took place in our magazine) of Yourij Trifonov — one of those writers who determined the character not only of our literature but of all our society in the 1980s.

Literary critic LEONID BAKHNOV shares his memoirs on his personal meetings with Y. Trifonov and meditates over the place of this writer in our days.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

druzbanarodov.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»